



АРМЯНСКИЕ РАССКАЗЫ



891.99 !

10572-56.

А-839 | Армянские рассказы

Сборник _____ Тр.

[illegible]

1964

*Составитель сборника
А. М. Аршаруни*



А В Е Т И К И С А А К Я Н

ЗНАМЯ НАДЕЖДЫ

Неподалеку от собора «Нотр-Дам» левый берег Сены...

В этой части старого Парижа причудливо переплетаются узкие и извилистые улицы. Бесчисленные маленькие кафе-бистро и столовые служат пристанищем для бедных и бездомных. В сверкающей огнями столице, где вечно кипит жизнь, эти покойные уголки радушно предлагают свет и тепло беднякам, продрогшим от дождя и холода и изнуренным голодом и усталостью. За несколько су здесь можно получить порцию горячей черной жижицы, заменяющей кофе, а еще за десяток су — тарелку бурды, обманывающей зверский аппетит.

Здесь изошряются в красноречии нищие ораторы и философы — размышляют и острят, мимоходом разрешая важные государственные, международные и общественные проблемы. Наконец здесь же за несколько су можно выспаться на жестком полу или подремать сидя, сиротливо припав усталой головой к грязному столу. И, как знать, быть может, в головах бедняков, лежащих на голых досках, расцветают более пышные мечтания, чем в воображении тех, кто нежится на пуховых перинах. Благодетельное равновесие природы!

Было уже за полночь, когда из кафе «Луи Каторз» выскользнула тень с порожним мешком подмышкой и в нахлобученной на глаза шапке, давно утратившей свой первоначальный вид. При свете уличного фонаря еще явственнее обозначились признаки жалкой участи ее владельца: давно не видавшее бритвы потемневшее лицо с выступающими скулами, ветхое пальто на сутулых плечах.

Сутолока в кафе взвинтила нервы прохожего; не мог он ни забыться в дурманящей дремоте, ни отдаться воспоминаниям. От густого, едкого дыма дешевых сигареток, пропитавшего насквозь отравленный воздух кафе, его мутило.

Он успокоился, только остановясь на гранитной набережной, подле ларей букинистов, и здесь вздохнул полной грудью.

Холодный зимний воздух леденящими пальцами щекотал ему виски и лоб. Ощущение тошноты прошло. Он пошел дальше...

Он шагал, не отводя взгляда от спокойного течения Сены; беззвучно, таинственно струилась в темном ложе тяжелая, густая вода, на которой отсвечивали, преломляясь, отблески прибрежных огоньков — красные, желтые, белые...

Вот с гуденьем пронеслось авто. В освещенной машине мелькнула окутанная мехами дама; закрыв глаза, она склонила голову на плечо молодого спутника.

Окинув пару равнодушным взглядом, Аршак отвернулся к реке. Как походила в эту минуту его душа, его жизнь на эти бесшумно катившиеся перед ним мрачные волны...

Навстречу ему, покачиваясь, медленно шел кто-то — кривоногий, без пальто.

«До чего жалок этот человек, — подумал Аршак. — Куда он идет, зачем, кто может его ждать? Он кажется еще более жалким... значит, в этом городе попадают существа еще более несчастные, чем я».

Угрюмо уставясь в лицо Аршаку, прошел этот рас-

топтаный жизнью несчастливцев, и кто знает, какая щемящая тоска теснилась в его груди!..

Каждый день в три-четыре часа утра Аршак брел на центральный рынок в поисках случайной работы. Сегодня он раньше обыкновенного покинул кафе, не в силах вынести его удушливой атмосферы. Хотя доставка съестных продуктов на рынок начиналась уже с полуночи, настоящая сутолока закипала около трех-четырёх утра.

Гигантский город мирно спал в эти часы. На всех улицах царило холодное молчание. Правда, это молчание приятно освежало нервы Аршака, однако пронизывающий ветер крепчал с каждой минутой, вызывая дрожь, — можно было подумать, что стужа неслась прямо с Северного полюса.

По ступенькам Аршак сбегал вглубь метро. Из пасти метро вылетало теплое дыхание. Подле решетчатых дверей теснилась толпа мужчин и женщин. Тут же пристроился и Аршак, подставив спину приятной теплоте, струившейся из туннеля. Достав из мешка газетные листы, он обмотал ими ноги до самых колен, натянул на руки нечто вроде варежек и замер.

Благословенно это метро для бедняков!

Вот уже девятый месяц Аршак без работы: международный кризис вышвырнул его на улицу. Мало того, он не имеет даже права на работу, как иностранец. Аршак раньше служил в гараже у армянина. Власти делали вид, что не замечают этого, — кризис тогда не особенно давал о себе знать; но постепенно он разрастался, и преследования усилились. Хозяин гаража, опасаясь штрафа за нарушение закона, рассчитал Аршака.

А не будь иностранцем, он получал бы теперь помощь от государства. Долго и тщетно добивался Аршак этого права. Увы! Надо было «подмазать» кого следовало, — а где взять денег?..

В первые недели безработицы Аршак продал часы, костюм, влез в неоплатные долги, но все же кое-как ухитрился сводить концы с концами. Потом иссякли все средства. Всюду отказ, все двери закрылись перед ним, все пути сошлись в один общий тупик.

Перед внутренним взором Аршака возникали давно минувшие дни. Милое родное село, утопавшее в зеленых садах, журчание говорливых ручейков; отец, мать — эта святая женщина! — брат, сестра, товарищи... Куда все это девалось?..

Раны, раны, раны!.. Отец зарезан курдами, мать лишили родного крова... она исчезла, сестру увели турки, брат угас от чахотки в сиротском приюте; товарищи — Погос, Арташес, Тигран... где они теперь? Давно ли все они спешили в школу с шумом и гамом, с сумками, полными книг и тетрадей. Читал он «Родную речь», читал запоем «Дорогу моего села», — ах, какая это чудесная повесть! Ее он знал наизусть. Всеобщую историю, историю родного народа изучал Аршак с особенным жаром; арифметика его не привлекала, грамматика... «Я пойду, ты пойдешь, он пойдет»; «я ем, ты ешь, он ест». Правда, прежде мы все ели, а теперь — я не ем, ты не ешь, он не ест. Однако кто же ест? Разумеется, существуют и такие, которые едят. Я не ем — это факт; ты не ешь — пожалуй, тоже факт; но он, несомненно, ест. Он ест. «Я не ем, я не ем...» И Аршак в уме без усталости повторял: «Я не ем». Мысли смешались, окутываясь тьмой, однако в голове произвольно возникало: «Я не ем, я не ем».

Человек, спавший рядом, сильно захрапел. Аршак мгновенно вернулся в реальный мир, мысли его снова обрели определенность.

«Эта проклятая война!..» Он стал солдатом турецкой армии, сражался, был ранен в правую ногу, впрочем, легко; однако и до сих пор, когда наступает холод или когда Аршак устает, нога тяжелеет, словно он волочит за собой гирию; далее больница, перемирие, оккупация союзниками Стамбула...

Аршак стал кондуктором трамвая; жилось как будто недурно: ночи напролет читал, и сколько было новых книг, тянувших его к себе! Перед глазами вдруг возник прелестный образ Сирарпи... Но она бросила его, бросила бессердечно, ушла с другим. Пожалуй, это даже и к лучшему: насколько тягостней была бы их общая судьба, останься Сирарпи с ним — без хлеба, без крова. Далее бегство — Болгария, Румыния; време-

нами работа, сытые дни, чаще голодное бродяжничество безработного, затем — Марсель, Париж. Но все же тогда еще было сносно, а вот теперь, теперь...

На башне гигантского дома, прорезая тьму и холод, медленно пробили часы: динг, динг, динг, динг! Было уже четыре.

По всем улицам, широким и узким, неслись к центральному рынку машины, бесчисленные тележки с тяжелым грузом. Неслись, чтобы насытить чудовищное чрево Парижа.

Скоро должен проснуться и вот-вот проснется город-исполни, Левиафан, с четырьмя миллионами ртов. Проснется, переварив за ночь пищу, и усядется за стол алчно пожирать и поглощать, уплетать и прихлебывать несметные, несчетные, необъятные горы съестного — все то, что ловили, сеяли, косили, просевали, очищали, солили, сушили и доставляли сюда для пасти чудовища многие миллионы рук изнуренных людей — из Канады и Калифорнии, из Турции и Туниса, из Испании и Италии — по бурным волнам, через дремучие леса, с необъятных полей, озаренных лучами палящего солнца...

Аршак нехотя очнулся от раздумья, поднялся, размял отекавшие руки, сложил обрывки бумаги в сумку и вышел из метро.

В безмолвном сумраке гигантские дома сливались в одну черную массу. Уличные фонари едва мерцали.

Навстречу скакали какие-то зловещие всадники. Было это явью или кошмаром? Могучие кони с фырканием надвигались, грохоча железными копытами. Глушительный, раскатистый гул потрясал город, ужасая сердце. В затрепетавшей душе Аршака опять встали грозные и кровавые видения войны. Он укрылся в нише. При скудном свете фонаря увидел Аршак, как всадники окружили партию скованных цепями юношей и стариков, угрюмых и суровых, то с понурыми, то с гордо закинутыми головами...

Безмолвие, безмолвие, безмолвие!

Прошли, и нет их.

Аршак вышел из своего укрытия, точно очнулся,

отдыхался; сердце его стало биться слабее. Кто эти люди? Куда их ведут — в тюрьму, в ссылку или на поселение? Он не знал.

* * *

Аршак переступил черту обширного рынка. Целый мир! Свет, свет, повсюду свет. Повозки, грузовики, люди, лошади, опять грузовики, опять повозки, опять лошади, люди, коченеющие от холода, обожженные солнцем, раскрасневшиеся, почерневшие, снова женщины — без счету, без конца. Шум, крики, толчея, рев, ржание, смех, шутки, вой, ругань...

Снимали с повозок и машин ящики, большие и малые, тюки, корзинки, бочки. Без конца и краю.

Прежде у него не спрашивали официального разрешения на работу, дела было много, а рук не хватало. Тогда его звали, в нем нуждались, он таскал тюки на спине, катал бочки...

До кризиса француз предпочитал более «благородные», более доходные дела. А теперь: «Пардон, я у себя дома, хлеба своего чужому не дам. Отправляйтесь восвояси!..»

Тем не менее судьба иногда улыбалась Аршаку. Кто-нибудь кричал: «Живей тащи этот груз, вон туда!..» Тяжелый бывал груз, но зато платили неплохо: два франка, а подчас даже три с половиной.

Аршак протискался между повозками, остановился в ожидании перед грузовиками... Тщетно! Проходили часы... Один только грузчик предложил ему вдвоем снести несколько тяжелых корзин. Понесли. Грузчик испытующе посмотрел на него и, порывшись в карманах, дал ему два франка.

Продавцы на все лады убежденно расхваливали свои товары; покупатели с выражением сомнения на лице подозрительно осматривали и выбирали продукты. Распроданный товар понемногу исчезал с рынка. Ручные тележки, повозки и авто развозили товары по улицам, широким и узким, и скрывались в бесчисленных закоулках гигантского города.

Аршак долго бродил по рынку, но ему не удалось больше заработать ни одного су.

Он прошел бесконечными рыночными рядами. Сколько там было навалено всякого добра!

И неужели все это сегодня же будет съедено, а завтра опять то же, и послезавтра, и через год... и так без конца?

Неужели во всем этом нет и его доли? Да, конечно, нет!

Вот обильные мясные ряды: рассеченные пополам воловы туши, телята, свиньи, кабаны, олени, зайцы, кролики... Дальше птичий ряд: куры, гуси, утки, индейки, фазаны, куропатки, рябчики. В других рядах хлеб, масло, сыр. Всевозможные овощи: без счету капуста, лук, картофель, свекла, салат, артишоки, спаржа, фрукты, фрукты, свежие, сушеные, — не перечислить их названий и примет.

Вот рыбный ряд — дары рек и морей. Каких только обитателей вод здесь нет! Тут крабы, омары, устрицы, черепахи, раки, креветки, лягушки!..

Головокружительное изобилие... и тошнотворное зловоние...

* * *

Отсюда Аршак направился к рыночным свалкам. Груды испорченных, протухших отбросов. Немало бездомных, голодных людей уже рылись в мусоре. Начал поиски и Аршак. В его мешке очутилось несколько картофелин и подгнивших морковок, две вареные свеклы, мятый помидор и несколько луковиц. В ту же сумку уложил он обрезки досок. Хватит! Мешок полон. Он завязал его, взвалил на спину и, закулив сигаретку, прошелся вдоль свалок, искоса наблюдая за нищими.

На рынке среди разбросанных бумаг и клочков сена попадает немало испорченных или случайно выпавших из корзин овощей, плодов, орехов и прочего добра.

Перед крупными рыночными складами стоят мусорные ящики для объедков со стола служащих. Сюда же выбрасывают тряпье, гвозди, обломки досок, сломанные гребенки, нитки, обрывки веревок, старые газеты.

Груды мусора до появления гигантских грузовиков

городского самоуправления, собирающих и увозящих отбросы с рынка, служат даровым рынком для парижской бедноты.

Толпы нищих копошатся в свалках, как муравьи, роются в мусоре костлявыми пальцами, разгребают отбросы босыми ногами, высматривают добычу гноящимися глазами...

Бедняки подбирают все — все идет им в пищу, даже и то, что не станут есть свиньи.

Вот старик наткнулся на кусок мяса и упрятал его в свой беззубый рот.

Вот старуха, сгорбленная, точно держит на немощных плечах своих всю тяжесть мира, покопалась, нашла ломоть хлеба и обьедок колбасы; хлеб жадно прикусила, а колбасу бережно спрятала — может быть, для внушка.

Другая старуха, истощенная, вся в морщинах, трясущимися руками подобрала какой-то лоскут, опустила, посмотрела на свет и уложила в мешок.

Целые семьи — отец и мать с детьми, изнуренные, еле живые, — копошатся на этих свалках.

Так поколения в когтях безысходной нужды питались и питаются этими отбросами; так жили ряды поколений и будут жить, пока...

Люди, повинувшись неодолимой жажде жизни, бредут, понукаемые могучей силой природы, осудившей их на существование против воли; люди, никогда не видевшие звезд; люди, которым ничего не дал этот город, созданный гением веков. Что могли получить эти люди, чьи сердца не трепетали никогда перед чудесами искусства, от новых достижений науки и техники?

Вот, закинув за плечи грязные мешки, медленной, неверной поступью покидают они рынок — возвращаются... домой.

Они бредут по проспектам великолепного города, почти ползком пробираются мимо архитектурных чудес, мимо мраморных дворцов.

Бездушное богатство, возмутительное изобилие, непостижимое довольство выпирают из этих торговых компаний и банков; все кругом кипит, клокочет, бует, а истомленные люди бредут...

Их ждут предместья, где в тине нечеловеческой нищеты теснятся тысячи мужчин, женщин и детей — с изъеденной язвами кожей, с блуждающими глазами, где семьи почуют в постелях из сена, тряпок, бумаги, кипящих мышами и паразитами. Солнце сюда не заглядывает никогда.

Серые могилы, сплошная тьма да болезни, вечная угроза смерти, зловоние...

«Этот город — око мира. О, как слепо оно! Ему не видно нищеты, пресмыкающейся у его ног. Нищеты безмолвной и в то же время кричащей», — вспомнились Аршаку слова его друга, Шарля Брея.

И Аршак, покинув рынок, побрел... Куда?

Город-гигант, раскинувшийся на великолепных берегах Сены, пробуждался от чудовищных грез и кошмаров, тревог и страданий, пережитых миллионами людей за одну эту ночь. Просыпался гигантский муравейник, чтобы начать обычную свою жизнь. Рабочие вереницами шли на заводы, учащиеся спешили в школы, торговцы — в лавки, служащие — в конторы.

Каждый день Аршак видел этих людей, и каждый день они казались ему новыми: ни одного знакомого лица. Удивительное дело! Ни единого близкого человека в бесконечном потоке людей, встречаемых день за днем. У всех этих незнакомцев в головах целые миры, совсем непонятные и чуждые для него. Как знать, какие думы, порывы, страдания, заботы, счета, страсти, козни, злодейства таятся в этих мирах!

Усталость и голод мучили Аршака; он зашел в дешевое кафе, спросил кофе, булочек и с аппетитом позавтракал; покопавшись в мешке, достал яблоко и банан.

И опять с мешком на спине шел Аршак, не поднимая глаз от земли, в надежде найти хоть что-нибудь стоящее. Подбирал обрывки газет, оторвавшиеся пуговицы, гвозди, веревки и все это рассовывал по карманам.

Кое-кому выпадало счастье найти монету, но ему — никогда. Да и вообще, улыбалось ли ему когда-нибудь счастье?

Он проходил мимо богатых магазинов и торговых

домов, украдкой косясь на выставленные за огромными зеркальными стеклами товары.

Вот парфюмерный магазин. Магазины изысканных украшений, дамских безделушек, ослепительных драгоценных камней.

Взор его приковала пышная витрина гастрономического магазина: разнообразная снедь, вина всех оттенков, восхитительные фрукты. С минуту он постоял, потом быстро зашагал дальше.

Вот магазин белья.

— А мне-то что? — вслух отчеканил Аршак.

Уже больше двух месяцев он не менял белья. У него осталось всего две смены; одна была в стирке, но нет денег заплатить прачке. Осенью, когда Аршак жил под мостом, он стирал сам, но теперь было холодно. Вместо белья он обвертывал тело газетной бумагой. Так и чище и теплее.

Вдруг на одной из стен большого магазина в зеркале Аршак увидел свое отражение. Остановясь, он долго рассматривал себя. На кого он стал похож? Неужели это и впрямь он? Длинные космы, шея и лоб почернели, точно от сажи, лицо небрито, щеки желтые, губы бескровные. Одежда... донельзя потрепанная, вся в грязи; попробуй выжать ее в рот змее — змея подойдет... Обувь сморщилась, большой палец левой ноги выпирает наружу.

Его знакомые в Стамбуле теперь небось с завистью говорят: «Какое счастье нашему Аршаку — он в Париже живет!» Он горестно махнул рукой. О-о, если б они только знали, как Аршак бедствует в этом великолепном Париже, до чего ненавистен ему этот город, что обрекает свои жертвы на истощение, на страдание, на гибель!

Неужели Аршак еще жив? Ведь он чахнет, умирает. Нет у него ни сил, ни энергии. Нет даже охоты умыться. И так длится уже много дней.

Ах, как бы он хотел бежать без оглядки из этого окаянного города! Стать бы простым пастухом, жнецом на полях, работником на хуторах... Да и много ли ему надо? Постоянная работа, скромный угол, теплый очаг, сытная еда — и довольно.

Погрузившись в свои думы, Аршак тихо плелся краем тротуара, робко сторонясь разряженных прохожих. Опасливо, с униженным видом скользил он мимо суровых полицейских.

На одном из перекрестков собралась огромная толпа, ожидающая разрешения пройти. По улице неслась вереница авто, на перекрестке носом к носу стояли авто и трамваи.

...Снова ряд роскошных магазинов — разнообразных, не похожих один на другой. Вот магазины мебели, рядом парикмахерская, далее магазин детских игрушек, фруктовая лавка, а еще дальше пышная витрина похоронных принадлежностей: венки из искусственных и живых цветов, траурные ленты, надгробные памятники из мрамора.

Аршак бегло взглянул: в магазине пожилой мужчина, сидя в углу, мастерил венок из жестяных цветов.

«Наверняка можно сказать — не для меня. Вероятней всего, для него самого. Вообще все это совсем ко мне не относится. При жизни никому до меня нет дела, пусть же после моей смерти кто хочет заботится о том, как убраться мои останки. Меня это не касается».

Быстрыми шагами миновал он магазин похоронных принадлежностей, но тут же его настигла неотвязная мысль: «Умереть!» А почему бы и не умереть? В чем смысл такого жалкого существования? К чему свелась его жизнь на земле? Одно бродяжничество. Никакого просвета. Разве хочется ему теперь жить, когда жизнь тяготит, как несносный груз, готовый раздавить его? Прыжок в Сену — мгновенно разрешатся все вопросы. Ведь был же такой случай прошлой осенью, когда один из его товарищей, живших под мостом, поднялся наверх, застегнул куртку и метнулся вниз головой в реку? Тогда Аршака ужаснул этот случай; он сбежал оттуда и устроился под другим мостом, подальше.

Аршак всегда боялся смерти, на войне он тоже думал о ней, но смерть миновала его.

«Что в этой жизни заставляет тебя бояться конца? — спрашивал он себя. — Для кого и для чего ты живешь? И какие у тебя надежды в этом мире?»

Ничего нет, ничего, разумеется, ничего!..

«Не будь только страха смерти, этого безумного страха... Не то чтобы я любил жизнь, но смерть ужасна... только потому и живу».

Смерть — дело не легкое, смерть — отнюдь не шутка. Неодолимо гнездящаяся в человеке могучая, непостижимая жажда жизни. Каждая тварь хочет жить — большая и малая, сильная и слабая, счастливая и несчастная. Птицы в воздухе, рыба в воде, черви в тине — все, все хотят жить. Жаждают смерти в виде исключения...

Пусть же и он живет, как все, со всеми. Повидимому, самое желание жить уже является мужеством. В конце-то концов это все-таки мир, всякое может здесь случиться, — как знать, а вдруг судьба повернется когда-нибудь лицом к Аршаку?

А смерть, когда бы она ни пришла, сама придет.

И резким взмахом руки Аршак прекратил этот спор с самим собой.

* * *

Принесенную снедь Аршак передал хозяину столовой, а хозяйке по обыкновению отложил обломки досок для топки. В обмен на это, а также за пуговицы, нитки, гвозди, подобранные им на улице, он получил горячий кофе и место для ночлега.

Съев свой скудный обед, Аршак снова вышел на улицу.

Чтобы избавиться от назойливо осаждавших его забот, он любил бродить по улицам без цели, глядя себе под ноги или же присматриваясь к различным предметам.

Сегодня Аршак решил повидать своих товарищей по военной службе — Арама и Седрака, тоже живших теперь в Париже. И опять просить, чтобы они помогли ему добыть какую-нибудь работу. Любую работу, в городе или в селе — безразлично. При желании они могут найти, у них обширный круг знакомых.

Однако идти к ним было еще рано. Арам под вечер отправлялся в свое излюбленное кафе, где он играл в карты, а Седрака, работавшего в портняжной мастерской, можно было видеть не ранее семи.

Наступил обеденный час. Потоки прохожих наводнили улицы. Люди спешили скорее сесть за стол.

Аршак заглянул в огромное окно великолепного ресторана: бесчисленные столики заставлены серебром, хрустальной посудой, за столиками нарядные мужчины и женщины.

Все в этих женщинах казалось фальшивым. Аршаку представлялось, что у них фальшивые волосы, брови, ресницы, цвет губ и щек, манеры, движения — все фальшиво, но зато как откровенно они уплетают изысканные лакомства.

Заглушая непрерывный смех и нескончаемую болтовню, победно звучит джаз.

Рядом с Аршаком какой-то бледный юноша, точно сотрапезник этих богачей, аппетитно жевал кусок черствого хлеба, не отрывая глаз от пышно сервированного столика.

Полицейский отогнал обоих от окна.

Аршак побрел дальше.

Какая-то старуха протянула исхудалую, дрожащую руку к роскошно одетой даме. Та брезгливо отвернувшись, уткнувшись носом в надушенный воротник мехового пальто, поспешно подозвала проезжавшее мимо авто.

Сделав большой крюк и подобрав по пути две брошенные газеты, Аршак вернулся к своему жилью и остановился на мосту Нотр-Дам.

Внизу, у каменного парапета, озаренного солнцем, лежали и сидели несколько бродяг. Он присмотрелся — ни одного знакомого.

В лохмотьях, утратившие образ человеческий, несчастные существа. А ведь и их в муках родили матери, кормили своим молоком и ласкали. Кто же вышвырнул их, голодных, грязных, бездомных, на парижскую мостовую?

У перил толпа прохожих — мужчины, женщины, дети с любопытством разглядывали жалкое человеческое отребье. Иные даже насмехались над несчастными.

Аршак гневно посмотрел на самодовольных буржуа и спустился по ступенькам, говоря сам с собой: «На Востоке таких несчастных жалеют, а тут...» Еще

в Турции приходилось ему читать в армянских газетах и слышать от армян, что Европа — центр просвещения и культуры, что европеец благороден, воспитан и чело-веколюбив...

Но какое разочарование, какая ложь! Буржуа еще очень далеко до того, чтобы стать человеком.

Так говорило Аршаку его сердце. Не здороваясь с товарищами по несчастью, присел он в одиночку у стены, охватив колени руками.

Заходящее солнце посылало живительную теплоту.

Некоторые из несчастных, закрыв глаза и забыв обо всем на свете, погрузились в свой внутренний мир, разумеется, пышно разукрашенный, хорошо согретый, озаренный роем волшебных грез — этим неиссякаемым сокровищем всех неимущих.

Аршаку было хорошо известно подобное состояние.

Спасаясь от жестокой действительности, он находил надежное убежище в мире грез.

Душа человека переполнена неукротимыми, непреодолимыми желаниями, властно требующими осуществления, если не наяву, то хотя бы в грезах...

Лежа на жесткой доске или на каменных плитах, Аршак забывал тоску. В мечтах он возмещал потери, воскрешал любимых покойников, распоряжался жизнью, повинуюсь велениям сердца.

Да разве мог бы он нести тяжкое бремя жизни без мечтаний! В мире грез он видел себя сытым, хорошо одетым, среди родных и близких, жизнерадостным, полным сил.

Аршак закурил сигаретку. Полузакрыв глаза, он следил за дымом. Дым расплывался, разрастаясь в облако, и наконец совсем скрыл этот бессердечный город, перенеся Аршака в яркий мир мечтаний.

Его разбудили шаги. Товарищи по несчастью уходили. Солнце совсем спряталось в густых тучах; низкое небо, казалось, вот-вот коснется крыш.

Поднимаясь по лестнице, Аршак ударился выпиравшим из башмака пальцем о камень; носок прорвался, и палец нестерпимо заболел; от боли у Аршака выступили слезы. Прихрамывая, Аршак слезящимся взором разглядывал встречаемых. Он так хотел, чтобы

его пожалели и посочувствовали ему, чтобы хоть одна живая душа откликнулась на его страдания, смягчила гнев одиночества. Однако все эти человеческие «я» проходили мимо совершенно равнодушно, даже не замечая его. Да и замечал ли когда-нибудь взгляд пресыщенного человека того, кто в лохмотьях? Вспомнил Аршак слова товарища по судьбе Шарля Брея: «Богачи думают, что бедняки не знают боли».

С перекрестка дул холодный ветер.

Холод усиливал его отчаяние; Аршак чувствовал себя более одиноким, чем когда бы то ни было.

Минуту спустя, как назло, он увидел ярко освещенный обувной магазин. Сколько обуви всех фасонов и по самым невероятным ценам! Гнев закипел в нем; мгновенно в нем пробудилась воля, руки затряслись и сжались в кулаки; Аршак хотел было разбить витрину... Пусть, пусть потащат его в тюрьму: тюрьма — это рай, теплый угол, даровой хлеб... Многие так и поступают, чтобы хоть в тюрьме скоротать зиму. Но тут он вспомнил, что полицейские, уводя арестантов в тюрьму, жестоко их избивают, — по крайней мере так рассказывали товарищи. И особенно люто, бессердечно истязают чужестранцев, не имеющих паспортов.

Слишком уж он ослабел физически — избияния ему не вынести... Нет, это ему совсем не по силам, другое дело, если бы его немедленно упрятали в тюрьму.

• • •

Аршак направился в кафе на бульваре Сен-Мишель, куда обыкновенно ходил Арам, заглянул в дверь, — приятеля не было. Положим, еще не время, это хорошо знал Аршак.

Он начал расхаживать по тротуару перед кафе в ожидании Арама и думал, о чем придется ему с ним говорить.

Парижское небо отсвечивало медью от бесчисленных огней.

По проспекту неслись авто всех видов и марок. Там и тут торчали фигуры полицейских. Публика так и

сновала взад и вперед: мужчины, разряженные женщины, молодежь — попарно, под руку, смеясь и хохоча, с веселыми лицами. Тут же проходили пожилые люди — суровые, изнуренные, неся в сердцах своих целые миры горестей и дум! Однако Аршаку казалось, что все счастливее его...

Из роскошных кафе и ресторанов лились потоки света.

Аршаку казалось, что люди, сидящие там, имеют только одну заботу — пользоваться всеми благами жизни.

«Невелика важность для богача, что на улице люди изнемогают от холода и голода. Ему представляется, что на свете всем тепло и что у всякого брюхо набито так же, как и у него», — думал Аршак, глядя на этих беспечных счастливых.

Трое молодых людей стояли на тротуаре, разговаривая. До Аршака долетело несколько армянских слов. Он прислушался: да, говорят по-армянски.

«Не обратиться ли к ним; быть может, улыбнется счастье — и мне дадут какую-нибудь работу...»

Он подошел и отступил, подошел снова, снял шапку и нерешительно молвил:

— Извините, пожалуйста, не могли бы вы дать мне какое-нибудь занятие, то есть, я хочу сказать, найти... Я армянин.

— Как? Как?

Аршак повторил свою просьбу более внятно.

— Очень жаль, но ничего нельзя сделать. Кризис!

Аршак не двинулся с места. В сущности, он даже не понял ответа. Один из молодых людей сунул руку в карман и протянул Аршаку монету. Тот растерялся.

— Возьмите, — оказал молодой человек.

Аршак неверным языком пролепетал:

— Но я прошу не денег, а работы.

Молодой человек насильно всунул деньги в руку Аршаку и удалился вместе с собеседниками. Аршак хотел было догнать его, вернуть деньги... Еще никогда Аршак не просил подаяния, он всегда платил трудом за то, что брал... От волнения у него тряслись руки, ладонь пылала, — эти деньги точно жгли ее.

Шатаясь, сделал Аршак несколько шагов и остановился. Зачем обижать молодого человека? Что он сделал дурного? Просто посочувствовал. Ведь он, Аршак, — воплощение жалкой участи. Он разжал ладонь — в ней пять франков. У него чуть не брызнули слезы...

Этот случай еще ярче оттенил безысходность его положения. Нет, у него не было обиды на незнакомца; он был сердит на самого себя, зол на свою нищету, на свою судьбу.

Не отдавая себе отчета, Аршак поплыл по течению вместе с толпой. Ему хотелось шагать и шагать; нервы были издерганы до крайности; каждое лицо, каждый голос, каждый взрыв смеха так и сверлили ему мозг, звонки трамвая, гудки авто точно пилили, резали его сердце...

Вот стоит кучка прохожих. Остановился и он. Безногий инвалид наигрывал на скрипке. Аршаку припомнился один из его товарищей, лишившийся ноги на войне; вспомнил он и другого: тому оторвало руку на одном из парижских заводов. Хотел было Аршак отдать все пять франков убогому скрипачу, но, помедлив мгновение, бросил в кружку пятьдесят сантимов.

Крупными шагами он возвратился к кафе и стал поджидать Арама. Вот и он! Аршак преградил ему дорогу. Беглый взгляд — и Арам сразу понял трагическое положение Аршака.

— Аршак, это ты? Ну, как дела? Отчего тебя не видно?

— Уж и не спрашивай!

Молчание. Взгляды их встретились. Опять молчание.

— Все в том же положении. За подобранные на рынке отбросы получаю призрак еды, за прочий хлам — право ночевать сидя. Не будь Шарля Брея — ты его должен знать, о нем я тебе рассказывал, — отчаянье давно бы доконало меня.

Арам прикусил губу.

— Арам, милый, найди мне какую-нибудь работу, не погнушаюсь ничем, только бы добыть кусок хлеба.

— Дорогой мой, что же я могу сделать? От этого дьявольского кризиса все озверели... — Арам хотел ска-

зять: «Все так же бедствуют, как ты», — но, почувствовав фальшь этих слов, поправился: — Какую же работу? Ремесла ты никакого не знаешь, с языком не в ладах...

— Как же мне быть теперь? В Сену броситься, что ли? У меня ни одежды, ни обуви, белье — одна рвань, нет даже денег, чтобы постричься... Месяцами не бываю в бане. Сколько у тебя знакомых армян! Взяли бы меня хоть в столовую — мыть посуду или чистить картошку... Не знаю, что делать...

— Аршак, дружище, про Сену ты забудь. Не унывай, потерпи. Слава богу, ты побывал на войне и сражался, кажется, недурно; по сравнению с войной все это чепуха, наступят и хорошие дни, — ободрял приятеля Арам. — Помни, что я все время о тебе только и думаю. Не скажу, что найти работу теперь невозможно, но очень, очень трудно. А ведь и у меня нет определенных занятий, только карты и вывозят. У племянника чахотка, мне приходится заботиться о нем.

Арам вдруг умолк, соболезнующе глядя на Аршака.

Покусывая губу, Арам долго размышлял; наконец, не поднимая глаз, сказал:

— Приходи ко мне завтра, вместе отобедаем. Подумаем и обсудим, пожалуй... Ты уж не обижайся, дорогой, на мои слова: есть у меня поношенное платье, неплохое, и обувь есть, дам смену белья... А вот пока возьми эти десять франков, пойди в баню, подстригись... Всего хорошего, друг мой, партнеры мои ждут. Уж задам я им перцу! Богатые арабские юноши из Египта. Жизнь — жестокая вещь!

Крепко сжав Аршаку руку, Арам задержал ее в своей и добавил:

— Уж таков Париж: коли нет денег, на тебя и смотреть не станут. То же самое и в Лондоне, и в Берлине; в Нью-Йорке еще хуже. Деньги, деньги, деньги... Ведь мы до войны у себя на родине даже и не понимали, что значат деньги, пренебрегали ими. Идеал, честь, благородство тут не в цене. Деньги — это душа человека. Нет, это бог! Если бог создал вселенную, то человек создал деньги. Эту мысль мне внушил Париж,

ее внушили мне большие города. Деньги, деньги! Эх, я этих приезжих разделаю на славу!..

И, наскоро пожав руку Аршаку, Арам прошмыгнул в кафе.

«Ну, уж этот что-нибудь да сделает, хороший парень Арам!» — подумал Аршак.

* * *

Аршак свернул в узкий переулок и очутился в маленьком кафе. В уме у него назойливо вертелось все то же: «Деньги, деньги, эти города, этот город, деньги, деньги!» Идти к Седраку было еще рано. Он уединился в углу и спросил чашку горячего молока с булочкой. На столе лежала газета. Аршак развернул ее, но не в силах был читать: ему мешало тяжелое состояние духа, вопросы, требовавшие немедленного разрешения.

«Сегодня решительный день; несомненно, Седрак сделает все, что в его силах. Да и прошу я не бог знает чего, — только пропитания...»

Утолив немного голод, Аршак принялся просматривать газету. Большие статьи он пропускал, останавливаясь лишь на хронике.

«Берлин. Обанкротившийся коммерсант убил жену и маленького сына, а потом покончил с собой».

«Вена. Безработный бросился под поезд и был раздавлен».

«Лондон. Большая демонстрация перед съездом министров была разогнана полицией. С обеих сторон имеются раненые».

«Лондон. Обнаружены трупы женщины и двух маленьких детей, задохнувшихся на кухне от газа».

«Нью-Йорк. Утром у здания муниципалитета подобрали четыре трупа безработных. В городе жестокие холода. Вследствие огромного числа людей, лишенных крова, смертность все увеличивается».

«Чикаго. Бандитами похищен сын крупного фабриканта. Если не будет внесен выкуп, мальчика убьют. Вся полиция на ногах».

— Как страшен этот мир! — пробормотал Аршак, отбросив газету. — Правду говорил Арам: деньги, деньги...

ги, эти города, города... И такая пропасть людей во всех этих городах, что человеческая жизнь совсем не имеет цены. Есть у тебя деньги, ты — человек, нет — растопчут, как муравья... Горе тем, у кого нет денег! Горе тем, у кого нет работы... Этот город пожирает всех людей, подобных мне...

Аршак облокотился на стол, охватил голову руками и закрыл глаза. Теперь он не думал... Молчал, мысль дремала, но город, исполинский город, вокруг него гремел, фырчал, задыхался, выл... Грохот автомобилей, гул машин, нестройный хор голосов, звонкие крики детей, старческие вздохи — все сливалось в неописуемом хаосе. Веселый смех счастливых, стоны несчастных, ругань уличных забияк, первые крики новорожденных, предсмертное хрипение стариков...

Вот чудовищный голос Города!

Аршак, охватив голову руками и закрыв глаза, сидел одиноко, молчаливо, вслушиваясь в грохот. Ему чудилось, что Город, как зверь с разверстою пастью, с воем и окрежетом жадно пожирает всех слабых и несчастных...

Он чувствовал необъяснимый ужас от звуков Города, страх щемил ему сердце, боязнь эта была страшнее смерти...

«Ужасен этот Париж... О, если б найти мне дорогу к своему селу, пусть не к своему — к любому селу!.. Нет, эта дорога исчезла!»

Все исчезло, все, все!..

* * *

В семь часов Аршак, угрюмый, растерянный, стоял перед портняжной мастерской, откуда один за другим выходили мастера.

Аршак и Седрак пожали друг другу руки. Аршак излил другу свои горести.

— Попытаюсь, милый, соображу... Но все-таки придется тебе добывать кусок хлеба черной работой: придется полы мыть, к примеру, ну как бы это сказать, таскать тяжести, быть на посылках и все такое...

— С радостью, с радостью, была бы только работа!

— Аршак, дорогой, — вставил Седрак, немного подумав, — говорят, хорошо можно устроиться в доме «Армии спасения». Не пробовал ты обращаться туда? Не лучше ли тебе поместиться там, чем бродяжить?

— Может быть, там и очень хорошо, однако места в этом доме не получишь. Посмотрел бы ты, какой хвост перед ним: старики, старухи, дети, хромые, слепые, безрукие... Просто грешно, наконец, отбивать у них место. Не всякому удастся попасть туда, многим приходится почевать на улице...

Молчание.

Аршак рассказал про встречу с Арамом.

— У Арама, — ответил Седрак, — есть своя компания, а я сижу весь день, не разгибая спины, и никого не вижу. Ты покрепче держись за него. А почему ты не заглянешь ко мне? Кое-какая одежонка найдется — дам. Ты сказал, что полотенца нет, — дам и полотенце. Все мы братья, на свете и не то бывает, а в отчаянье приходить не надо, потерли... Возьми вот эти десять франков, вернешь, когда будут, это ссуда. Буду ждать, обязательно приходи...

* * *

Аршак с облегченным сердцем отправился в столовую. «Конечно, потерпеть надо. То же самое говорил и Арам. Разумеется, на свете всему бывает конец — и хорошему и плохому... Завтра я уже не пойду на центральный рынок. Буду отдыхать. Да и эту ночь высплюсь, вытянув ноги; завтра в баню схожу, подстригусь. Денег достаточно...»

Аршак зашел в лавку и купил пачку сигарет. «Будь благословен табак, без него пришлось бы нам еще горше».

Из оставшихся денег он решил пять франков истратить на вечернее угощение Шарля Брея, своего верного, дорогого Шарля, а остальные приберечь на завтра. По дороге из столовой в кафе Аршак услышал гнусную, возмутительную ругань и хриплые женские голоса. Две пожилые проститутки спорили из-за «покупателя», успевшего удрать в самый разгар их спора. При виде Аршака они мгновенно смолкли и, подтал-

кивая друг друга локтями, приготовились подойти к нему с любезными улыбками на ярко раскрашенных лицах.

Не успел Аршак отделаться от них, как из-за угла прямо к нему устремился кто-то, стуча костылями о мостовую. Это была молоденькая женщина с отнятой выше колена ногой. И опять нежные предложения... Аршак боязливо сунул несчастной франк и поспешил удалиться.

«Париж — настоящий ад!»

В кафе он застал своих товарищей. Сидели они в густом дыму перед грязными винными стаканами, вокруг Шарля Брея. Как всегда, Брей ораторствовал с воодушевлением, вдохновенно размахивая руками.

Боясь помешать, Аршак тихонько присел у двери.

— ...Да, именно! Смело вручай себя природе, Сюзан, дорогая сестрица, и не думай о смерти. Коли будешь о ней думать — все пропало. А что касается того мира, так он из двух частей: рая и ада. В раю хорошо: вкусные плоды, холодные ручьи, воздух отличный, но общество скучнейшее — одуревшие аскеты, девы с высохшими грудями и неумолчные славословия и хвалебные гимны тщеславному богу. Скука зеленая!..

— Довольно, довольно, не хочу больше слушать! — резко крикнула мадам Сюзан, представительная дама, хозяйка кафе, оскорбленная в своих лучших чувствах.

— Отлично! Теперь обращаюсь к своим друзьям, а не к тебе! В аду интересней — там высшее общество земного шара: от фараонов до римских императоров, турецких султанов, персидских шахов, европейских королей, со своими проститутками-фаворитками, министрами, полководцами, банкирами... А Клеопатра, Аспазия, мадам Помпадур, а овятейшие папы?.. Но перед отбытием в потусторонний мир мы еще должны в этом мире свести кое-какие счета...

И, пригубив стакан, обратился к Аршаку после недолгого молчания:

— Сюда, ко мне, сюда! Ты бедствуешь, мой несчастный храбрый воин турецкой армии! — И Шарль посадил Аршака рядом с собой. — Где ты пропадал? — продолжал он, похлопывая Аршака по плечу.

— У сородичей был.
— И что же они сказали?
— Обещали найти работу.
— А ты им поверь: поспишь спокойно хоть эту ночь. Ну, что еще?

Аршак рассказал, что ему дали немного денег, а завтра обещали одежду.

— Bravo! — выкликнул Шарль Брей. — Земляки твои все еще не расстались с привезенной ими с Востока человечностью. Не сегодня-завтра наша цивилизация развратит и их. Тогда и они начнут походить на наших зверей и вместе со своим золотом зароят душу и сердце свое в землю. Вот тогда они и станут европейцами.

Задыхаясь от кашля, разрывающего легкие, Марсель иронически буркнул:

— Цивилизация!

Аршак положил на стол десятифранковую монету.

— Сегодня будем пить, — сказал он вполголоса, уставясь на Шарля Брея.

Шарль поднял двумя пальцами деньги с таким видом, точно это был комок грязи, и провозгласил, потрясая монетой:

— Полюбуйтесь! — Все оглянулись на него. — Да хорошенько посмотрите на эту маленькую потаскуху! Когда-то в каком-то затерянном уголке, порожденная потом какого-то безыменного труженика, через руки скольких тысяч мерзавцев прошла она, каких только низких и горьких деяний не пришлось ей свершить своим тоненьким тельцем, пока в конце концов не очутилась она в руках этого заеденного нуждой чужестранца!.. И вот теперь она попадет в руки хозяина «Луи Каторз». Возьми ее, Луи Каторз, эту шлюху, и дай нам вина, вина нам!..

— Давай вина, выпьем за здоровье этой бессмертной проститутки, — пробурчал один из бродяг.

— Погодите, дайте мне провозгласить тост в честь нее, и потом уж выпьем, — поднялся Шарль Брей со стаканом.

Тихо! Тихо... — загадочно скользя взглядом по лицам собутыльников, начал Шарль Брей. — Наш пра-

родитель Каин своими проклятыми руками заложил первый город, и с того дня на города легло проклятие. Его внук Таубалкаин первый пустил в ход медь и железо. Из меди ковал он деньги, из железа — мечи. И деньги и мечи повсюду превратили людей в рабов. Кто строил рынок, кто — крепость. На защиту первого стал купец, на защиту второго — воин. Наконец в течение веков сила денег победила силу меча, купец — воин. И меч сделался покорным орудием денег.

Все можно купить за деньги: любовь, здоровье, радость жизни, талант, свободу, женщин, гордость, честь.

Все можно продать за деньги: любовь, здоровье, радость жизни, талант, свободу, женщин, гордость, честь.

Деньги толкают на преступление. Из-за денег переполнены тюрьмы.

Голос денег слышится всюду: на биржах, в банках, в министерствах, в церквях, во всех домах. Из-за денег на всех пунктах земного шара вспыхивают войны. Каждый борется из-за денег. Все вступают в борьбу друг с другом ради денег.

Долой же деньги, долой навсегда!

— Долой деньги, долой деньги! — громко вторили собравшиеся.

— А я выпью за здоровье денег. Пусть они никогда не переводятся у нас в карманах! — вставил один из бродяг.

— Верблюды ты этакий, да ведь сколько ты ни выпьешь, деньги сами к тебе не поплывут! — возразил сосед.

— Я пью за всех вас. Да здравствуют те, у кого нет собственности! Другими словами — за лишенных прав. За вас, мои друзья! — с жаром воскликнул Шарль Брей, подняв стакан.

— Bravo, дорогой Шарль! — отозвались товарищи.

Кто-то разбитым голосом запел известную песню осужденных на гильотину. Остальные подхватили, подмигивая и подтягивая певцу:

Мир обещанья не сдержал.
Он жизни светлую струю,
Как шлюха, осквернил, — и вот
Снимают голову мою.

Я подружился с сатаной,
И он, как шлюха, обманул:
Швырнул на улицу меня,
Чтоб волчьи песни я тянул.

Мое немытое лицо,
Небритое с давнишних пор,
Обреют тщательно, чтоб мне
Лечь завтра чистым под топор.

Клочка земли я не имел,
Не знал я, чем себя прикрыть,
Где на безбрежности земной
Мне можно голову склонить.

А завтра будет мне надел:
Свезут на кладбище мой прах
И, наготу земель прикрыв,
Положат голову в ногах.

Хозяин кафе Луи, растроганный песней, пыхтя и отдуваясь, поставил перед Шарлем две бутылки:

— А это от меня!

— Браво, рыцарь Почетного легиона Мишель Бернар! — крикнул Шарль при общем одобрении.

У Луи-Мишеля Бернара глаза совсем закрылись от смеха; он поднял плечи и бодро зашел за стойку.

— Луи, тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты подавал заявление о вступлении в ряды рыцарей Почетного легиона. Хоть на этот раз послушай своего давнего, бескорыстного друга...

Все, поглаживая усы, одобрили Шарля.

Шарль Брей шутки ради всегда твердил Мишелю, что вот-де ты уже лет тридцать держишь кафе, оказал родине огромные услуги, способствовал развитию отечественного богатства, значит, имеешь право на отличие. Пусти только в ход немного денег, начни угощать какого-нибудь сенатора, получи с его помощью орден и вдень его в петлицу; повесив на локте зонтик, бери под руку свою мадам и гордо шествуй с ней по улицам Парижа. Чем другие лучше тебя?

Этот добрый совет неизменно завершался общим хохотом.

Шарлю Брей было под пятьдесят; это был человек тонкого сложения, жилистый, с светлосерыми глазами. Между острым носом и острым подбородком змеились тонкие губы. Щеки у него отекали, как у алкоголика. В молодости Шарль Брей был журналистом, сотрудничал в народных газетах. Много пламенных статей на жгучие общественные темы было подписано его именем. Пристрастие к спиртным напиткам погубило его. Воля в нем ослабела, он все больше и больше опускался, незаметно смешиваясь с подонками общества. Однако он стяжал себе общее уважение среди бродяг, считался между ними единственным бродягой-«аристократом». Жил Шарль Брей у сестры. Много лет назад, когда он еще занимал хорошее общественное положение, Шарль пристроил сестру в большом книжном издательстве. Признательная сестра кормила и одевала несчастного брата, потерявшего способность держать перо.

Чтобы раздобыть денег на вино, Шарль Брей в часы трезвости приобретал у букинистов старые книги и распродал своим бывшим друзьям, получая комиссионные. Вырученные деньги он проживал в компании нищих товарищей; спустить последний сантим ради них Шарлю было не жалко.

Аршак был предметом его особых забот. Шарль Брей уделял ему больше внимания, чем другим, видя в нем беспомощного чужестранца. В этом мире всеобщего распада Шарль Брей являлся настоящей опорой для Аршака.

Хозяин кафе Мишель был другом детства Шарля, они были из одного околотка. Их связывали тысячи общих воспоминаний, и они неизменно любили друг друга. Шарль Брей прозвал Мишеля «Луи Каторз», потому что тот отдаленно напоминал «Короля Солнце»: такой же краснолицый, такой же обжора и толстяк. Под этим именем было известно и кафе.

Шарль Брей был желанным гостем во всех мелких кафе этого квартала бедноты. Но невзрачное кафе Мишеля привлекало его больше других. Здесь его прини-

мали особенно радушно. Только тут Шарль Брей отводил душу в кругу друзей.

Товарищами Шарля были Жан — мрачный, с палитыми кровью глазами, Альфред — живой, смуглый, с подвижным лицом, угрюмый Поль Марсель и самый молодой — тридцатилетний Анатоль, только что выпущенный из тюрьмы. Все в лохмотьях, без крова, без приюта, не успевшие еще утолить сегодняшний голод и уже вынужденные думать о завтрашнем дне. Отверженные, отщепенцы, захваченные вихрем борьбы за существование. Голь, исходившая всю страну вдоль и поперек, не раз сидевшая в тюрьмах, спавшая под мостами, в полях, в лесах, в гаванях...

Немытые и нечесанные, в этой столице красоты, с опухшими, красными глазами, созерцали они сказочную пышность и богатство «столицы земного шара», куда со всех концов света стекается золото для прихотей и наслаждений, и все же вечно оставались в стороне от этих земных благ. Нищие, чьим уделом были всегда холод, голод, бесприютные ночи, грязь, пренебрежение и насмешки...

— Шарль, ты не договорил. В твоей речи упоминалось, будто мы должны свести счета, — напомнил Жан.

— Налей вина, тогда скажу, а не нальешь — ничего не услышишь. Вот так, до краев... Молодец, хвалю! Да, свести счета с обществом. Свести счета — значит разрушить его и создать новое... Берите пример с русских!..

Шарль выпрямился и, закинув голову, протянул дрожащую руку. Потом, с минуту помолчав, осмотрелся и, придав голосу торжественность, начал:

— Это общество насквозь прогнило. Оно труп. Надо похоронить его. Надо свалить его в мусорную яму.

Мадам Сюзан, почти не слушавшая Шарля и перетиравшая грязным полотенцем стаканы, при этих словах отшвырнула тряпку и гневно перебила оратора:

— Довольно, довольно, безумный старикашка! Разрушить общество... прости его, господи!

— Да, да, разрушить! — поддержал друга Поль.

— Боже мой, боже мой! — повторяла мадам Сюзан.

— Бога нет! — воскликнул Жан, хватив кулаком по столу.

— У голодного брюха нет бога! — вставил Альфред, дымя сигареткой.

— Хлеб — вот наш бог, — пробормотал Марсель, задохнувшись от кашля, и сплюнул.

А Луи за стойкой, подпирая ладонями подбородок, сочувственно подмигивал Шарлю.

— Продолжай, Брей! — сказал угрюмый Жан.

Поднявшись во весь рост, Шарль расстегнул узкий воротник рубашки и яростно уставился на мадам Сюзан.

— Надо свергнуть всех буржуа, капиталистов, всех богачей!

— Да, да, всех, всех! — возбужденно закричали остальные.

Молчали только Анатоль и Аршак.

— Но вы же христианин. Что за нечестивые мысли у вас! Ведь и богачи — наши братья! — с ужасом отозвалась мадам Сюзан.

— Да мы-то им не братья...

— Кто меня накормит, тот мне и брат...

— Брат у брата хлеба не отнимет...

— Да, богачи — наши братья, мадам Сюзан, но они же для нас Каины-братоубийцы. Так ты и запомни это! — с мрачным спокойствием добавил Жан.

Шарль Брей продолжал:

— Прекрасно! А скажите — кто сосет кровь несчастного труженика и выматывает из него душу? Кто дочерей его делает проститутками, выбрасывая на тротуар?

— Наши богатые братья.

— Кто затеял эту чудовищную войну, отнявшую двадцать миллионов молодых жизней? И этот зверь все еще не утолил своей жажды.

— Кто превратил миллиарды в дым на полях сражений? Эти миллиарды могли осчастливить множество людей, спасти их от нищеты.

— Наши богатые братья, и только они!

— Правильно, Шарль, правильно! — откликнулись слушавшие.

— А разве виноваты в этом богачи? Ведь не они затевают войны, а короли, президенты. И то на пользу своей родине, государству, — отозвалась Сюзан, не глядя на Шарля.

— Так!.. Так вот, послушай меня, старика Шарля. Ты говоришь, что богачи не виноваты, да? Коротковат у тебя умишко, только не обижайся; моя сестра Матильда тоже так рассуждает... Государство! Что такое их государство? Государство — это богачи. Король или президент, армия — это слуги. Знаешь, почему воюют твои невинные богатые братья? Ради кармана, из-за денег... Для банкира, фабриканта, капиталиста, буржуа родины нет и не было. Их родина — это рынок. А толстосумам рынок только и нужен, ни справедливости, ни совести, ни любви, ни человечности... Так почему же нам воевать для этих преступных владельцев рынка? Кому нужны мировые катастрофы, избиения стариков и младенцев? Не нам все это нужно, а буржуазии. На этом она выгадывает миллионы, чтобы обжираться в золотых дворцах и упиваться потоками дорогих вин. Ведь эти мерзавцы откажутся дать Франк голодному, сами же бросают тысячи, чтобы пить шампанское из туфли проститутки... А мы, дети нашей родины, что такое мы для них? Голодные псы! Мы, наши дети и всякий другой, кроме них, — «неизвестные солдаты».

— Раздавить их без пощады! — поддержал Шарля одинокий голос.

Это был Жан; остальные хранили угрюмое молчание.

Шарль опустился на свое место. Аршак поднес зажженную спичку к сигаретке. Поль налил ему вина.

Семь ртов усердно выпускали табачный дым.

Анатолий черным ногтем большого пальца притушил сигаретку и спокойным, жалобным голосом обратился к Шарлю Брею:

— Шарль, извини, я тоже имею слово... Кто мы такие, Шарль, чтобы могли спасти мир и покончить наши счета с могущественной буржуазией? Кто такие мы? Бродяги... Я не тебя имею в виду. Мы ничто, мы нуль. Нас даже за людей не считают, у нас нет своей

воли, мы не способны к труду. Мы ничто, мы люмпен-пролетариат, как называют нас рабочие; да, мы люмпен-пролетариат, нуль. Я не про тебя, Шарль...

Все посматривали то на Анатоля, то на Шарля. Анатолий продолжал тем же тоном:

— Я тоже прежде думал, как ты; но в тюрьме Сантэ я встретил рабочих-социалистов, арестованных за участие в демонстрациях, я сошелся с ними; многому научили они меня, многое стало мне ясным. У них были книжки, они тайком их читали и разъясняли мне и таким же, как я. Прочли они «Манифест» Маркса...

— Да, знаю, в молодости и я прочитал «Манифест» и кое-что другое. Я лично звал Жореса и не раз его слышал, — вставил Шарль.

— Ты, конечно, читал, не сомневаюсь, а я только слышал о нем. И вот я увидел, что мы, люмпен-пролетариат, ничто. Пролетариат — вот это сила. Пролетарии объединяются во всем мире, у них есть и партия и деньги, они издают газеты, имеют вождей, в парламентах — представителей; знамя у них везде одно и то же... А у нас ничего нет, ничего, ничего. Пролетариат — большая сила, под его знаменем — миллионы рабочих... Будущее принадлежит им!.. Мы умеем только ломать, но не строить. У нас нет знамени. Зато пролетариат знает, чего он хочет, за что борется и что предстоит ему делать, какие новые порядки придется ему создать. У пролетариата есть знамя.

Вот моя мысль: когда пролетариат начнет свою великую борьбу с буржуазией, мы должны идти... с ним в ногу. Армия пролетариата — единственная сила, способная спасти мир и свести счеты с буржуазией; только она и может на месте старого порядка воздвигнуть новый. Тогда для всех будут хлеб, свобода и счастье — подлинные, впервые! — «свобода, равенство и братство», о которых мы читаем всюду, даже на фронте тюрьмы, но которых не находим в жизни.

У меня теперь одна мечта... Ах, если б я мог быть на каком-нибудь заводе рабочим! Вступил бы я тогда в пролетарскую организацию, встал бы под пролетарское знамя и был бы счастлив, потому что явилась бы у меня тогда цель жизни... А теперь что я такое?

Голос Анатоля постепенно стих.

Шарль Брей опустил голову. Остальные товарищи хмуро молчали. Аршак слушал много речей Шарля — все они походили одна на другую: протест и страсть, негодование и гнев, удручавшие и омрачавшие его душу. Но при словах Анатоля упрямое лицо Аршака постепенно прояснилось и наконец засияло. Теперь он не сводил полных радости глаз с Анатоля.

— Голова у меня тяжелеет, — сказал Шарль, ощущая лоб. — У Анатоля свои мысли... Анатоль окончил университет тюрьмы Сантэ; Сорбонна перед этим — ерунда, аттестат Сантэ куда выше... Мишель, я не хочу домой; мне и Аршаку в другой комнате отвести уголок вздремнуть так, чтобы чужестранец мог хоть свободно улечься...

Дверь кафе открыли, чтобы проветрить помещение. Двое расположились на ночлег подле опустевшего стола, остальные легли на полу; Анатоль разостлал мешок, на нем — две-три газеты, а под голову положил сумку.

После стольких месяцев Аршак наконец разделся и, свободно вытянув ноги, улегся на кушетке. Ему не спалось, в воспаленном мозгу вереницей тянулись мысли.

Слова Анатоля перевернули ему душу. Теперь для него стало целью сделаться рабочим. Он чувствовал, что нашел подлинный путь, который поможет ему выбраться из этой тины.

Он сознавал себя выросшим, окрепшим. Теперь он ясно видел в мире идеал и в жизни — смысл. Поступить на завод, стать бойцом в армии пролетариата, бороться с нищетой и с людьми, угнетающими бедняков. Умереть, даже умереть за освобождение угнетенных — уже счастье!

И всеми своими помыслами, всем своим существом Аршак был с пролетариатом. Преданный отныне его знамени душой, телом и кровью...

Париж, 1932

3 Армянские рассказы



МАЛЬЧИК И СОЛНЦЕ

Ребенок-сирота, одетый в лохмотья, сидел, съежившись в комок, возле дома богача. Его вытянутая рука просила у людей подаяния.

Цвела весна, возвышающиеся неподалеку горы оделись уже в зеленый наряд, и весеннее солнце смотрело на мир добрыми глазами.

Мимо мальчика взад и вперед сновали люди, но никто из них не взглянул на него, никто не обратил внимания на горемычного сироту.

Солнце медленно шло к закату и наконец спряталось по ту сторону зеленых гор; подул холодный ветер, и мальчик сильно продрог.

— Ах, красное солнышко, доброе солнышко, меня согревали твои лучи, куда же ты уходишь, зачем оставляешь меня одного в этом холоде и мраке? У меня нет матери, нет дома. Куда же я пойду, где мне искать себе приюта?.. Вернись, вернись, возьми меня с собой, милое солнышко!

Так говорил безмолвно, в душе, сирота-мальчик, и слезы одна за другой катились по его бледным щекам. А люди спешили по домам, и никто не захотел взглянуть на мальчика, никому не было до него дела.

Последний солнечный луч скользнул по плечам гор и погас совсем.

— Милое солнышко, я знаю, ты ушло в свой дом, к своей матушке. Я знаю, где твой дом, вот он там, позади той горы. Я приду к тебе, тотчас приду...

И встал бедняжка сирота, дрожа от холода, и пошел, держась за стены дома богача. Шел он, шел, миновал город и достиг подножия гор. Труден был его подъем: кругом камни и камни; ступая на них, он изранил себе ноги, но, не обращая внимания на сильную боль, шел без остановки.

Ночь закрыла своим черным крылом зеленые горы. Только высоко над вершинами гор мерцали звезды, словно ласковые, манящие огни. Дул сильный ветер, завывал в ущельях, свистел между скалами. Порою летучие мыши в поисках ночной добычи задевали мальчика своими крыльями.

Но мальчик твердым шагом, бесстрашно шел все вверх и вверх. Неожиданно он услышал собачий лай, и немного погодя из непроглядного мрака до него донесся голос:

— Кто ты и куда идешь?

— Я мальчик-странник, иду к солнцу. Скажи — где живет солнышко, далеко ли его дом?

Держа лучину в руках, к нему подошел какой-то человек и ласково сказал:

— Ты, наверно, устал, мальчик, хочешь есть и пить, пойдем ко мне. Какие бессердечные у тебя отец и мать. Почему они бросили тебя одного в эту холодную, темную ночь?

— Нет у меня ни отца, ни матери, я бездомный сирота.

— Пойдем, мальчик, пойдем ко мне в дом... — сказал добрый незнакомец и, взяв мальчика за руку, повел его за собой.

Они вошли в бедную хижину. Возле очага сидела семья — женщина и трое маленьких детей. Рядом в закутке дремали овцы. Незнакомец оказался горным пастухом.

— Милые мои детки, я привел к вам братца, было вас трое братьев, отныне будет четверо. Тот, кто кормит троих, может прокормить и четверых. Любите

же друг друга крепко. А сейчас подойдите, дети, поцелуйте своего нового брата.

Жена пастуха первая обняла мальчика-сироту и по-матерински горячо поцеловала его. Потом подошли дети и по-братски поцеловались с ним.

Заплакал от радости мальчик и долго не мог успокоиться.

Потом сели за стол, радостные и оживленные. Мать постлала детям постели и уложила их всех около себя. Усталый мальчик, как только закрыл глаза, тотчас заснул крепким сном.

Во сне на лице у него была счастливая улыбка; ему снилось, что он наконец возле солнца, держит его и лежит в его теплых объятиях.

Затрепетало его сердце от восторга, он вскочил и увидел, что крепко держит за руку свою названую мать, а во сне обнимал не солнце, а своих братьев.

И понял тогда мальчик, что солнце именно здесь, в этом доме, и именно его он держал в своих объятиях.



СТАРОЕ СЕЛО

Это было давно, до первой мировой войны. Я часто ездил в одну из ширакских деревень в гости к другу своей юности. Наша дружба началась еще на школьной скамье; три года мы сидели рядом на одной парте — Вартан и я.

Окончив школу, я поступил в семинарию, а Вартан вернулся в свою деревню. Отец его не пожелал, чтобы сын продолжал учиться. Зажиточный крестьянин, он сам вел свое хозяйство и нуждался в помощнике. «Почился — и хватит, — сказал он, — ты же не собираешься стать ученым монахом. Вернись, дом ждет хозяина».

Наши пути разошлись, но я не прервал дружеских отношений со школьным товарищем.

Было начало августа, пора страды.

Поужинав, мы с Вартаном сидели в новой горнице и беседовали.

Стояла светлая ночь, неописуемо светлая, и хотя мы не зажигали лампы, в комнате было так светло, что можно было читать и писать.

Спит село. Крестьяне, самозабвенно трудившиеся в поте лица с рассвета до заката под палящим августовским солнцем, погружены в глубокий сон.

Луна шлет нежный покой спящим, и ее безмятеж-

ный мягкий свет, подобно легкому ветру, освежает лоно земли.

Мы с Вартаном вспоминаем школьные годы, своих товарищей, вновь переживаем радость школьных лет и детских игр. Затем Вартаи рассказывает забавные эпизоды из деревенской жизни.

Неожиданно дикий вопль нарушает невозмутимую тишину ночи:

— Сноха Ато умирает, помогите!

От дома к дому несется этот страшный крик по узким улочкам села:

— Сноха Ато умирает, помогите!

— Это сноха нашего соседа, — говорит Вартаи.

Под окнами нашего дома мы слышим людские голоса, топот шагов. Два ружейных выстрела рядом с домом наполняют наши сердца тревогой.

Мать Вартана, полуодетая, просовывает голову к нам в комнату.

— Сноха Ато умирает, истекла кровью, роды у нее, надо помочь ей!

Мы беспомощно смотрим друг на друга, ни я, ни Вартаи не знаем, что посоветовать.

— Я сварила кофе, говорят, чуть дышит бедняжка, — может, укрепит ее, как вы думаете?

Вартаи невольно повторяет:

— Да, да, скорей.

Мы одеваемся и торопливо идем к дому Ато.

В сенях и тонирной¹ толпится народ. Пройти невозможно.

— Она без сознания. Муж ее Авак дважды выстрелил из ружья, чтобы она очнулась, но ничего не помогает, — говорит кто-то.

Наконец нас пропускают, мы входим. В тонирной, на земляном полу у стены, разостлана постель. На подушке голова женщины с разметавшимися волосами, с печатью смерти на лице — глаза закрыты, нос заострился. Муж насильно открывает ей рот, и какая-то старуха вливает ложку кофе, но оно льется обратно через уголки губ.

¹ Тонирная — помещение, где выпекают хлеб.

В тоннельной стоит тяжелый смрад: крошечное отверстие ердика¹ не пропускает воздуха, дверь забита людьми. Запах пота, крови, дыма, человеческих испарений усиливает гнетущее впечатление.

— Ведь не первые же у нее роды... Боли скоро прошли, ребенка благополучно приняли, но она потеряла много крови, очень много, никак не могли остановить... Вот и умирает, бедняжка, — обратилась к нам пожилая крестьянка, судя по всему, деревенская повитуха.

Ужасное зрелище, я не верю глазам: муж умирающей неожиданно начинает с силой тянуть ее за уши и бить по лицу.

— Что ты делаешь, дикарь! — кричу я и бросаюсь к нему.

Муж смотрит на меня обезумевшим взглядом.

— Он хочет привести ее в сознание, — говорит кто-то.

Я склоняюсь к умирающей. Постель залита кровью, волосы и подушка тоже пропитаны кровью. Беру ее за руку, пытаюсь нащупать пульс. Пульса нет; кажется, все признаки жизни покинули несчастную женщину. Трогаю ноги — они холодные, окоченевшие.

Вартан берет зеркало, прикладывает к лицу, зеркало покрывается испариной — значит еще жива.

Что еще предпринять? Не знаю, как поступить. Я так же несведущ, как и крестьяне.

«Воздух, нужен воздух!» — эта мысль неожиданно приходит мне в голову.

— Больная лишена воздуха, она задыхается, уйдите, ей нужен покой! — кричу я.

Вартан разгоняет толпу.

В комнату врывается свежий воздух. Не задумываясь, осуществимо ли это, говорю Вартану:

— Нужен врач, и немедленно. Нельзя ли вызвать из города?

— Хорошо, — говорит Вартан и посылает одного из

¹ Ердик — отверстие в потолке, заменяющее дымоход.

крестьян на ригу разбудить слугу, чтобы седлал лошадь.

— Где ребенок? — спрашиваю я.

— Пусть станет прахом, погубил мать! — восклицает свекровь молодой женщины.

— Не к добру он на свет родился... девочка, — добавляет другая женщина.

Ребенок был, но умер. Во время суматохи новорожденного сунули в угол, сунули и забыли о нем, и он... умер. Только сейчас вспомнили, что был ребенок, что он умер — всеми забытый, брошенный... Сердце у меня сжимается. Я и Вартан уходим. Просим, чтобы нас все время осведомляли о положении больной.

Около дома Ато коровы и быки спокойно пережевывают жвачку, равнодушные к трагедии, разыгравшейся в этом уголке деревни.

Следом за нами, еле передвигая ноги, плетется старик.

— Погодите, милосердные, одно слово! — окликает он нас.

Это Ато — свекор молодой женщины.

Останавливаемся.

— Погас мой очаг. Весь дом на ней лежал. Ради бога, окажите ей помощь. А что этот доктор, придет он или нет? Ох, горе мне... не доживет она до утра, моя голубка...

Голос его дрожит, по лицу катятся слезы.

Мы утешаем старика: доктор будет, больная поправится.

Но слуги нет, лошадь не оседлана.

В ожидании я пишу письмо знакомому врачу. Меня терзают сомнения, я понимаю, что приезд врача уже бесполезен, слишком поздно, последние минуты больной сочтены, но продолжаю писать.

— Вартан, — спрашиваю я, — почему у тебя нет лекарств в доме?

— Лекарств! А разве я могу лечить?

— Разве несколько сел не могли бы объединиться, чтобы содержать одного-двух врачей или маленькую больницу?

— Что можно сделать, — с горечью говорит он, —

наши крестьяне бедны и забыты, трудно им растолковать. Об этом должно заботиться правительство, но наше правительство, как дьявол, чурается всего хорошего, и если бы мы даже захотели, оно бы воспротивилось. Народ держат в нищете и невежестве, на его долю выпадают только горе и беды. Вы должны позаботиться об этом, вы, образованные горожане, а крестьянин беспомощен...

Наш разговор был прерван появлением крестьянского парня.

— Сноха Ато умерла...

Мы последовали за ним. У дверей дома Ато жалобно плакал и кричал мальчик, вырываясь из рук деда:

— Ой, мамонька, лучше бы я умер, мамонька!

Вартан насильно выводит из дому плачущего Авака.

Со всех сторон подходят соседи. Шум, плач, крики...

Я вернулся домой в тяжелом раздумье.

Бедные крестьяне, несчастные, забытые, обездоленные... В городе мы разглагольствуем о вас: «Оплот нации, светлое начало, основа культуры, хранители языка, песен, защитники свободы, отстаившие ее в кровавых битвах с врагами родины...» Сколько лжи и фальши в этом... На трибунах и в печати стараемся затмить друг друга в красноречии, а вы погибаете в нищете, вас пожирают болезни, вы изнываете под бременем горя, мрак невежества окутывает вас...

Сердце терзают стыд и жалость. В голове теснятся сбивчивые мысли. Свинцовый сон сковывает меня.

Проснувшись, я увидел, что лежу одетый на тахте. Встал и выглянул в окно.

Солнечное утро, поют птицы, скрипят арбы, перевозящие снопы хлеба. На гумнах режут солому. Воли медленно тащат по кругу доски, утыканные кремневыми зубьями. Юноши, стоя на досках, напевая, погоняют волов.

Приходит Вартан и рассказывает, что сноху Ато похоронили на рассвете вместе с мертвым ребенком. Не было времени отслужить обедню. Сградные дни, в деревне дорог каждый час. Поминки будут справлять после молотбы.

Я не мог усидеть в комнате, тянуло в поле, хотелось остаться наедине со своими мыслями. На обратном пути, проходя мимо риги, я увидел Авака и его сына. Оба, грустные, молчаливые, сидели на досках, а волы нехотя тащили их. Я, как тень, скользнул мимо. «Не прошло и часа как смерть посетила их дом, а они уже работают, бедняги».

Эта сцена вызвала у меня сильное желание пойти взглянуть на дом Ато...

Старик сидел перед домом и курил. Поодаль на огне стоял котел, на земле лежали окровавленные лохмотья покойницы. Какая-то женщина подбрасывала кизяк в огонь.

Я рассказал Вартану. Он покачал головой.

— Голод безжалостен. У них нет выхода, им нужно обмолотить хлеб, чтоб не умереть с голоду. Хотят или не хотят, а они должны работать. Страдные дни — вопрос жизни и смерти для крестьянина, ему некогда даже в голове почесать. Слезы — роскошь для бедняка. — И постепенно добавил: — Предаваться скорби может тот, кто сыт.

Вечером, выехав на лошади в город, я размышлял дорогой, каким путем и когда армянский крестьянин сбросит наконец вековые оковы лютой нищеты и бесправия.



СЛУГА СИМОН

Давно это было.

У моих друзей был слуга по имени Симон. Служил он у них много лет. Хозяева были им довольны; казалось, и он был ими доволен.

Однажды Симон приходит к хозяйке и говорит:

— Простите меня, госпожа, но я хочу уехать домой, в деревню. Я вам очень благодарен, но не могу больше служить у вас.

— Почему, милый Симон? — удивилась хозяйка. — Мы всегда к тебе хорошо относились. Уже много лет ты живешь в нашем доме, мы так привыкли к тебе. Скажи мне откровенно — что случилось? Может быть, ты недоволен жалованьем? Если так, то прибавим. Постараемся не обидеть тебя, и ты будешь попрежнему жить у нас.

— Нет, милая госпожа, я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь, жалованья мне хватает, но я хочу домой, в деревню. Может быть, я и вернусь через несколько месяцев.

— Зачем же тебе так долго жить в деревне? Что там хорошего?..

Симон молчал.

— Ну, скажи: почему это ты вдруг решил уехать?

— Милая госпожа, если ты настаиваешь, могу сказать правду, — решительно ответил Симон. — Я хочу

уехать, чтобы не слышать своего имени. Пусть отдохнут уши, а то я чувствую, что могу сойти с ума. Весь день только и слышу: «Симон, поставь самовар, да поскорей!» Ставлю самовар, раздуваю его, снова крик: «Симон! Возьми башмаки барина да почисти их поскорей». Бегу за башмаками, тороплюсь почистить, опять крик: «Симон! Беги за извозчиком поскорей, барышне надо ехать». Бегу за извозчиком, бросив самовар, оставив башмаки недочищенными... Привожу извозчика, снова начинаю раздувать самовар, потом принимаюсь за башмаки. Опять крик: «Эй, братец Симон, где же твой чай, во рту пересохло! Сбегай-ка скорей за лимоном». А из другой комнаты голос барина: «Эй, Симон, что ты там копаешься с башмаками. Давай их скорей. Я тороплюсь».

Не успел еще вынуть руку из башмака, звонок у подъезда. «Симон, скорей отвори дверь!» А барчук вдогонку: «Симон, сбегай за папиросами, да побыстрей...»

Эх, милая госпожа, ну, сама посуди: как тут не помереть от такой жизни? Весь день только и слышу: «Симон, иди сюда», «Симон, пойдй туда», «Симон, унеси», «Симон, принеси», «Симон, беги», «Симон, скорее», Симон и Симон и опять Симон...

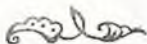
Это имя сверлит мне уши, я и во сне его слышу, и ночью у меня нет покоя.

Когда я остаюсь один дома, мне кажется, что даже стены кричат: «Симон, Симон!»

Я ненавижу свое имя, оно приводит меня в ярость, сводит с ума. Мне хочется бежать хоть на край света, чтоб только не слышать его.

Нет, милая госпожа, я больше не в силах. Разрешите мне уехать в деревню, пусть отдохнут уши.

Через несколько месяцев вернусь, даю обещание, что вернусь...



ВЕРБЛЮД АХМЕДА

Ахмед гнал в город пять верблюдов.

Солнце беспощадно палило, от жажды у Ахмеда потрескались губы.

Был уже знойный полдень, когда он наконец повстречал у дороги родник, радостно и звонко журчавший под сенью деревьев. Ахмед пригнал верблюдов к роднику, напоил их, напился сам и лег отдохнуть в прохладной тени.

Приятная истома овладела им, и он незаметно задремал.

Очнувшись он, когда уже спал полдневный зной; огляделся — видит: нет одного верблюда. Взобрался на камни, стал озиаться — верблюда нигде не видно, только поодаль между деревьями он разглядел деревню.

Ахмед собрал верблюдов и погнал их в деревню. У околицы он повстречал старушку.

— Матушка, — сказал Ахмед, — у меня пропал верблюд. Не встречался ли он тебе?

— Мне не до верблюда, — сердито ответила старуха. — Пропал мой забияка петух, ищу, не могу найти. Давай вместе искать петуха, а потом верблюда.

Ахмед покачал головой и пошел дальше.

В селе он отыскал старосту, оставил у него верблюдов, а сам отправился на поиски.

За селом на дороге он увидел человека, стоявшего у мешка с зерном. В мешке была дыра, зерно рассыпалось, человек просеивал землю и снова насыпал пшеницу в мешок.

— Послушай, братец, у меня пропал верблюд. Не попадался ли он тебе?

— У меня голова кругом идет, а ты о своем верблюде толкуешь, — рассердился тот, — дети у меня без куска хлеба остались. Потерял я иголку, должен найти ее, чтобы зашить мешок и отнести домой. Давай искать вместе, сперва иголку, а потом твоего верблюда.

— Эти люди не в своем уме, — пробормотал Ахмед и пошел дальше.

К кому он ни обращался, у всех получал один ответ: нам, мол, дела нет до твоего верблюда.

Потеряв надежду найти верблюда, огорченный Ахмед вернулся в село; он уселся под деревом, обхватил руками голову и погрузился в печальное раздумье; но вскоре усталость взяла свое, и он заснул.

Во сне ему приснилась мать. Она ласково гладила его по голове и говорила: «Не печалься, сынок, найдется твой верблюд; так уж устроен мир, надо помогать друг другу в беде. Не осуждай людей, у каждого своя забота: кто о петухе горюет, кто об иголке, а ты о своем верблюде».

Ахмед проснулся и побежал к старушке.

— Что, мать, не нашла своего петуха?

— Нет, сынок.

— Давай поищем вместе!

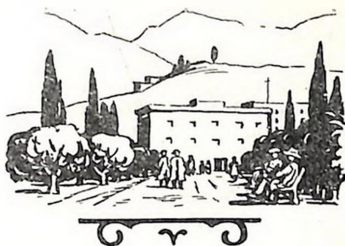
И стали они вдвоем искать, искали до самого вечера, обшарили все село. Около одного гумна старушка вдруг вскрикнула:

— Вот он, мой забияка петух, смотри, притаился у стены!

Ахмед подбежал к петуху, но петух испуганно взмахнул крыльями и помчался в поле; Ахмед — за ним. Петух мчится, Ахмед бежит за ним, не чуя ног, вдруг видит он своего верблюда... лежит на траве и спокойно жует.

Обрадовался Ахмед.

Весело зашагал он в село, держа в одной руке петуха, а другой ведя на поводу пропавшего верблюда.



ДЕРЕНИК ДЕМИРЧАН

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Вы говорите, что в нашей советской жизни юной закономерности? Я согласна с вами. Но иногда жизнь ломает так называемую закономерность.

— Но закономерность тем не менее остается...

Молодая женщина-врач не позволила мне договорить. Она сделала знак рукой, как бы упрасывая меня помолчать. Глаза ее устремились вдаль, словно там, вдали, она видела то, что ее интересовало.

Мне даже показалось, что она забыла обо мне.

Но вот, порывисто обернувшись ко мне, она оживленно заговорила:

— Посудите сами... Лет десять назад со мной произошел такой случай... Я только что окончила медицинский институт... Вызвал меня нарком и сказал, что я должна ехать в одно из сел Арташатского района. Признаюсь, я испугалась. Как? Сразу после института ехать на самостоятельную работу? Я выразила свои сомнения, однако нарком сказал мне:

«Ничего, ничего, поедете, приобретете опыт. Все начинали одинаково».

«Да ведь я, — говорю, — товарищ Григорян, дело могу испортить. Еще, пожалуй, скомпрометирую медицинскую науку перед народом».

«А вы постарайтесь не компрометировать науку, — ответил мне нарком. — Впрочем, мы отзовем, если дело не пойдет на лад».

Надо было ехать. Я тогда только что вступила в партию, и мне не подобало торговаться. Однако моя неопытность страшила меня. Ведь еще ни одного больного я самостоятельно не лечила!

Короче говоря, я поехала в Арташат, а оттуда в село.

Там имелась амбулатория, вернее медицинский пункт, к тому же еще не полностью оборудованный. Вы понимаете, что означает не полностью оборудованная амбулатория? Я решительно не представляла себе, что стану там делать одна.

На второй день после моего приезда вижу — привозят в амбулаторию больного.

Привезли его азербайджанцы из соседнего села. Оказывается, они везли больного в Арташат, но в пути ему стало так плохо, что его пришлось доставить в мою амбулаторию.

Я осмотрела больного. Родственники его не ошиблись — до Арташата он вряд ли доехал бы. Он был до крайности изможден, еле жив.

Об этом я сказала его родственникам, и они заспорили между собой. Мать больного настаивала, чтобы сына везли в город, а дядя убеждал оставить его здесь.

Меня охватила нерешительность, видимо свойственная молодым врачам. Честно скажу: я немного испугалась ответственности. И надо же было так случиться, чтоб эта история произошла в первые дни моей самостоятельной деятельности.

Что делать с больным? Пусть уезжает? Да, конечно, это избавило бы меня от ответственности. Но ведь остается ответственность перед совестью! Больной непременно умрет в дороге. Он нуждается в немедленной операции. Правда, моя амбулатория еще не оборудована — от операции я могу отказаться на законном основании.

Между тем родственники больного продолжали громко спорить. Надо было положить конец этим на-

прасным спорам. Для этого требовалось мое твердое слово. И тогда я решила: буду оперировать! Иначе он умрет или здесь, или в пути. Не дело пасовать перед опасностью. Надо действовать!

Я отвела в сторону дядю больного и на ломаном азербайджанском языке, с помощью медсестры объяснила положение. Я сказала, что этот вопрос следует решить немедленно. Или надо дать согласие на операцию — и тогда я сделаю попытку спасти больного, — или же везти его в город, что равняется смерти. Впрочем, и здесь нет гарантии сохранить его жизнь.

Старик дядя принялся уговаривать мать больного, но та ни за что не соглашалась оставить его здесь. Она стала рвать на себе волосы, словно это могло спасти жизнь ее сына. Бедная женщина, видимо, не испытывала ко мне доверия. Да и в самом деле — мне было немногим более двадцати лет.

Но была еще и другая причина, которая не позволяла матери согласиться на операцию. Смерть сына казалась ей неизбежной. Она хотела отдалить эту смерть и поэтому медлила с ответом. Да и понятно: мать! Не так-то легко ей было дать какой-либо ответ, который мог стать для него приговором.

Не скрою, это недоверие задело мое профессиональное самолюбие. Я вдруг ощутила в себе характер коммуниста, мне захотелось преодолеть препятствия, перебороть то, что казалось трудным или невозможным! Решительным тоном я потребовала прекратить спор и стала настаивать на операции.

Больного внесли в мой кабинет. Старик дядя с трудом оттащил мать от сына и увел ее из комнаты, но сам вскоре вернулся в сопровождении двух родственников. Я разрешила им присутствовать при операции. Больной умирал, и у меня не было времени вдаваться во все тонкости родственных отношений.

Надо было немедленно приступить к делу. Я приказала медсестре:

— Вартуш, милая, принеси инструменты.

Снова взглянула на больного. Он казался трупом, почти не дышал.

Смерть уже наложила печать на его заострившиеся черты.

Трудно было определить возраст больного. Впрочем, меня и не занимал этот вопрос. Я только спросила у родственников

— Чем он был болен?

Оказалось, он перенес брюшной тиф. После тифа произошла так называемая интоксикация — отравление организма ядовитыми веществами, что нередко бывает конечной стадией этой болезни.

Я внимательно осмотрела больного. От плеча до грудной клетки тело его загноилось и опухло. Это был сепсис, который сосредоточился в одном месте, вызвав флегмону.

Надо было сделать разрез от грудной клетки до плеча. Я приступила к операции без наркоза. Больной ничего не чувствовал и никак не реагировал. Он лишь чуть заметно приоткрывал глаза и вновь закрывал их — в этом и заключалась вся его реакция.

Не помню в точности мои ощущения, но, оперируя, кажется, я испытывала какое-то иступление, которое в те минуты предохраняло меня от неуверенности.

Сделала разрез, удалила гной, промыла риванолом. Вставила тампон и смазала вазелином края разреза, чтобы рана не затянулась.

Закончив все необходимое, я ушла из кабинета, оставив больного на диване.

Конечно, сразу никакого эффекта нельзя было ожидать.

Мать и дядя больного остались около него.

И вот наступила ночь. Мы молча сидим, уставившись на больного. Время от времени мать искоса поглядывает на меня, и я чувствую, что она хочет по моему лицу узнать — спасен ли ее сын или ему по-прежнему угрожает опасность? Но я и сама этого не знаю.

Поглядывает на меня и дядя больного. В его остром, пронзительном взгляде я чувствую сердитый упрек, а иной раз и надежду.

Я вполне понимаю их состояние и чувствую, что ответственность еще далеко не снята с меня, — это

только начало дела, быть может, даже самый острый этап борьбы.

Но я не чудотворец, больной может умереть. И в этом случае его родственники возненавидят меня, проклянут и станут обвинять в излишнем риске, в ошибках, в неопытности.

Всю ночь я провела около больного и храбро твердила себе: «Я спасу его во что бы то ни стало — это дело чести».

Под утро я снова осмотрела его. Новой операции не требовалось. Необходим был только тщательный уход. А это уже зависело от меня. Кажется, я и в самом деле его спасу!

В эту тягостную ночь меня, пожалуй, больше всего тревожил пронзительный взгляд дяди больного. В этом взгляде, видимо, неграмотного, но закаленного в житейской борьбе колхозника я прочитала немало. Я прочитала откровенное удивление: дескать, поручают такое ответственное дело какой-то девчонке. Но по временам я читала в этом взгляде иное: восхищение перед риском, уважение к науке и даже изумление, что женщина справляется с делом не хуже мужчины.

Порой меня тяготил его взгляд. Мне казалось, что передо мной сидит грозный судья, который готовит свой беспощадный приговор.

О, это была памятная ночь!

Спустя неделю смерть уже не угрожала больному. Я радовалась, кажется, даже больше, чем его родственники. Впрочем, и они радовались необыкновенно.

Однако до выздоровления было еще далеко — больной только лишь перестал быть трупом. Его худоба и изможденность поражали.

Жизнь медленно возвращалась к нему. Иногда он на мигнуту раскрывал глаза и, бессмысленно посмотрев на нас, снова устало закрывал их.

Но с каждым днем Джафару — так звали больного — становилось лучше. Он начал выздоравливать с необыкновенной быстротой.

Вскоре я перевела его на амбулаторный режим. Впрочем, поставила родственникам условие — приво-

зить его на перевязку каждые два-три дня и предупредила, что надо оберегать рану от загрязнения.

Джафара увезли домой. Я ожидала, что родные вскоре привезут его на перевязку, но этого не случилось ни в ближайшие дни, ни через неделю. Вероятно, он совсем выздоровел.

Я с головой ушла в свою работу, каждый день принимала амбулаторных больных. И теперь работала спокойно, уверенно, почти не испытывая робости и растерянности.

Однажды я сидела за письменным столом, просматривала газету. Кто-то вошел в мой кабинет, кашлянул. Я отложила в сторону газету и взглянула на вошедшего.

Передо мной стоял юноша лет двадцати двух и с какой-то мольбой смотрел на меня. Он хотел подойти ко мне ближе, но мешал письменный стол. Тогда он молча протянул руку.

Я позвала медсестру, чтобы та поговорила с ним, — это был, видимо, азербайджанец.

— Вартуш, выясни, кто он и что ему нужно.

Юноша виновато улыбался, стоял растерянный и бормотал что-то невнятное.

Вартуш спросила его:

— Кто вы? Чего вы хотите?

Он ответил по-азербайджански:

— Доктор... сестрица... это я... Разве вы не узнаете меня?.. Это я... больной.

Я с удивлением взглянула на юношу, который все не казался больным. Но тут Вартуш догадалась:

— Доктор, да ведь это наш Джафар!

Может ли это быть? Я была уверена, что Джафару не менее сорока лет, а тут передо мной стоял цветущий, здоровый юноша с загорелым, смуглым лицом и с яркими пылающими глазами.

Неужели этот чудесный парень — тот умирающий, тот труп, который мы вернули к жизни? Я несказанно обрадовалась, узнав, что это Джафар.

Растерянный и взволнованный, он схватил меня за руку и хотел поцеловать край моего халата. Но я не позволила ему это сделать.

— Ну, что скажешь, Джафар? Зачем к нам пожаловал?

Он торопливо ответил:

— Едем со мной... Едем, эким-баджи¹.

— Куда?

— К нам!

Он настойчиво тянул меня к выходу. Там, на улице, стояла повозка, украшенная коврами. Маленькие красивые коврики лежали и на спинах лошадей.

Джафар снова торопливо сказал:

— Поедем к нам! Мать зовет тебя!

— Нет, Джафар-джап, не могу. У меня тут дела.

— Мать очень просит тебя, эким-баджи.

Я поблагодарила Джафара, но ехать отказалась.

Джафар долго настанвал, но я не поехала.

Часа через два он снова приехал — теперь вместе с матерью. Та стала умолять меня посетить их дом. Вартуш и все собравшиеся советовали мне ехать. Я согласилась.

Вскоре мы приехали в село. Вошли во двор их дома. Там меня остановили на минуту, откуда-то приволокли барана и стали водить его вокруг меня. Затем этого барана зарезали.

Я была смущена и раздосадована этой церемонией и пробормотала:

— Ну зачем вы все это затеяли?..

Однако меня никто не слушал. Прошли в комнаты. Там уже были в сборе все родственники и соседи.

Уселась за стол. Дядя Джафара подошел ко мне, с особым почтением пожал мне руку, затем, по азербайджанскому обычаю, приложил свою руку ко лбу и сердцу. Потом сел рядом со мной.

Гости стали расхваливать меня и благодарить за спасение Джафара. Все пили за мое здоровье.

Мать Джафара сказала мне:

— Я родила Джафара, но своей жизнью он обязан тебе, эким-баджи. Отныне жизнь моего сына в твоих руках...

¹ Эким — доктор, баджи — сестрица (азербайдж.).

Она прижала меня к своей груди и крепко поцеловала.

Признаюсь вам, я была очень растрогана и впервые почувствовала и оценила то, что было сделано мною. В самом деле, ведь я спасла жизнь человеку! Но тут же подумала: «Да имею ли я право на эти почести? Ведь я сделала только то, что обязана была сделать».

Я ответила матери Джафара:

— Сестра моя, я ничего особенного не совершила. Я только исполнила свой долг, долг врача, и не заслужила этих почестей и этих восхвалений.

Тогда поднялся из-за стола дядя Джафара.

— Твое хорошее как раз в том и заключается, что ты так рассуждаешь. Будь же счастлива, дочь моя!

Долго продолжалось это пиршество. Все веселились, пели песни, играли. И поздно вечером меня отвезли домой.

• • •

Собеседница закончила рассказ. Мы оба молчали. Мне не хотелось прерывать этого молчания. Мысли мои невольно возвращались к маленьким главам этой краткой истории: тяжкая болезнь, почти смерть, разрушенное тело — и снова, как чудо, прекрасная жизнь, возникшая из праха!

Моя рассказчица смотрела куда-то вдаль. Улыбка скользнула по ее лицу. Затем, обернувшись ко мне, молодая женщина сказала:

— Разве в этой истории вы видите ту закономерность, о которой говорите?

Я ответил моей собеседнице:

— Да, тут все последовательно, закономерно и все в духе наших советских традиций: уважение к науке, любовное отношение к человеку, настоящее понимание чувства долга, мужественная борьба с препятствиями. Все эти действия и поступки вытекают из свойств и понятий, ставших законом советской жизни... Не так ли?

Молодая женщина задумчиво проговорила:

— Право, не знаю... может быть, и так...

— Как можно не знать? Вы же сами...

Моя собеседница, снова прервав меня, сказала:

— В таком случае я расскажу вам еще одну историю. И вы сами увидите, что закономерность все же иногда отсутствует...

...Эта история случилась спустя два года после рассказанной мною. Шла Отечественная война. Я работала в военном госпитале. И вот как-то раз я провела за работой часов двадцать, устала, еле держалась на ногах. Едва дотащилась до дому и прямо в одежде бросилась на кровать. Только заснула, как меня разбудили: прибывает эшелон, надо принять раненых.

Я пошла в госпиталь.

Раненых перенесли во двор госпиталя, чтобы затем разместить по палатам.

Я подошла к одному раненому, лицо которого было наполовину прикрыто. Именно поэтому я к нему и подошла. Это был русский, привлекательный, рослый человек с нахмуренными бровями. На вид ему было не более двадцати семи лет.

— Как вы себя чувствуете? — спросила я.

Он трубо и зло ответил мне:

— Отлично!

В его ответе была ненужная ирония, а может быть, обида и укор. Я поняла его состояние и промолчала.

Рядом со мной находились госпитальные сестры. Услышав ответ раненого, они шутливо сказали ему, что он напрасно так неприветливо отвечает лучшему врачу госпиталя.

Раненый снова иронически проговорил:

— Ах, извините! Какое несчастье, что я так ответил!

— Ничего, ничего, все будет хорошо, не огорчайтесь! — бодрым и веселым голосом сказала я раненому и ушла.

Когда раненых разместили по палатам, он оказался в моем отделении.

Я всегда старалась получше познакомиться с больными, беседовала с ними, выслушивала их рассказы. Это, так сказать, входило в лечебную задачу. Раненые

нередко бывают в подавленном состоянии. И тут надо немало умения, чтобы отвлечь их, вывести из этого состояния.

Раненый лежал неподвижно, молча, с закрытыми глазами. Только изредка на одно мгновение он оживлялся, вернее, исподлобья бросал взгляды на окружающих.

Наконец я заговорила с ним. Подойдя к его койке и стараясь быть веселой, я сказала:

— Вот видите, мы опять встретились. Значит, судьба.

Я ожидала, что он опять ответит мне грубо или проницательно, однако он неожиданно кротко проговорил:

— Вы простите меня, доктор, за мой пошлый тон.

Он был тяжело ранен. Одна его нога была уже ампутирована до колена.

Обычно я делала ему перевязки и старалась занять его разговором. Я говорила ему, что его рана скоро заживет, удачный протез довершит лечение и тогда он сможет выписаться из госпиталя.

Я старалась его успокоить, но однажды он мрачно сказал мне, что его жизнь кончена, ему не стоит жить.

На это я с горячностью возразила:

— Что за малодушие! Как вам не совестно допускать такие мысли!

Он твердо проговорил, почти отрезал:

— Я казак. Мне не полагается быть одноногим.

Я поразились, услышав это.

— Товарищ Шемякин, на войне все может случиться. Казак — боец, он не застрахован от ранения.

Шемякин мрачно заметил:

— Казак должен сам калечить врагов, а не быть калекой.

— А если это случилось?

— Тогда лучше смерть.

Я слегка провела рукой по его лбу, и он немного успокоился.

— У вас издергались нервы, это понятно. Вот отдохнете, поправитесь, и тогда ваши мысли переменятся.

Он упрямо твердил:

— Нет, нет, я не стану жить. Вернуться домой инвалидом? Нет, это не жизнь!

— Но вы коммунист! — сказала я ему. — Вы должны победить любое несчастье, любую беду.

— Да, я коммунист, — ответил он, — но я не желаю быть инвалидом.

Я старалась его успокоить, подбодрить, но все было напрасно. Бывало он закрывается с головой одеялом и неподвижно лежит часами; не поймешь, спит он или бодрствует. Никаких жалоб, никаких требований от него не поступало.

Как-то раз ночью прибегает сестра, будит меня. Говорит:

— Скорей доктор!.. Рана Шемякина кровоточит.

Я тотчас осмотрела рану. Оказалось, началось прогрессирующее воспаление вен. Видимо, придется резать выше колена.

Вызвала главврача. Тот осмотрел, задумался. Обернулся ко мне, как бы ожидая моего совета. Я спросила его:

— Как поступить, Сафар Алиевич?

— Режьте. Иного выхода нет.

С тяжелым сердцем я приступила к опасной операции. Воспаление было сильное, и полной надежды на благополучный исход у меня не было. Тем не менее все прошло хорошо, и я с душевным трепетом удостоверилась в этом.

Однако общее состояние больного значительно ухудшилось. Причины были понятны. Человек, стыдящийся своей инвалидности, теперь еще в большей степени стал инвалидом. Он переносил это трудней, чем физическую боль.

Конечно, я входила в его положение. Но я знала, что он по профессии учитель и, стало быть, образованный человек, и потому была удивлена, что он так беспощаден к себе. Почему казаку не полагается быть инвалидом? Почему он не может примириться со своим физическим недостатком?

Я рвалась поспорить с ним, надеялась доказать ему его неправоту, но приходилось избегать споров:

он потерял много крови, и его нельзя было тревожить такими разговорами.

Его душевное состояние было таким болезненным, что я страшилась этого состояния больше, чем даже воспаления вен.

Я часто заходила к больному, подолгу разговаривала с ним и старалась прогнать его мрачные мысли; рисовала ему новую жизнь в школе, увлекательную жизнь, которая связана с воспитанием молодежи. Я говорила, что, вернувшись домой, он с головой уйдет в работу и увидит, как он полезен обществу и как высоко ценят его труд. Вот тогда у него на душе будет веселей и «рана» забудется.

Но такие речи я в одинаковой мере могла бы произносить и перед камнем. Никакого просвета, никакого проблеска в его душевном состоянии я не замечала. Он упрямо твердил, что ему незачем жить.

Как-то ночью снова прибежала ко мне медсестра. — Скорей, доктор!.. Сильное кровотечение...

Бегу к больному, смотрю: вся постель в крови, и на полу кровь. Больной без сознания, бледный, холодный, почти мертвец.

Откинула одеяло — бинты разболтаны, изорваны. Ужасное зрелище. Похоже на то, что больной истек кровью.

Легонько провела рукой по его лицу — он был жив. Тотчас осмотрела рану: воспаление возобновилось, пошло дальше. Несомненно, больной почувствовал ухудшение и, видимо, в отчаянии изорвал повязки.

— Что делать?

Наспех сделала перевязку и срочно вызвала главного врача. Он пришел и, даже не подойдя к больному, махнул рукой: понял, что случилось. Торопливо спросил:

— Кто дежурил?

Оказалось, что дежурила сестра Ашхен. Главврач сказал ей:

— Плохо дежурите, если позволяете раненому развязывать бинты.

Сестра стала оправдываться:

— Он был очень беспокоен, потом попросил пить... Я пошла за водой... А когда вернулась, увидела кровь.

Главврач снял наложенную мною повязку, всмотрелся в рану, нахмурился. Обратился ко мне:

— Ну?

— Что прикажете, Сафар Алиевич?

— Нет уж, приказывайте вы, а я бессилен в подобных случаях.

— Как же поступить, Сафар Алиевич?

— Не знаю, дорогая.

— А нельзя ли...

— Что? Отрезать выше?

— Да...

— Для чего? Для «практики»? Не время...

Умоляющим тоном я стала его упрасивать, что было отчасти нелепо, так как это был чуткий, самоотверженный человек, который не отказался бы от операции, если б имелись хоть какие-нибудь шансы на спасение.

Я сказала, желая его переубедить:

— Надо оперировать! Так оставить нельзя!

Он пробормотал в ответ:

— Да, нельзя... но и резать нельзя... вернее, бесполезно... Воспаление пойдет дальше. Это ясно...

Я снова принялась его умолять:

— Сафар Алиевич, оперируйте его. Быть может, мы спасем больного.

Сафар Алиевич вспылil:

— Вы понимаете, о чем идет речь? Вы хотите, чтобы я залез в брюшину? Операция не спасет дела. А продолжать мучить больного — жестоко!

Он велел прикрыть раненого и, уходя сказал:

— Наблюдайте за раной... Больше ничего...

«Больше ничего!» Я осталась в палате угнетенная, взволнованная. Признаюсь вам, у меня слезы текли из глаз. Но тут я увидела, что больной пошевелился. Он был в сознании. Быть может, он даже слышал мой разговор с главврачом? Такая неосторожность крайне смутила меня. Я выбежала из палаты и, найдя главврача, снова атаковала его:

— Оперируйте его! Прошу вас.

Пожав плечами, Сафар Алиевич ответил:

— Не могу. Но если вы так настаиваете, то я разрешаю: идите и оперируйте. Быть может, как говорится, аллах вам поможет...

Поблагодарила. Прибежала в палату, тороплю сестру:

— Скорей, Ашхен! Нельзя медлить. Начнем...

Шемякин не противился операции. Он пристально смотрел на меня, не знаю — враждебно или доброжелательно. Неожиданно на его глазах я увидела слезы. Почему слезы? Меня это удивило. Впрочем, я не старалась разбираться в его переживаниях, не до этого было.

Операция прошла хорошо. Опасность миновала, но борьба за жизнь была еще длительной. С часу на час я ожидала, что воспаление поднимется выше, как предсказывал главврач, но этой беды не случилось. Дважды я брала кровь у Ашхен и переливала раненому.

Шли дни. Теперь я видела, что мой больной спасен, и ликовала. С улыбкой счастья я входила в его палату, но Шемякин почему-то всякий раз закрывал свое лицо одеялом. И я не могла понять, почему. Не хотел меня видеть? Или сердился на меня? Но за что? Трудно было разобраться в его душевном состоянии.

Подойдя к его койке, я приветливо спрашивала о самочувствии. Он на минуту открывал лицо и тихо говорил:

— Мне очень хорошо...

И снова закрывался одеялом. Стараясь не беспокоить больного, я уходила.

С каждым днем здоровье Шемякина улучшалось. Вскоре он мог уже взяться за костыли. Но он не торопился, а я не настаивала. Я больше радовалась его душевному состоянию, которое резко изменилось к лучшему. В самом деле, с ним произошла огромная перемена: лицо его просветлело, и никаких мрачных слов я уже больше не слышала от него.

Как-то раз я сидела в кабинете с нашими врачами. Вдруг, смотрю, входит Шемякин. Уверенно перестав-

ляет костыли. Подошел ко мне. Я удивилась, обрадовалась, говорю ему:

— Ну вот и отлично. Уже ходите? Поздравляю.

Он негромко сказал:

— Спасибо вам.

— Зачем пришли, Шемякин?

— Хотелось первый визит нанести вам.

— Врачам?

— Нет, лично вам.

— Спасибо, но...

— Вы так много для меня сделали...

Наш разговор не клеился. Шемякин был явно растерян, смущен. И его состояние передалось мне. Я пошла проводить его до палаты. У дверей палаты он неожиданно сказал мне:

— Доктор, я... я не могу жить без вас.

Это неожиданное объяснение страшно смутило меня. Однако я постаралась перевести его слова в шутку.

— Да, да, дорогой мой, вы еще не скоро сможете обходиться без меня. Ведь я обязана вылечить вас до конца.

— Почему обязаны?

— Я врач. Это мой долг.

— Ах, только поэтому...

Я поняла, что мои слова его огорчили. Вероятно, он хотел услышать не только о долге врача. Но неужели он мог подумать, что я боролась за его жизнь по иным, личным мотивам? Эта мысль была для меня неожиданной.

Может быть, я проявила излишнюю горячность, которую он принял за мою заинтересованность в нем? Нет, решительно ко всем больным я относилась одинаково, так же упорно и горячо отстаивала их жизнь.

Увидев, что я задумалась, Шемякин негромко сказал мне:

— Я хотел бы вас чаще видеть.

— Я и так каждый день захожу в палату... Однако дайте мне слово, что теперь вы будете заботиться о своем здоровье.

Он прошептал:

— Даю слово...

— Ну, а теперь идите в палату, полежите спокоейно. А то ваша первая прогулка слишком затянулась.

Он покорно пробормотал:

— Хорошо... пойду лягу.

Он ушел. И тут я крепко задумалась. Так вот почему он бросил свои мрачные мысли! Вот почему он так изменился! Стало быть, я тому причиной, его чувство ко мне. Однако что же мне делать? Как поступить?

В самом деле, положение у меня было затруднительное. Я ставила себе задачу спасти его жизнь. Это удалось сделать. Но «спасение» относилось лишь к физическому состоянию. Теперь речь шла о духовной жизни больного. Сказать ему, что я не разделяю его чувство? Но, вероятно, это снова повергнет его в тот мрак, из которого он с таким трудом вышел. Да и вышел ли?

Ответить взаимностью? Но я не имею права на это: я замужем, люблю мужа, он сейчас на фронте.

Я поняла, что кончилась хирургия и началась психология, философия и так далее. Во всяком случае положение у меня было самое незавидное.

Подумавши обо всем, я выбрала путь, который меня ни к чему не обязывал, но вместе с тем не омрачал и больного. Я продолжала, как и прежде, подолгу беседовать с Шемякиным, стараясь быть веселой, приветливой, жизнерадостной и ничем не выказывала своей озабоченности. Однако я всякий раз переводила в шутку его слова, когда он начинал серьезно говорить мне о своем чувстве. Конечно, так не могло долго продолжаться. И действительно, однажды я получила серьезное и обстоятельное письмо. В этом письме Шемякин говорил мне о своей любви и подробно объяснил, как возникло это чувство и как много оно означает для него. Оказалось, что тогда, перед операцией, он слышал мой разговор с главным врачом. Он слышал мою мольбу, видел, как горячо я отстаивала его жизнь и как боролась за нее. Пусть эта борьба — долг врача, но в этом долге он увидел ту истинную сердечность, которая заставила его задуматься, заста-

вила пересмотреть все, что казалось безнадежным, мрачным, ненужным. В этот час у него произошел душевный перелом. Он вдруг отчетливо понял, что надо и в самом деле бороться за жизнь, а не трусливо убегать от ее жестоких испытаний. И тогда он снова почувствовал, что ему следует жить, и вместе с тем ощутил, что я для него дорогой и близкий человек.

Это письмо он заканчивал торжественно:

«...Отныне я буду жить и, подобно вам, бороться. Отныне стоит жить, раз вы есть на свете...»

Письмо и порадовало и огорчило меня. Я увидела, что мой больной на пути к душевному выздоровлению, однако в мою лечебную задачу никак не входило стремление вызвать чувство к себе.

Я не ответила на письмо, так как не знала, как ответить, чтобы не огорчить и не обидеть Шемякина. Мне казалось, что нельзя омрачать его душевное состояние, но вместе с тем я не хотела обнадеживать напрасными обещаниями.

На другой день Шемякин остановил меня в коридоре и, по-детски надув губы, спросил:

— Доктор, почему вы мне не ответили?

— Я хотела поговорить с вами.

— Что же вы скажете в ответ на мое письмо?

Я отчетливо сказала:

— Я очень рада, что опасность, которая угрожала вашей жизни, прошла. Рада, что вы ободрились и снова начинаете нормально думать и мечтать о здоровой, радостной жизни.

— Вы не против того, чтобы я писал вам письма?

— Нет, не против. Пишите. Я уважаю каждое чистое и хорошее чувство. Пишите, если это помогает вам поправиться, помогает войти в норму.

Мой ответ ясно и со всей откровенностью раскрывал мои намерения. Шемякин задумчиво сказал:

— Да, да, для меня это огромная помощь — писать вам. Это мое лекарство...

Последнюю фразу он добавил улыбаясь.

Теперь почти каждый день я получала от него письма. И с горечью видела, что с каждым письмом

его чувство ко мне возрастает. Однако у меня осталась надежда, что мой больной вскоре поправится и выпишется из госпиталя — и тогда прекратится эта любовная история. Я рассчитывала как-нибудь «дотянуть» до этого дня, ничем не обижая его. Но моя надежда не оправдалась.

По его письмам я видела, что он человек умный, даже глубокий, но очень несдержанный, необузданный.

Вскоре я убедилась, что мое поведение ему не очень-то нравится. В его сердце горел теперь такой огонь, который не оставлял его молчаливым, покорным или безропотным. Надо было что-то предпринять для того, чтобы внести еще большую ясность в наши отношения.

Однажды, когда мы сидели в саду, я со всей прямотой спросила его:

— Вы добиваетесь моей взаимности?

Немного растерявшись, он ответил:

— Нет... не знаю... Я просто люблю вас. Вы для меня — все! Вся жизнь в вас!

Мне показалось, что на вопрос о взаимности он ответил не совсем искренне. Его глаза и горячность тона говорили иное. И тут я подумала, что если он способен так пылко говорить о своем чувстве ко мне, значит он совсем поправился и больше не нуждается в моих «лечебных процедурах». Стало быть, можно отобрать у него «духовные костыли», которые помогли ему выбраться на дорогу жизни.

Со всей серьезностью я сказала:

— Если вы затеяли что-нибудь серьезное, то это ни к чему. У меня есть муж, которого я люблю и с которым никогда не расстанусь.

Смутившись, он воскликнул:

— О, вы не поняли меня, доктор!

— Что я не поняла?

Он тихо произнес:

— У меня тоже семья — жена, дети... У меня мать, которую я почитаю и ничем не хочу огорчить... От вас я ничего не требую. Я только прошу позволения вас любить.

— Но ваша семья, жена... Это внесет двойствен-

ность в ваши отношения. Я не хочу вносить разлад в вашу семью.

— У меня к вам особое чувство, — сказал он. — Оно не мешает моему отношению к семье.

Немного помолчав, он снова с жаром воскликнул:

— Только с любовью к вам возможна моя жизнь! Только любя вас, можно жить на свете!

Я прямо сказала ему:

— Вы слишком далеко заходите в своих чувствах, если говорите, что только ради меня стоит жить. А родина? А народ? А партия? И это говорите вы, коммунист? Нет, не ради меня вам следует жить, а ради всей нашей родины! Очнитесь, товарищ коммунист!

Он схватил мою руку и крепко сжал ее. Потом, опустив голову, молча и торопливо удалился на своих костылях.

В течение нескольких дней он был очень печален, если говорить, угрюм. Видимо, прежние тягостные мысли вернулись к нему. Меня встревожило его состояние, и я сама подошла к нему, чтобы хоть несколько рассеять его мрачное настроение.

Но он, как одержимый, снова заговорил со мной о своем чувстве. Однако на этот раз в его словах я услышала нечто иное, чем обычно. Грустно посматривая на меня, он сказал:

— Пусть вас не тревожит мое чувство к вам. Любовь пришла ко мне, когда я на нее не имею ни нравственного, ни физического права. Я отлично сознаю это и не требую никакой взаимности. Но, быть может, поэтому я более, чем когда-либо, чувствую себя инвалидом. Мне кажется, вы напрасно спасли меня.

В его словах было преувеличение. Своему несчастью он придавал значение гораздо большее, чем следует, и поэтому в мрачном свете видел себя и все окружающее. Да, конечно, несчастье его велико, но оно не должно зачеркивать его жизнь.

Впрочем, сразу я не нашлась, что ответить ему, и, опечаленная, оставила его.

У нас в госпитале была одна пожилая, весьма

умная женщина — врач Шахназарян. Я рассказала ей обо всем, чтобы посоветоваться с ней. Сначала она упрекнула меня:

— Зачем ты так переживаешь эту историю? Только портишь себе нервы!

Но потом, когда она прочитала письма Шемякина и дослушала его историю до конца, она и сама взволновалась, и даже слезы показались на ее глазах.

— Бедный молодой человек! Ты не должна запустывать его в чувствах. Пусть он уважает и почитает тебя, пусть боготворит как человека, но одновременно любить и тебя и жену — это вздор! Ты поговори с ним решительно и серьезно.

— Я уже говорила с ним.

— Поговори еще более серьезно. Тут не должно быть недомолвок. Нужен строгий разговор, который прекратил бы путаницу в его сердце. Мне кажется, что он теперь совсем здоров и способен выслушать тебя до конца.

Я долго не решалась на этот разговор с Шемякиным. Мне не хотелось говорить ему прописные истины, не хотелось диктовать ему правила его поведения. Было бы что-то неприятное и даже, быть может, ханжеское в таких речах. Но одна мысль не оставляла меня в покое. В прошлый раз, когда он заговорил о своей инвалидности, о своей тяжелой, непоправимой беде, я увидела в этом некоторое преувеличение...

И вот, как-то заговорив с Шемякиным, я со всей осторожностью сказала ему, начав издали:

— Как много у нас в госпитале славных людей, наделенных железной волей! Как мужественно они переносят свое несчастье!

— Да, да, — тихо произнес Шемякин, — у нас много чудесных людей.

— В особенности меня поразил лейтенант Хоряк... — продолжала я.

Улыбка осветила лицо Шемякина. Он с восхищением воскликнул:

— Да, это молодчина!..

— Он потерял правую руку. И что же? Разве он отчаивается и грустит?! Недавно он мне сказал:

«Теперь у меня главная задача — научиться орудовать левой рукой, как правой. И, кажется, черт возьми, я добьюсь этого!»

Шемякин, усмехнувшись, сказал:

— Он не раз говорил со мной. Стыдил меня за мои мрачные мысли. Но он — иное дело. У него счастливый, спокойный характер.

— Дело не в характере, — возразила я. — Он нашел такую точку зрения, которая позволяет ему не так сильно испытывать свое несчастье. Он думает не только о себе, а и о людях, о жизни, о своем дальнейшем участии в труде...

Шемякин вскинул на меня глаза, спросил торопливо:

— Что вы хотите этим сказать?

Я ответила искренне и прямо, как думала:

— Я хочу этим сказать, что вы не совсем правильно относитесь к своей беде. Вы видите ее только со своих личных позиций...

Тут я немного замялась, потому что не так-то легко было говорить об этом. Желая смягчить мои слова, я сказала ему:

— Вы должны простить меня за откровенность... Быть может, на вашем месте я была бы не в меньшем отчаянии, однако не ставила бы в центр внимания только свои личные интересы. Мне было бы тогда легче, мое отчаяние, вероятно, смягчилось бы или вовсе прошло.

Шемякин внимательно, не отрываясь, молча смотрел на меня. Он о чем-то упорно думал. Я продолжала негромко говорить:

— В прошлый раз меня крайне удивили ваши слова. Сказать женщине, что только ради нее вы собираетесь жить на свете и что только в ней заключен смысл вашей жизни, — это абсурд. В особенности это абсурдно сейчас, когда происходит вокруг такая страшная борьба. Взгляните: весь наш народ в тигантской схватке освобождает мир от чумы, защищает родину. И вот во всем этом огне увидеть только свою беду или только свое чувство к женщине — это и в самом деле абсурд, а не точка зрения коммуниста.

Я говорила со всей возможной мягкостью, стараясь не рассердить и не обидеть его каким-нибудь неосторожным словом, но вместе с тем настойчиво, не оставляя недомолвок.

Шемякин попрежнему молчал. И только под конец чуть слышно пробормотал:

— Да, да, вероятно, вы правы... Надо подумать обо всем...

Взяв костыли, он ушел.

На другой день он явился в мой кабинет. Молча достал из кармана письмо, положил его на мой стол и торопливо ушел.

Я тотчас прочитала его письмо. Он писал, что обязан мне многим, что я вернула ему не только жизнь, но нечто большее, чем жизнь, — его партийность. Он признавался, что смотрел на свое несчастье узко, эгоистично, и в этом был виноват перед партией. Он не оправдывал себя, но объяснял свое состояние болезнью и физической слабостью, которые подавили его нравственные силы.

Далее он писал о своем отношении ко мне. Он писал, что он и в самом деле полюбил меня, но это чувство его вызвано не моей внешностью или молодостью, а моей внутренней силой, моим умением бороться и отстаивать чужую жизнь, как свою. Эта борьба его поразила, в ней он увидел всю удивительную красоту человека. Именно в этом были истоки его чувства ко мне, и поэтому он теперь с уверенностью может сказать, что его любовь — это любовь к человеку.

Он просил меня не осуждать его потребность в такой любви. Он с радостью вернется домой, к жене, к детям, но думать обо мне он будет попрежнему и, если я позволю ему, будет мне писать. В конце своего письма Шемякин снова подчеркивал, что его чувство ко мне — это любовь к человеку.

Мне было совестно и неловко от его бесконечных похвал. Его восторженность была явно преувеличена. Однако я считала, что ему полезно такое состояние: оно еще более укрепляет его связь с жизнью, ту связь, которая едва не оборвалась, когда нравственные

силы человека оказались под ударом огромного несчастья.

Через несколько дней Шемякин выписался из госпиталя и уехал домой. На прощанье я обняла его и поцеловала. У нас обоих на глазах были слезы, когда мы расставались.

Я сказала ему:

— Поезжайте к семье, начните работать в вашей школе, и вы сами увидите, что стоит жить на свете!

Он негромко проговорил:

— У меня уже нет сомнений насчет этого.

Потом с воодушевлением добавил:

— О, теперь я буду работать лучше, чем я работал раньше! Даю вам слово.

Шемякин уехал. Вскоре я получила от него письмо. Он писал, что он уже дома и счастлив. С огромной радостью работает в школе и искренне жалеет, что у него не сорок жизней, а лишь одна. Потом шли комплименты по моему адресу.

Спустя, кажется, месяц я получила письмо от жены Шемякина. Она благодарила меня за то, что я так бережно отнеслась к ее мужу и вернула его к жизни. Приглашала приехать погостить у них.

Потом как-то раз я получила письмецо от восьмилетнего сынишки Шемякина. Своими каракулями он тоже нацарапал приглашение приехать в гости.

* * *

Рассказчица закончила свою историю и, думая о чем-то, опустила голову. Некоторое время мы сидели молча, и я не решался прервать ее раздумье.

Уже наступал вечер. Стало быстро темно. Моя собеседница, как бы очнувшись от воспоминаний, сказала мне:

— Так о чем мы с вами говорили? Ах, да, о закономерности нашей жизни...

Улыбаясь, она вдруг спросила:

— И в этой не совсем обычной истории вы видите закономерность?

— Да, конечно, — ответил я. — В этой истории я

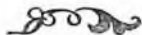
вижу строгую закономерность нашей, советской жизни. Вы мужественно боролись за чужую жизнь, вы стремились вернуть человека к труду, к счастью. И вы вернули его. В этом был не только обычный долг врача, но и долг человека, долг коммуниста.

— Не знаю... право, не знаю... — пробормотала моя собеседница.

Она встала со скамьи и, прощаясь, сказала:

— Уже закрывают сад. Мне пора. До свидания!

И мы расстались.



ДОМ

Деды и прадеды Артина родились и умерли в поселке Гяур-Даг. Но турецкие власти не посчитались с этим и выселили родителей Артина из Гяур-Дага в жилижкийское село Килис.

Дом, из которого выкинули родителей Артина, был настолько похож на кусок скалы, к которой он прилепился, что казалось — сросся с нею. Тем не менее турецкие власти разрушили этот дом и обломки его сбросили в пропасть.

Так родителей Артина насильно оторвали от родного очага, у которого с незапамятных времен протекала жизнь их предков.

Отец Артина заготавливал дрова и с гор по реке сплавлял в низины.

Это было довольно рискованное дело, требующее немалой изворотливости. Не раз приходилось красть дрова под ружейными выстрелами или давать взятки, чтобы удовлетворить беспредельное ненасытное лихоимство сторожей и чиновников.

Но подобное занятие не считалось предосудительным по понятиям того времени, напротив, оно расценивалось как героическое дело.

Эта игра с многочисленными опасностями увлекала отца Артина значительно больше, чем мелкие корыст

ные расчеты. Ему доставляло несказанное удовольствие одурачивать должностных лиц.

Да, это был неукротимого духа человек. Однажды среди гор он увидел глухой, засоренный родник и решил, что именно здесь, у этого родника, удобнее всего селиться людям. Он многих убедил в этом и основал здесь новый поселок.

Но люди не успели перебраться сюда. Некий курдский ага позарился на эту землю. Он вероломно завладел ею, убив при этом отца Артина.

Юноша Артин осиротел. И хотя он остался с пустыми руками, смелые мысли не покидали его. Эти мысли толкали его на недобрый путь. Но тут на помощь пришла мать. Она уговорила сына заняться каким-нибудь ремеслом. С тех пор Артин стал сапожником.

Вскоре Артина призвали в армию, и жизнь юноши пошла совсем по иным путям.

Артина «забрили» в 1914 году. А незадолго до этого его успели обвенчать с одной девушкой, для того чтобы, как говорили, домашний очаг не погас, а разгорелся еще ярче.

В армии Артина мучили бесконечной шагистикой и муштрой. Никто не знал, о чем он там думал. Да он и сам вряд ли смог бы дать полный отчет о своих мыслях. Но одна четкая и ясная мысль никогда не оставляла его — он постоянно думал о тех, кто убил его отца.

Об этом, казалось, невозможно было забыть!

Артин решил было бежать в Зейтун и там сражаться против турок, чтобы отомстить убийцам отца. О своем намерении Артин сообщил дяде, который проживал в селе Килис. Однако дядя удержал его от такого шага, уговорив остаться в армии. Артин смирился и временно остался.

Но вот что случилось с ним, когда его воинскую часть перебросили в Галлиполи.

Однажды он пошел в гости к одному молодому пекарю, который приходился ему родственником. Они уже сели обедать, как вдруг пекарь вспомнил, что для Артина есть письмо из Килиса. Сам пекарь был неграмот-

ный, поэтому не знал, что в этом письме содержалось нечто спешное и важное. Артин же умел читать и писать, так как получил двухклассное образование в своем родном селе.

Артин спокойно взял письмо в руки... Киликия... Это же так далеко от фронта!.. И, стало быть, ничего особенного дома случиться не могло.

Пекарь тоже спокойно поглядывал на листок бумаги. Но вдруг он заметил на лице Артина волнение.

— Что случилось? — спросил пекарь.

— Эх, и не спрашивай! — сокрушенно махнул рукой Артин. — Всю мою семью разорили и всех выселили в пустыню.

— Не может быть! — воскликнул пекарь.

— Но это так. Теперь всему конец... Будь они трижды прокляты!

Глубоко потрясенный страшным известием, пекарь заплакал. Он схватил тарелку с похлебкой и вышвырнул ее в окно, сказав:

— Злодеи, отравили нам кусок хлеба.

Артин вел себя более сдержанно. Он молчал и больше разговор не поддерживал. Но перед тем как уйти, кратко и решительно сказал пекарю:

— С этого дня я больше не служу этим дьявольским туркам. К черту!

И Артин отправился в далекий путь.

Легко сказать, какой предстоял ему путь! Из Галлиполи в Киликию — через арабские пустыни...

И вот — бездорожье, голые, скалистые горы, непроходимые ущелья. Кругом пропасти, рвы, камень, пыль и песок. Над головой — палящее солнце или непроглядно темные ночи. На каждом шагу — враги.

Голод тянул поближе к селам, но там было опаснее, и это заставляло Артина держаться подальше от людей.

Большей частью Артин кормился дикими травами и корнями растений, но иногда, рискуя жизнью, угонял какую-нибудь овцу или козу.

Обувь его истрепалась, одежда истлела и висела лохмотьями...

В пути Артин не раз наталкивался на виселицы и

трупы казненных. А из тайников и пещер, где приходилось ему скрываться до наступления ночи, он нередко видел, как турецкие полицейские гнали арестованных, чтобы где-то там «осудить» их.

Чем ближе Артин подходил к своему дому, тем пустыней становились окрестности. Все чаще видел он опустошенные армянские районы. Все отчетливей рисовалась перед ним картина беспросветного и жуткого бедствия.

Артин шел по горам и долинам и всякий раз, подходя к сожженным армянским селам, горько задумывался. Он, недавний защитник османской «родины», старался понять, почему турецкие власти так жестоко расправились с его семьей и почему вдруг все без исключения армяне оказались виноватыми перед «родиной».

Тут, видимо, скрыта какая-то глубокая старая причина. В самом деле: родителей Артина выслали из Гяур-Дага, а против отца курдский ага устроил заговор и убил его.

Нет, в этой стране не существует справедливости и закона. Именно вне закона объявлен армянский народ. Об этом не раз говорили деды, и теперь внуки пришли к такому же выводу.

Но вот однажды поздно ночью Артин наконец вошел в село Килис.

Все дома армянского квартала были сожжены или разрушены. Уродливо и зловеще выступали почерневшие стены.

Артин тихо пробрался к палисаднику своего дома. Нет, и тут все было сметено и превращено в пепел. Даже деревья стояли черные, обугленные.

Тяжелая тишина нависла над этими руинами.

Все, все умерщвлено! Правда, сожженный дом был построен недавно, но кочующая семья привыкла заново строить свой домашний очаг. И вот теперь родного очага больше нет. Остались только воспоминания, остались в памяти дорогие черты близких и простая хроника их жизни.

Казалось, здесь, среди руин, тихо перешептываются предки, разматывая клубок минувшей жизни.

Но плач детей — этот верный голос будущей жизни — здесь замолк навсегда. Стало быть, конец всему. Конец.

Артин забыл об опасности, забыл о том, что он устал, забыл обо всем. Он стоял перед руинами своего дома окаменевший, растерянный, с трудом понимая случившееся.

Казалось бы — что такое дом? Простое каменное строение. Но для Артина это было нечто большее, чем здание. Это было продолжение жизни, это была часть самой природы — вечной и прочной. И вот этот несокрушимый мир был уничтожен, стерт с лица земли. А родные были выброшены и, быть может, вместе с песком развеяны в пустыне.

Да, конец!

Однако чувство самосохранения заставило Артина взять себя в руки и поискать убежища. Ведь надо же решить, как поступать дальше. Дом разрушен, но надо найти тех, кто оживил бы его своим дыханием, — найти семью.

Артин направился к дому своего дяди. Остановился возле него. Дом дяди сохранился, хотя был полуразрушен. Однако переночевать в таком доме вполне возможно. Но что это? Дверь оказалась закрытой изнутри. Быть может, тут западня? Значит, там люди, но кто они — армяне или турки?

Не было времени на размышления, так как каждую минуту могли появиться враги. Ведь в поселке рыщут и шпионы и охранники. Неровен час — можно наткнуться на них.

Артин решил постучать в дверь. В конце концов можно по голосу и по манере ответа тотчас понять, кто за дверью — друг или недруг.

Ответа не последовало. Снова постучался. И снова никакого ответа. Либо дом пустовал, либо люди остерегались подать голос.

Пока он думал, что значило это молчание, неожиданно в саду мелькнули какие-то тени. Эти черные тени, скользя с улицы, метнулись к нему.

Артин торопливо присел и спиной нажал на дверь, но она не поддавалась его усилиям. Артин нажал силь-

ней. Дверь распахнулась, Артин стремительно ввалился в помещение и в одно мгновение задвинул засов.

Никто не вышел ему навстречу. Но в саду за дверью раздались голоса:

— Он вышел из дома?

— Да нет, он, по-моему, вошел.

— Не мог он так быстро войти в дом.

— Это, наверно, был сам сатана...

В саду немного помолчали, потом один из стражников сказал:

— Это не сатана, а, должно быть, армянский беженец с оружием.

— Тогда придется войти в дом.

Голоса смолкли. Предложение войти в дом, видимо, озадачило всех. Все-таки зачем-то полезли на крышу. Потом один из стражников, набравшись храбрости, просунул голову в боковое оконце, стекло которого было разбито.

Артин боялся, что этот храбрец зажжет спичку, и поэтому до боли прижался в углу к доскам. Но нет, стражник, вытянув шею, посмотрел в темноту и поспешил убраться.

Вскоре голоса в саду смолкли. Турецкие стражники ушли. Они предпочли не рисковать жизнью. Зачем подвергать себя опасности — открывать дверь и входить в дом? Они уже и без того достаточно награбили и потому теперь особенно трусливо оберегали свою жизнь.

Некоторое время Артин стоял не двигаясь, потом решил войти в комнаты. Скрип шагов тотчас выдал его. Но в доме уже знали, что это идет беженец и армянин. Иначе турецкие стражники не подняли бы шума в саду.

В комнатах задвигались. Кто-то зажег ночник. И вот навстречу Артину вышел его родной дядя с семьей. Обнялись, расцеловались. Немного поплакали, измученные тоской и скорбью.

Рассказывать в сущности было не о чем. Лишь скупо сообщали Артину, когда угнали людей и родных. Но куда угнали и что с ними стало — об этом не знали. Скорее всего в Сирию, в Азиз, — так говорят люди.

Молча переглянулись. Кто-то тихо проронил:

— Что же теперь делать?

На этот вопрос дядя ответил томительным вопросом бессилья:

— А что тут можно сделать?

И в самом деле — что можно было предпринять против ужасающего бедствия, которое нагрянуло подобно землетрясению или чуме? Что означала сила одного или нескольких людей против такой стихии? Должно быть, семья Артина вынесла немало испытаний, а может быть, уже и погибла. Да и сам дядя Артина вряд ли долго вынесет такую беспринютную жизнь. Артин же не сегодня-завтра может попасть в западню.

Но Артин не так безнадежно смотрел на события. Он все же решил попробовать спастись, выжить, отыскать семью.

О своем непреклонном решении он сообщил дяде. Тот ответил:

— Ну что ж, иди... Может быть, и добьешься чего-нибудь...

Артину хотелось скорее покинуть Килис, чтобы взяться за дело. Правда, горные дороги изрядно измотали его, но силы не были исчерпаны.

Он собирался пробыть у дяди всего один день, но уже ночью, перед рассветом, дом дяди был окружен. По всей вероятности, стражники одумались и решили проверить подозрительный дом.

Как тут быть? Защищаться? Но в таком случае семью дяди, несомненно, уничтожат, перережут всех. Нет, уж лучше бежать. И Артин попытался. Он хотел незаметно ускользнуть и укрыться в соседнем доме. Но там-то и была засада. Стражники набросились на Артина и схватили его.

Артину так и не удалось узнать, что они сделали с семьей дяди.

Артина бросили в тюрьму. Там прочли ему длинный обвинительный акт, в котором говорилось, что он разбойник, злодей и враг своей родине.

Из тюрьмы Артина отправили в Алеппо, нет нужды добавлять — зачем: конечно, для того, чтобы убить.

С поникшей головой шел Артин и, раздумывая о своей судьбе, удивлялся, что в жизни бывает так много

тяжелых испытаний. Вот, например, несколько дней тому назад ему было тяжело в горах, но еще в более тяжелом положении он оказался у порога своего дома. А сейчас выясняется, что тяжесть бедствий неизмерима и его могут ждать еще худшие испытания.

Артин шел и внимательно поглядывал на полицейского, который сопровождал его. Тот был молод и, вероятно, неопытен. Артин ночью, не долго раздумывая, убежал от него. Полицейский спохватился, выстрелил вслед, но промахнулся.

И вот Артин снова побрел по неведомым дорогам. Кроме звезд и луны, здесь ему было все неведомо, все было чуждо и враждебно.

Снова — горы, камень, пыль и песок. Снова страх перед человеком и зверем.

Но Артин был неутомим. Он шел, шел, шел... Нет, это не то слово! И дорогу, по которой шел Артин, тоже нельзя назвать дорогой или даже тяжелой дорогой.

Это было терзание, битва с острыми камнями и колючими растениями, война против невыносимо палящих лучей солнца; сражение с голодом, который выворачивал внутренности; искусный военный марш против врагов, которые на каждом шагу подстерегали Артина!

Но на свете много случайностей. В Азизе, куда шел Артин, он наткнулся на беженцев и среди них нашел свою семью: всю в лохмотьях мать, еле живую жену, обессиленного и зачахшего брата. Все они ютились у соотечественника, который и сам еле перебивался с хлеба на воду.

Встреча была почти молчаливая. Стояли друг против друга, но ничего не могли сказать. Горе было слишком велико, чтобы выразить его словами.

На последние гроши наняли какую-то хибарку и стали там жить. Артин и его брат днем прятались от людей и так избегали тюрьмы и ареста. Это отчасти удалось потому, что французские войска уже вошли в Киликию.

Большие надежды возникли у киликийских армян. Они пришли к мысли, что уже можно возвращаться в родные края. И тогда началось возвращение.

Вернулся в Киликию и Артин со своей семьей. Там

ожидало его чудо: полуразрушенный домик дяди сохранился. Но куда девался дядя и его семья — этого Артину не удалось узнать.

Семья Артина поселилась в доме дяди, который любовно починили, поправили. Потекли тихие, приятные дни.

Но это длилось недолго. Французские войска неожиданно ушли из Киликии и оставили армян лицом к лицу с их врагами.

Да, французы крепко обманули армян — история возвращения кончилась печально.

Только в одном повезло Артину — его не убили, а вместе с караваном угнали из Киликии.

Артин с семьей снова пробрался в Сирию и снова поселился в Азизе.

Здесь его постигли тяжелые утраты. Скончалась мать, исчерпав все свои силы в столь далеких странствиях. А потом умер от тифа брат Артина. Артин остался вдвоем со своей женой.

Но тут, к счастью или к несчастью, у Артина родился сын. Да, это большая радость, но с нею пришли и большие заботы. Артин, однако, не опустил рук. Тем более что дела несколько улучшились. Угнав армян, турки надеялись избавиться от них навсегда, надеялись, что если армяне не сгинут в пустынях Сирии, то погибнут в чужом краю. Но эти надежды не оправдались. Армяне знали ремесла, и их труд способствовал процветанию края. Пришлось туркам несколько смириться с армянами и воспользоваться плодами их труда.

Вот где пригодилось Артину его ремесло сапожника. Ему стали давать работу. Правда, не всегда платили, но иной раз он кое-что получал. А главное — полиция уже не трогала его, он был теперь нужным человеком.

Так шли месяцы и годы. Иногда улыбалась удача, а иной раз приходилось переживать черные дни. Бывало даже и так, что Артина неожиданно хватали и сажали в тюрьму, но вскоре выпускали за взятку. Главное — не убивали. И уже это одно позволяло жить на правах не то «своего», не то чужого.

Между тем Артин стал отцом двух детей.

После нескольких опасностей и невзгод такая большая семья была еще дороже ему. Артин особенно не сетовал на судьбу. Но все же с каждым годом он все больше и больше задумывался и мрачнел.

Жена не догадывалась о причинах его тяжелой задумчивости, но, конечно, стала замечать, что дурное расположение духа все чаще посещает мужа. Иногда он разговаривал сам с собой и по ночам дурно спал, вставал с постели и сидел у окна, подолгу смотря куда-то в темную даль.

Сперва жена думала, что муж остерегается каких-то врагов или ожидает ареста. И потому однажды ночью она спросила его:

— Ради бога, ответь — что с тобой? О чем ты думаешь? Быть может, до тебя дошли какие-нибудь дурные слухи?

Ничего не ответил на это Артин. Он продолжал молча всматриваться в темноту. Но потом он все же сказал жене:

— У меня нет дома. Ты понимаешь, что это значит — нет дома?

Жена и сама отлично знала, что у них нет дома. Но стоит ли так тяжело переживать это?

Горестно покачивая головой, Артин повторил:

— У меня нет дома... Человек не может существовать без своего очага.

— Да, без дома, конечно, плохо, — ответила жена, — но не надо из-за этого убиваться.

Однако отсутствие дома было для Артина огромным горем, и даже более тягостным, чем можно было предположить. Это не была потребность в еде или в одежде. Это было скорее духовное, а не материальное стремление человека, которое жгло и томило душу. Артину казалось, что дом — это все: семья, очаг; это — дыхание жизни, земля, вечность.

С домом Артин связывал миллион надежд.

И Артин был неутешен.

Как-то раз жена, рассердившись на него, сказала:

— Полно тебе бредить. С тобой с ума сойдешь.

— Нет, ничего ты не понимаешь, Марнам, — вздохнул Артин.

Жена хотела, чтобы Артин забыл о своем неутешном горе, и поэтому всегда спорила с ним, чтобы доказать его неправоту. Но на этот раз она промолчала. Безмолвная, она стояла перед мужем со своим горем, о котором никогда не распространялась. Ведь и ее сжигала тоска: о родных, которые рассеялись по свету, о радостях, которые были в прошлом и теперь исчезли.

Но она сдержала себя и мягко сказала мужу:

— Ну, если хочешь, так построй дом.

Артин торопливо воскликнул:

— Построю дом. Построю...

Мысль о доме настолько вошла в сердце Артина, что как только дела его пошли лучше, он тотчас взялся за постройку.

Вскоре он построил себе неказистый домик и поселился в нем. Наконец-то исполнилось его желание!

Жене показалось, что старая рана Артина навсегда затянулась. Но нет, то, что сказал муж в день новоселья, запомнилось ей надолго. А он сказал:

— Ведь и этот дом — тоже не наш дом.

Ясно, родной дом их остался в Килисе. И потому жена не отозвалась на эти слова мужа.

Странное дело — в новом доме Артин не приделал дверей. Дверной проем он закладывал досками.

Сначала жена решила, что это вышло случайно и Артин доделает двери. Однако прошло немало времени, а дом все еще оставался без дверей. И никто не понимал — почему.

Прошло уже три месяца, но дверей все еще не было.

Наконец жена спросила:

— Почему же нет дверей?

Артин нахмурился:

— В этом доме они не нужны.

— Но как быть без дверей? Ведь это и вору при-
манка, и от холода не убережешься.

— Будем закладывать досками, — уклончиво ответил Артин.

На это жена с немалой досадой сказала:

— Много ли толку от этого? Ты дверь сделай, чтобы дом стал на дом похож.

В голосе ее уже слышалось отчаяние, однако и на эти ее слова Артин хмуро, но твердо ответил:

— Этот дом не наш и поэтому дверей не будет.

Трудно жилось в Азизе. Работать приходилось с утра до ночи, а заработок был незначительный. Иной раз семья голодала. И кругом все не прекращались гонения на армян.

Вскоре положение Артина резко ухудшилось. Он не ладил с полицейским, который требовал постоянных услуг и одолжений. Мало того что Артин бесплатно работал на него, но ему еще приходилось на свои деньги покупать кожу для сапог полицейскому. Кончилось тем, что Артин отказался шить ему сапоги. Последствия были печальные: снова начались преследования.

Артин с семьей бежал в Алеппо, а вновь построенный дом был брошен на произвол судьбы.

Покидая дом, Артин сказал жене:

— Я же тебе говорил, что это не наш дом.

Кое-как Артин обосновался в Алеппо. Но что значит — «обосновался»? Жилищные условия были невыносимы. В маленькой комнате, за которую дорого платили, проживало три семьи. Иного выхода не было. Приходилось терпеть и чего-то ждать.

Однако с работой здесь было значительно лучше. И хотя жизнь несколько надломилась от многих передряг, но все-таки жить было можно.

Снова появились мысли о доме. В самом деле, не построить ли дом? Ведь нужно иметь свой очаг. Без этого нельзя обойтись. Быть может, на сердце станет легче, если начать постройку.

И вот Артин снова стал строить дом. На этот раз он даже заложил основательный фундамент.

Работал Артин вместе с каменщиками и плотниками и довел дело до конца. В 1928 году семья Артина уже проживала в собственном доме.

Дом был двухэтажный, и хотя не роскошный, но вполне приличный. В верхнем этаже — спальня, в нижнем — кухня и столовая. Перед домом — небольшой

садик и в нем цветы. Что еще нужно? Да, больше, пожалуй, и желать нечего.

Тем не менее грусть не покидала Артина, таясь где-то в глубине его сердца.

Дети Артина подросли, с ними уже можно было по-толковать кое о чем. И Артин, беседуя с детьми, нередко рассказывал им о своей жизни, рассказывал почти обо всем, но вот о доме он молчал. При мысли о доме он чувствовал какую-то неловкость. Боялся, что дети его не поймут и только напрасно опечалятся, скажут: «Зачем же было идти на такие жертвы и строить дом, если в результате ты сам недоволен?»

Кроме того, Артин не знал, что ответить детям, если они спросят, почему в доме нет дверей.

И в самом деле, это было странно и непонятно, но Артин продолжал упорствовать не меньше, чем в Азизе. Он решительно и упрямо ответил своей жене, когда та спросила его об этом:

— Не будет дверей — и все.

Потом, думая о своем, пояснил:

— Для того чтобы дом был наш, надо его строить на родине. А этот дом построен в чужом краю, и поэтому пусть он стоит без дверей. Это не наш дом.

Родина! Но где она? И как попасть на родину?

Нет, жена не спросила мужа об этом. Она только думала, что муж говорит о какой-то воображаемой стране, которая вдруг возникла в душе измученного человека.

Ну что ж. Пусть теплится в его сердце надежда. В этом нет ничего плохого.

Однако Артин не шутил и не фантазировал, когда говорил о родине. Он постоянно думал о ней, и мысли его каждый раз сводились к одному: у него должна быть родина, иначе жить нельзя. Он ведь знал и слышал о том, что его народ живет на своей земле, в своем государстве. Да, там другие порядки, другие люди. Там многое непривычно и сразу нельзя понять всего. Родина — не сон и не фантазия. О ней рассказывают тысячи людей. И все рассказчики твердо сходятся на одном: это народная страна, где торжествует справедливость. И туда надо ехать.

Думая об этом, Артин сказал жене:

— Все дороги ведут туда.

— Куда? — не поняла она.

Сыновья Артина насторожились и тоже переспросили отца:

— Куда ведут дороги?

Артин ответил:

— Все дороги ведут в Айастан¹. Мы поедем туда.

Жена не сразу сообразила, о чем речь идет. Она пробормотала:

— В какой еще там Айастан? Бог с тобой...

Но Артин твердо отвечал:

— Айастан один. Тот самый Айастан, где хозяева армяне. Свободный Советский Айастан.

— Ах, вот ты куда захотел, — протянула она.

— Именно туда мы поедем. Там наша родина, и там будет наш дом. Мы едем в Советский Айастан, — снова твердо сказал Артин.

Всякий день Артин спрашивал сыновей:

— Ну, что пишут об Айастане? Что нового там, на нашей родине? — Эти разговоры и живой интерес к жизни Советской Армении вскоре убедили жену и сыновей, что поездка туда должна состояться.

Что же касается самого Артина, то все разговоры еще более разжигали его желание ехать на родину и не давали ему покоя.

Прошло еще немного времени, и сыновья Артина уже сами начали поговаривать о поездке на родину.

Сыновья были почти взрослые. Старший поехал в Бейрут — учиться. А младшие остались в Алеппо — ходили в школу.

Вообще жизнь сильно изменилась за несколько лет. Прежние жестокие гонения и убийства армян прекратились. Во вновь образованной Сирии армяне, казалось бы, прочно осели. Правда, невзгод там было немало, но... народ притерпелся. Впрочем, на каждом шагу чувствовалось пренебрежение. А холодные взгляды и попреки уж стали привычны. Тяжко жить на чужбине!

¹ Ай а с т а н — Армения.

Старший сын, по имени Сероп, учившийся в Бейруте, на лето обычно приезжал домой в Алеппо. С собой он привозил кучу новостей — о забастовках, об арестах. Оказывается, бейрутинские власти не дремали и сажали в тюрьму армянских и арабских парней.

Что означали эти новости — Артин не знал, да и не очень задумывался над ними. Но одно ему было ясно: если армянских и арабских парней сажают в тюрьму, то это прежде всего показывает, что арабы и армяне живут одинаковой жизнью и их одинаково преследуют.

Своим младшим братьям Сероп рассказывал о том, что армянские и арабские товарищи борются против богатых арабов и французов. Рассказывал, что эта борьба — пролетарское революционное дело, в котором все нации равны.

Слушая эти рассказы, младшие братья еще сильнее заинтересовались той родиной, которая была мечтой их отца.

Вскоре разговоры о возвращении на родину стали в семье чем-то необходимым. Поехать туда и там участвовать в строительстве новой, социалистической жизни, увидеть своими глазами новый социальный строй — это стало жизненной необходимостью.

Артину правился энтузиазм сыновей. И он сам начал вести себя так, как будто уже через неделю едет в Советскую Армению.

Как-то раз один из сыновей сказал отцу:

— Вот поедем в Айастан и там построим свой дом.

Ах, как обрадовался отец, услышав эти слова! Он воскликнул:

— Значит, вы поняли, что здесь — не наш дом!

Между тем время шло, и вот грянула война, вторая мировая война.

Фашистская Германия наводнила Европу своими войсками, прибрала к рукам почти всю ее военную промышленность и вероломно напала на Советский Союз.

Чем же кончится эта война? Что будет с Советской родиной в этом огненном потоке?

На эти мысли Артин неизменно отвечал:

— Победит Советская родина.

Артин терпеливо ждал этого события. Ждал, не доделывая дверей в своем новом доме. А обувь мастерил, как говорится, спуская рукава, не до этого было.

Когда же весть о репатриации докатилась до Сирии, Артин начал лихорадочно готовиться к отъезду.

И когда в Алеппо пришел запрос, кто хочет вернуться на родину, Артин тотчас откликнулся на него.

* * *

Теплоход «Россия» величаво развернулся. Взметнулись волны, и берега вместе с Бейрутом стали отдаляться, как видение, как сон. Острой грудью корабль резал волны Средиземного моря.

Почти в одно мгновение переменялся мир. На арабских берегах и в дальних пустынях остался ад древней и новой истории, остались плетки полицейских, пыль и песок, человеческие черепа и кости и... горький хлеб чужбины.

«Россия» возвращалась домой. Она плыла гордо, величественно, почти не покачиваясь. «Россия» — это уже была часть великой социалистической страны. И поэтому всюду и всем она напоминала о подвигах и о новых надеждах. «Россия» пересекала моря и океаны, входила в гавани — и там привлекала взоры миллионов людей. Повсюду люди смотрели на нее с каким-то особенным вниманием и почти все глубоко задумывались.

Тысячи людей и среди них Артин со своей семьей возвращаются к себе на родину...

Артину уже шестьдесят лет. На нем желтый китель, башлык и широкие брюки, которые суживаются книзу. С большим достоинством он сидит на палубе и сосредоточенно смотрит вдаль. Все движения и жесты его стали медлительны, торжественны — кажется, что он священнодействует или совершает какой-то обряд.

Вблизи снова показались турецкие берега. Артин невольно нахмурился.

Вот Галлиполи, где он когда-то воевал.

Миновали Дарданеллы, Босфор...

А вот наконец-то широкие воды родины.

«Россия» причалила к Батумской пристани.

Артин вместе с семьей стал спускаться на берег. Как забилося сердце! Захотелось хоть на секунду остановиться, чтобы осмотреться и сразу понять все — что там, чем заняты люди на берегу. Но никто не останавливался — поток людей бурно и стремительно двигался вперед.

Звуки оркестра, многоголосое «ура», ввысь взлетали букеты цветов, платки...

Артин уже на берегу. Он чувствует — нельзя терять самообладание, нужно держаться бодро.

«Вот это и есть земля моей родины», — думает Артин, и вдруг на душе у него становится легко-легко. И тогда он начинает понимать, что та тяжесть, которая раньше давила ему грудь, была значительно больше и мучительней, чем казалось тогда, прежде.

Мысли в голове лихорадочно бьются... Здесь — родина... Здесь — Сталинград... Как бывший военный, Артин оценил значение Сталинградской битвы еще в Сирии... Здесь — народная власть... Здесь — справедливость...

И вот в этой великой стране — земля его народа, Советская Армения.

Из Батуми поехали поездом. Артин попросил пассажиров разбудить его, если он, паче чаяния, заснет, подъезжая к границам Армении. Пассажиры пообещали исполнить его просьбу.

На одной из промежуточных станций Артин ненадолго сошел с поезда.

Сбылось почти невозможное. Вот она — Армения.

Вот...

Был уже вечер, темнело. Но горы и холмы глядели на Артина приветливо. У станции росла высокая трава, среди которой Артин разглядел какие-то пестрые цветы. Артин пригнулся к траве, потом встал на колени и, прижавшись лицом к земле, поцеловал ее. Затем торопливо, чтобы никто не заметил, сорвал горсть травы и прижал ее к своему сердцу.

Потом медленно поднялся и вернулся к своему поезду.

Поезд тронулся. Вскоре Артин увидел воды Дебета. Вслед за этим поезд вошел в Лорийское ущелье, и тогда над краем каменистого берега зажегся багровый лунный фитиль.

Показались какие-то башни, бастионы. Паровоз длинно и зычно свистел, и эхо мощного свиста медленно тонуло в глубоких ущельях. А когда поезд останавливался, слышался вековечный шум Дебета.

Но вот сверкнул островок огней. Здесь — заводы, стройки и Алавердские медные рудники. Здесь люди, обуздав стихию, наполнили ущелье жизнью и земной радостью.

Артин всматривался в темные окна вагона и прислушивался к шуму паровоза. Казалось, что паровоз, жадно втягивая воздух, с боем прокладывает крутой путь вверх.

И вот уже остались позади Кировакан и Ленин-акан.

Перед Артином широко раскинулась долина Ара-рата. И тогда на глазах Артина нависли две слезинки, в которых, как в стеклянных бусах, затрепетал Масис.

Наконец и Ереван...

Все казалось сном. Казалось, вот-вот Артин проснется и снова увидит себя в Азизе или в Алеппо. Да, это была бы злая шутка! Но нет, Айастан — это не сон, это реальность. И Артин уже в самом Айастане, он уже айастанец.

Артину с семьей предоставили комнату.

Старушка из соседнего дома принесла объемистый чайник с кипятком. А внук старушки притащил стаканы и сахар. Оба приветливо сказали прибывшим:

— Пожалуйста, угощайтесь.

— Благодарим, — солидно произнес Артин и тотчас добавил: — Ведь мы теперь тоже айастанцы. Не так ли?

На это старуха глубокомысленно ответила:

— Ну, а как же иначе? Конечно, теперь и вы айастанцы.

Жена Артина повела было разговор относительно помещения:

— Вот квартиру, конечно, хотелось бы...

На это старуха, улыбаясь, сказала:

— Первое время и мы тоже ютились на балконе. А теперь — взгляните, какой у нас дом. Вот там, во втором этаже, наша квартира. Мой сын работает на заводе — мастером цеха.

Артин и его жена закивали головами.

Они не все поняли, что сказала старуха, но у них создалось впечатление, что она сообщила им приятные вести.

Первые заботы Артина были направлены на постройку своего дома. Предстояло немало дел: приобрести земельный участок, получить кредит и стройматериалы. Задача осложнялась тем, что Артин замыслил строить двухэтажный дом со многими комнатами. Этот дом был рассчитан не только на себя, жену и сыновей, но и на будущих жен сыновей и наследников.

На следующий же день Артин направился в Комитет по делам репатриации. Там решались многие вопросы жизни приехавших. И там предстояло решить вопрос о доме.

Шагал торопливо, не горбился. Мимоходом рассматривал столицу. Ужасно хотелось повсюду походить, увидеть все сразу и, так сказать, окунуться в жизнь города. Но сжигало не менее горячее желание скорей дойти до комитета, скорей взяться за постройку дома, чтобы осуществить свою давнюю мечту.

Улица, по которой шел Артин, была почти сплошь разворочена — на месте старых зданий поднимались новые многоэтажные постройки. Кругом рокотали машины, грузовики. Перекликались каменщики. Весь этот гул и грохот возбуждал, вселял бодрость.

Город содрогался от безостановочного движения автомашин, трамваев, людей.

Однако решено было осмотреть город потом. А сейчас прежде всего — комитет.

Артин подал в комитет заявление с просьбой предоставить ему земельный участок на окраине города.

На другой день, в воскресенье, Артин с сыновьями

отправился осматривать город. Прежде всего вышли на Сталинский проспект.

Остановились, осмотрелись, куда лучше пойти, и направились вверх по проспекту.

Вскоре они увидели перед собой великоленное здание. Артин впервые видел такое величественное строение. Ничего похожего не было ни в Сирии, ни на его печальной родине — в Килисе.

Сыновья спросили прохожих, что это за чудесное строгое здание. Им объяснили — это оперный театр. Артин не сразу даже понял, что значит опера, но ему было ясно одно: его родное государство богато, если может возводить такие постройки.

Эта мысль еще более воодушевила Артина. Он шел впереди сыновей, чувствуя себя причастным к великим и гордым делам его родины.

Обогнули скверы и поднялись выше — на Круговую улицу. Потом вышли на улицу Абовяна. Там, перед зданием из черного туфа, толпилась молодежь.

Старший сын Сероп воскликнул:

— Отец, вот университет, я здесь буду учиться!

Отец с волнением произнес:

— Будь же достойным его, сын мой.

Сын Арам, видя, что отец устал, предложил сесть в трамвай.

Теперь огромный город мелькал перед ними слева и справа. Сколько новостроек! Кругом кипит работа строителей, кругом громоздятся камни, известь и различные материалы.

Артин хотел запомнить названия улиц, по которым ехал, но не смог.

Въехали в район заводов. Здесь был целый лабиринт. Огромные здания возвышались друг за другом. А впереди, заслонив собой Арарат, дымился завод-великан, могучие печи поднимались к небу.

Все удивляло Артина. В особенности изумляли ритм и темп деловой жизни страны. Стремительно шли автомашины, торопливо двигались люди, стараясь обогнать друг друга. Казалось, что даже дым из заводских труб вырывался более торопливо, чем обычно.

В этом строительном шуме Артин как бы слышал слова:

«Строить, строить, строить».

И город, охваченный неукротимой страстью созидания, неудержимо растет.

Сердце Артина билось учащенно. Ему стала ясной высокая забота государства — непрерывно созидать.

Как бы подводя итог своим мыслям, Артин сказал сыновьям:

— Да, это значит — теперь у нас есть все.

Но все эти большие впечатления не заслонили мыслей о доме.

Поданное в комитет заявление было уважено — Артину предоставили земельный участок на окраине города.

Артин поспешил осмотреть этот участок. Он остался им не особенно доволен, однако ободряюще сказал сыновьям:

— Приспособим... Участок хороший...

Неторопливо прохаживаясь среди камней и поблекших трав, внимательно осматривал каждый клочок земли. Спугнул несколько ящериц, которые прошмыгнули и исчезли. Потом долго топтался на том месте, где наметил строить дом. Твердо решил, постукивая ногой по земле: здесь, на этом месте, он воздвигнет дом. Здесь!

Нагнулся, взял горсть земли, помял ее на ладони, просеял между пальцами и сказал сыновьям:

— Ну вот мы и дома. Мысленно я уже вижу этот дом. Заживем, как в раю.

И вот началась битва — стали энергично, с жаром расчищать участок. Трудились бок о бок с рабочими. Заложили фундамент для двухэтажного шестикомнатного дома. Наметили приусадебный участок. Позаботились о воде. Обработали место для огорода.

Конечно, на первых порах все это давалось не легко. Тем не менее дела шли хорошо и без задержек. Никаких особых препятствий не возникало. Артин трудился самозабвенно. И дом его поднимался все выше и выше.

Артин вставал еще до зари и принимался за дело.

Как-то раз он был в необычном настроении. Поглядывая на возведенные стены первого этажа, он что-то бормотал себе под нос. Сыновья с удивлением смотрели на отца. А тот, увидя их, подозвал ближе и сказал:

— Вот о чем я говорил... Я говорил: вот под этим камнем лежит Люфти-бей, который выгнал меня из моего дома в Килисе, а под этим большим камнем лежит Шериф-бей — он заковал меня в цепи и отправил на смерть. Как видите, эти камни лежат над прахом моих врагов. Теперь смотрите дальше. Камни этого ряда означают мои дни в Азизе. Второй ряд камней — мои дни в Алеппо. А этот нижний ряд — мой страшный путь из Галлиполи до Килиса. Таким образом, дни моей прошедшей жизни накрепко похоронены здесь, под камнями моего дома.

Сыновья Артина сначала с улыбкой слушали странные рассуждения отца, но потом содрогнулись в душе. Глаза отца ярко горели и лицо было искажено страданием. Ведь он рассказывал сыновьям страшную повесть своей прошлой жизни.

Отец сказал сыновьям:

— Кладите же камни поверх того, что я пережил. Пусть будет похоронено то, что было со мной.

В этот день работали молча и как-то угрюмо, то и дело задумывались над словами Артина.

Шли дни, и дом поднимался все выше. Уже одна комната, с окнами на Араратскую долину, достроена до конца. И тогда вся семья поспешила переехать сюда.

Но дом был еще не закончен. Еще мечта Артина не полностью осуществилась, и потому впереди предстояли дни усердного труда.

Однако в самый разгар этих трудовых дней сыновья Артина — Сероп, Арам и Атом не проявили должного старания. Вернее, они отвлеклись своими делами. Сероп увлекся университетом. Арам уже начал работать на текстильной фабрике. Атом поступил учителем в местную школу. Только самый младший

сын оставался дома, да и те с утра он уходил на занятия в школу.

Вначале сыновья ежедневно работали вместе с каменщиками, но теперь могли уделить постройке только один воскресный день.

Конечно, тут ничего не поделаешь. Было бы смешно бросить школу, завод, университет и все время отдавать постройке дома. Это Артин отлично понимал, но ему казалось, что его сыновья уж слишком зарылись в свои дела. Можно же выкроить время для строительства дома? А тут еще подоспела неожиданная новость: старший сын Сероп заявил отцу, что он будет жить в общежитии университета.

Эта новость крайне удивила и опечалила отца. Он сказал Серопу:

— Как же так? Ведь надо достроить дом...

— В общежитии мне удобнее жить, отец, — оправдывался Сероп. — А то опаздываю на лекции. Далеко идти.

— Вот достроим дом, и будешь тогда ходить в университет. Брось пока.

— Не могу, отец.

— А сколько же ты пробудешь там, в университете?

— Пять лет.

— Значит, эти пять лет ты не будешь жить дома?

— Не знаю, отец. Но только университета я не оставляю.

С отцом недопустимо разговаривать в таком тоне — «не оставляю университета». Кажется, новая жизнь уже грозно предъявляет свои требования. Артин несколько растерялся, не зная, как ему поступить. Ведь сын-то должен учиться — это общая их мечта. Но и дом надо достроить.

Артин смирился перед фактом, но загрустил. Еще бы, его старший сын, опора семьи, уходит из дому куда-то на сторону. Такого оборота дела отец не предвидел.

Вскоре Сероп переселился в общежитие. Приходил домой только по воскресеньям. Но порой и по воскресеньям не удавалось — задерживали всякие причины.

Тем не менее Артин продолжал строить дом. Работа шла медленно, но все же дело двигалось.

Но вот однажды сыновья Арам и Атом вернулись домой позднее обыкновенного. К отцу не подошли, а, остановившись у входа, заспорили между собой о каком-то кандидате в депутаты, которого выдвинул их район. Артин, облепленный грязью, запыленный, злой, хмуро покосился на сыновей и крикнул:

— Кончайте спор и помогите немного.

Арам ответил:

— Сегодня, отец, от нас мало проку. Сейчас пообедаем и снова уйдем, — у нас занятия по марксизму-ленинизму.

Артин опешил. Его сыновья совсем перестали думать о доме, они с головой ушли в свою новую жизнь.

Все же Артин сказал:

— В другой раз на урок пойдете.

— Нет, отец, нельзя.

— Значит, дом — к черту?

— Не к черту, отец, но мы не можем не пойти.

Атом добавил:

— Времени нет, отец. До урока у нас еще общее собрание.

Времени нет! Станные слова произносят сыновья. И еще более странно, что какая-то сила выволакивает сыновей из дому. Ведь они так недавно приехали сюда, приехали как посторонние люди, как чужестранцы, у которых не было иных забот, кроме личных. Построить дом — вот была их единственная мечта. А теперь? Оказалось, что теперь иные заботы отодвигают главную цель.

Однако сыновья, не желая огорчать отца, старались выкраивать часок-другой и тогда с удвоенным усердием помогали строить дом.

Пришлось отцу пойти на эти вынужденные уступки, тем более что постройка дома уже подходила к концу. Остались главным образом плотничьи работы.

У Артина посветлело на душе. Он вставал чуть свет и работал с песней. Сыновья радовались счастью отца.

По воскресным дням, когда собиралась вся семья,

отец заводил разговор на излюбленную тему — о будущей совместной жизни. Он не скрывал своих намерений — поженить сыновей и каждому предоставить комнату в его новом доме.

Нет, Артин вовсе не собирался вмешиваться в личные дела сыновей. Ведь он сам мечтал, чтобы сыновья его стали людьми. Это осуществилось, вот и прекрасно. И теперь дело отца — присматривать за домом и руководить семьей.

Но тут старик проглядел что-то существенное. Он не заметил основательных перемен, которые произошли в душе его сыновей. Увлеченный разговорами о прелестях будущей семейной жизни, он не обратил внимания на улыбки, которые то и дело пролетали по их лицам. Тут старик в чем-то не сумел разобраться.

Его сыновья большую часть дня проводили вне дома, и это происходило не в силу случайных обстоятельств, нет, у них просто возник новый круг интересов. Столица родины и бескрайняя ширь страны увлекали, манили их. Весь мир за пределами дома был наполнен интересной кипучей жизнью.

Эта перемена отнюдь не касалась семейного очага. Сыновья Артина попрежнему считали семейный очаг чем-то священным, во всяком случае достойным почитания... И здесь, в Айастане, и там, в Сирии, они думали о семье одинаково. Перемена произошла не в отношении к семье, а в отношении к дому.

В Сирии, на чужбине, дом был местом, где можно было замкнуться, отгородиться от окружающей жизни. Там дом был бастионом, крепостью, в которой можно было укрыться от многочисленных врагов. Эта крепость защищала самое заветное и дорогое. Это была единственная ценность, свое собственное маленькое государство, где не возбранялось думать и жить самостоятельной жизнью. Там дом имел другой смысл, играл иную роль.

Здесь дом, построенный отцом, показался сыновьям тесным, душным.

Вот этой перемены Артин не заметил.

Первое время Артин почти не отходил от своего дома. Но потом, бывая по делам в городе, невольно стал

наблюдать и приглядываться к новой жизни и к новым людям «его Армении». И тут каждый случай заинтересовывал его и крепко запоминался.

Как-то раз Артин зашел к своему приятелю, работающему в совхозе. Приятель жил на Эчмиадзинском шоссе, в уютном домике, возле которого раскинулся отличный сад.

Сидели приятели в саду, беседовали. И вот увидели: идет по шоссе войсковая часть. Такие крепкие, славные солдаты, черноглазые, черноволосые. Идут на занятия и поют песни.

Глаза Артина зажглись от радости. В одно мгновение он как бы впитал в себя это военное зрелище — блеск оружия, отличную выправку, превосходное настроение солдат. В одно мгновение увидел Артин твердую поступь солдат, презрение к трудностям и огромную силу, ту чудесную силу, которая сокрушила врагов и может опять и опять сокрушить.

Все это увидел Артин воочию и острее, чем когда-либо, понял, как велика и могуча его родина. Увлеченный своим домом, он еще не успел внимательно разглядеть ту страну, куда он приехал. И вот теперь его поразило увиденное.

Долго беседовали приятели в саду. И в заключение беседы друг Артина сказал:

— Все, что делается в нашей стране, идет на благо людям.

Однажды в воскресный день за обедом вся семья сидела за столом. Настроение у всех было отличное. Артин сказал сыновьям:

— Да, наконец-то у нас свой дом.

Сыновья молча и многозначительно переглянулись, и невольная улыбка пробежала по их лицам.

Артин, заметив эти улыбки, почувствовал неладное. Однако он тоже улыбнулся и спросил:

— Почему вы улыбаетесь?

Атом нашелся, что ответить. Он сказал:

— Разумеется, отец, у нас есть дом.

Энергично тряхнув головой, отец снова сказал:

— Есть, есть у нас свой дом!

Но вдруг с печалью добавил:

— Мне-то, вероятно, уже недолго осталось жить в этом доме.

Сероп возразил:

— Не говори так, отец. Ты дольше нас проживешь здесь.

— Почему? — удивился Артин.

— Да потому, что мы гости в нашем доме. Сегодня здесь, а завтра — кто знает, где будем.

— Где же вы можете быть завтра? — спокойно, но с тайной досадой спросил Артин.

Атом и Арам, желая придать разговору шутливый характер и этим отвлечь мысли отца, засмеялись. Однако Артин уже сердито сказал:

— Что за смешки? Отвечайте мне толком.

Стараясь не испортить отцу настроения, Сероп ответил с доброй улыбкой:

— Вот кончу университет, отец, и тогда меня пошлют куда-нибудь на работу. А ты здесь останешься.

Артин точно проснулся. Взглянув на Серопа, нахмурился. Он вдруг понял, что его сыновья и в самом деле поглощены вовсе не той жизнью, которой он живет, а иной, какой живут все — поселок, город, вся страна. Да, это так — его сыновья живут иначе, чем он.

Тоска охватила Артина. Столько лет грезить о доме, и вот теперь, когда давняя мечта осуществилась, дом теряет всякий смысл. Что же получилось? Значит, дом нужен только ему? Но ведь он построен для сыновей, для их совместной жизни!

Через несколько дней после этого разговора Арам сообщил отцу о своем намерении перевестись на работу в Ленинкакан — на текстильную фабрику.

Тут даже Сероп удивился:

— Но ты и здесь работаешь на текстильной фабрике. Зачем тебе ехать в Ленинкакан?

— Там иная система производства, иные станки. Здесь я не смог бы усовершенствовать мое изобретение. Поэтому я и решил ехать в Ленинкакан.

Кажется, впервые в дело вмешалась жена Артина. Она резко сказала мужу:

— Незачем ему ехать туда! Не пускай его!

Сероп, желая избежать спора, мягко заметил:

— Но ведь Ленинанкан — не чужая земля.

Неожиданно Артин уступил — под давлением ли своей горечи или по иным причинам. Во всяком случае он сказал:

— Пусть едет. Он должен ехать.

Жена гневно воскликнула:

— Глядите, что делается — дети бросают свой дом, расходятся по чужим людям!

Но снова отец, о чем-то усердно думая, произнес с непонятной твердостью:

— А как же иначе он должен поступать?

Впрочем, нельзя было понять, что именно этим он хотел сказать.

Сероп, игравший роль примирителя, осторожно стал разъяснять родителям:

— Мы же приехали сюда работать, а не дома у окна сидеть. Ведь тут непочатый край всяких дел. И мы не должны отставать от других, не должны плестись в хвосте. Мы строим социализм, делаем то, чему учит Коммунистическая партия.

Услышав эти слова, Артин выпрямился во весь рост. В одно мгновение он как бы понял свою ошибку. Без малейшего колебания он сказал жене:

— Наши дети правильно поступают.

И как-то проникновенно и страстно добавил, обращаясь к своим сыновьям:

— Согласен, согласен с вами, сыновья мои! Делайте то, чему учит партия коммунистов.

Чудесная улыбка скользнула по лицу Серопа. Он бросился к отцу и, крепко обнимая его, сказал:

— Ведь наш дом — это вся наша родина, а не только эти комнаты, которые ты построил, отец.

Арам тоже подошел к отцу и робко проговорил:

— Ты не думай, отец, я не собираюсь оставить дом. Я всегда буду возвращаться сюда.

— Так, так, — бормотал Артин, грустно улыбаясь. — Ну что ж, если мир вокруг нас обновился, то последуем и мы за этим новым миром.

Потом вдруг твердым голосом и без печали добавил:

— Я, дети мои, построил этот дом для вас, но по-

лучилось так, что вы дали мне нечто большее, чем этот дом. Отныне будем жить так, как вы сказали: «Дом— это наша родина».

В эту минуту Артина скорее почувствовал, чем понял, какая огромная перемена произошла в его сердце. Дом, ради которого он приехал сюда, сделался чем-то другим, он как бы целиком слился с его великой родиной.

* * *

На самой вершине холма, если взглянуть вверх, можно увидеть дом Артина.

Дом простой, из красного туфа. Никаких украшений на нем нет. Пожалуй, прохожий пройдет мимо и не обратит на него внимания.

Однако этот дом содержит историю, как бы написанную рукой Артина. Все строчки и иероглифы здесь в точности расшифровываются в соответствии с событиями его жизни.

Камни этого дома уложены Артином, похоронившим прошлое, чтобы начать новую жизнь.

Стало быть, этот дом Артина — дом его победы. Именно так и думают сыновья Артина, когда они с уважением смотрят на дом своего отца.

1949



МИНИАТЮРЫ

ГРАЖДАНЕ

Просторный двор большого дома своим живописным видом напоминает парк: кругом расстилаются грядки с цветами, проложены аллеи, под деревьями стоят скамейки, в центре двора — беседка и бассейн.

В беседке и возле нее собрались мальчики и девочки восьми-девяти лет. На первый взгляд кажется, что дети играют порознь, но если внимательно приглядеться, впечатление меняется.

Возле беседки под деревом сооружена «больница». На земле разостланы газеты, на них лежат в ряд мальчики, по другую сторону улеглись девочки; между двумя отделениями протянута веревка.

Дети лежат неподвижно, глаза у них полузакрыты, лица сосредоточенны.

Мальчуган в самодельном халате из газетного листа и в бумажных очках с озабоченным видом подходит к «больным». В руках у него стетоскоп. Это «доктор». Придав своему лицу внушительное и серьезное выражение, он щупает у «больных» пульс и, не поворачивая головы, объявляет сопровождающей его «медсестре»:

— Малярня. Хинин!

Обход продолжается. Переходят в «женскую палату». Здесь тоже исследуют, назначают лечение и уходят. Потом останавливаются около кустов. Здесь за ящиком сидит девочка. Строго поглядывая из-за бумажных очков, она берет на учет новых «больных». В двух шагах от нее шелестит бумажным фартуком дежурный «швейцар». Он охраняет вход, следит, чтобы желающие попасть в «больницу» не нарушали порядка.

По другую сторону беседки дети роют широкий «канал». На берегу «канала» лежат картонные коробки и ящики. Землю сбрасывают при помощи «экскаваторов», потом насыпают в «грузовики» и увозят.

Строители «канала» в рубашонках или голые до пояса. Между ними прохаживается мальчуган, на нем шапка с лихо заломленным козырьком. Он помогает тем, у кого работа не спорится, и уговаривает их равняться на более проворных.

— Почему ты не работаешь, Лялик? — обращается он к зазевавшейся девочке, которая, раскрыв рот, наблюдает за землекопками. — Насыпай землю в грузовик, нечего бездельничать!

Убедившись, что дело на его участке пошло на лад, бригадир бежит, чтоб помочь «экскаваторщикам».

На другом берегу «канала» расположились «инженеры». Раскрыв «Огонек», они изучают панораму Волго-Донского канала и набрасывают чертеж. Один из «инженеров» подзывает к себе «бригадира» и молча указывает ему на какую-то точку на чертеже. «Бригадир» смотрит на чертеж, переводит взгляд на «канал» и, уразумев свою ошибку, бежит исправлять направление «трассы». На ходу он отдает какое-то указание «строителям», и ему сразу же повинуются.

Работают с упоением — так можно назвать чувство, воодушевляющее строителей этого «водного канала».

В другом месте возводят «большой» дом. Из куска обвалившейся штукатурки, земли и песка готовят раствор. «Каменщики» крепят стены, «каменотесы», вооружившись деревянными молотками, шлифуют

туф, один из них на камнях высекает орнаменты. Будущий дом должен быть многоэтажным.

Наиболее оживленно в беседке. Здесь собрались дети постарше. Идет собрание. За столом президиума сидят трое ребят.

Докладчик, розовощекий, черноглазый, круглолицый мальчуган.

— Канакергэс!.. Отлично поработали, да, да... у нас есть герои труда... Товарищи, мы не хотим войны, нам нужны хорошие учебники, тетради, мы строим, товарищи!

От избытка чувств оратор сбивается, его голос заглушают аплодисменты.

— Да здравствуют наши передовики, товарищи, мы строим коммунизм! — продолжает оратор, озабоченный тем, чтобы подыскать наиболее веские слова, полнее выразить переполняющие его чувства. — Товарищи, нам нужен мир, наши дети не хотят войны, желания у нас такие: ходить в школу, отлично учиться. Да здравствует Советский Союз!

Раздаются аплодисменты. Докладчик машет рукой. Он еще не закончил своей речи.

— Товарищи, подпишитесь под воззванием мира, мы не хотим воевать! — старается он перекричать аудиторию и сходит с трибуны. Все вскакивают и стоя поют песню мира.

Когда песня смолкает, председатель собрания торжественно говорит:

— Товарищи, давайте подпишемся под воззванием мира.

— Ура! — подхватывают дети и, выбежав из беседки, рассыпаются по двору.

Сборщики подписей, каждый с листком бумаги и карандашом в руке, обходят детей и предлагают подписаться под воззванием мира.

Дети собираются стайками на аллеях и становятся в строй. Каждый «коллектив» имеет свое знамя. Оркестранты дудят в бумажные трубы, играют марш. Все работы прекращены, «врачи», «строители», «каменщики», «каменотесы», «инженеры», «экскаваторщики» выстраиваются в стройные шеренги.

— Шагом марш! — командует шустрый «бригадир», став впереди колонны.

Идут, идут солдаты мира!

ТВОРЕЦ

— Самолет, самолет! — звонко кричит малыш с порозовевшим от восхищения лицом, с блестящими от восторга глазами.

А самолет вырезан из бумаги, и когда маленький авиаконструктор бросает его вверх, он парит несколько секунд и, кувыркаясь, падает на землю.

Когда, оглушив меня, малыш снова крикнул: «Самолет!» — я спросил его:

— Что же он не летает, твой самолет?

— Не летает?

И мальчик растерянно посмотрел на меня. Самолета не было. Он не парил, как орел, над алмазными вершинами гор, над бирюзовыми морями. На земле лежал измятый клочок бумаги.

Прости меня, мой мальчик! Прости, что я обманул тебя. Самолет не упал на землю. Он летит, он создан твоим воображением.

Ведь именно так он и был когда-то создан.

СТАРУШКА

Жизнерадостная улица переполнена голосами детей, звоном трамваев, неумолчной музыкой человеческих разговоров.

Молодое солнце играет на небе. Воробьи стремглав бросаются на кусок кинутого им черствого хлеба. Далеко за простором улицы видны волны синих гор с белоснежной пеной на гребнях.

Весна.

У ворот сидит на камне старушка и держит в объятиях малыша-непоседу. Наверно, внук. Он то и дело протягивает руки, ему хочется схватить дерево, дом, весь мир... Малыш улыбается, улыбается и старушка.

Она переплела свои старые пальцы, крепко обхватив ребенка, и прижалась к нему: как бы не упал!

Мне вдруг кажется, она ухватила за малыша: как бы не упасть самой...

ЖИЗНЬ

Маленькая девчурка, крепко стиснув ручонками малыша, несет его по улице. Она еще не умеет держать ребенка, она схватила его подмышки, ножки малыша болтаются, и от этого ноша становится тяжелой, тяжелой. Девочка запыхалась, вся покраснелась, хрипло дышит. Ясно, что она воображает себя сейчас матерью. Нужно видеть ее серьезное лицо, морщинки, выступившие на лбу от тяжести ноши, пригнувшей ее. Нужно видеть ее взгляд, полный любви и заботы о маленьком «эгоисте», который со спокойным довольством, беззаботно глядит по сторонам. Девочка — сама осторожность, она вся сосредоточена на одной мысли: как бы не уронить малыша. А ведь она сама еще так нуждается в заботе и уходе!

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Еще никто не открыл средства от старости. Но средство от одинокой старости найдено — и верное, могучее средство!

...Это были простые люди, супруги Гавриловы. Жена хозяйничала, муж служил на заводе. Единственный сын их умер ребенком. И вот жизнь проходит. Жизнь становится пустой, как осеннее поле. Ледяной ветер времени дует в глаза.

Бедетные старые люди взяли на воспитание детей воинов, погибших на войне. Сперва явился один, как подснежник — добрый вестник весны. Потом другой, третий. Шестеро — ни много ни мало! Шестеро — об этом знает весь Советский Союз.

Один рисует, другой дудит в трубу, третий бьет в барабан, четвертый просит рассказать сказку. Поют,

смеются, шалят. Одного пора снаряжать в школу, другого в детсад. Да, не забыть в таком-то часу зайти на родительское собрание!

Когда явился первый малыш, старость отступила на шаг. Второй и третий — отступила подальше. Ну, а шестеро принесли с собой так много тепла и света, что старость безнадежно махнула рукой и ушла во-сво-яси из счастливого дома.

Смерть? Эта придет, можно ли сомневаться! Что же, если будет время, умрем. А если некогда? Тогда придется и тебе подождать, уважаемая непрошенная гостья!

ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ

Рассказывают, что в Отечественную войну фашисты повергли наземь памятник Гоголю и ушли.

Но зачем они сделали это? Чтобы уничтожить Гоголя?

Как они решились сделать это?

Можно уничтожить дом, повалив его, разобрав камни, переломав балки... Но что можно сделать с Гоголем, повергнув его памятник?

Гоголь усмехнется, метнет врагу вдогонку стрелок своего слова — и убьет.

О, как опасно поднять на Гоголя руку!

СМЕХ

Слышу громкий, раскатистый смех.словно весенний поток гремит, перелетая с камня на камень, и рассыпается звонкими брызгами.

Это смеются девушки и парни с ними.

В прозрачном воздухе не умолкая звенит смех, не обрываясь ни на мгновение. Чуть затихнет, думаешь — вот конец; как вдруг взрывается с такой силой, будто все вешние воды хлынули звенящим водопадом.

А ведь, наверно, ничего не случилось смешного.

«Молодость», — думаю я со снисходительной важностью.

Но полно! Что говорить?
Как бы хотел и я так безудержно и беспричинно
смеяться!
Молодость!
Нет ничего мудрее ее на свете!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Вот что сказал перед казнью Костас Цакос, греческий антифашист: «Смерть не застанет меня врасплох. Я встречаю ее как праздник. Полно плакать, люди! Не слез, а песен требует смерть отважных!»

Да, могучей песни достоин этот человек, песни о том, как жизнь, отданная людям, побеждает смерть и торжествует над нею!

1940—1950 гг.



СТЕПАН ЗОРЯН

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Приятно бывает вспомнить дни своего детства. Вспоминаешь: в таком-то году, в такой-то день случилось то-то — и это доставляет тебе великую отраду. В каждом событии, в каждом происшествии детских лет, радостном или печальном, даже самом маловажном, есть что-то привлекательное.

Не знаю почему, но все дни моего детства кажутся мне озаренными светом, небо — всегда голубым, сердца — всегда любящими, лица — всегда улыбающимися. И, опять-таки не знаю почему, раньше всего вспоминаются мне маленькие озорники, мчащиеся верхом на палочках. Потом я вижу гнезда грачей, похожие издали на пастушьи папахи, заброшенные на дерево и застрявшие среди ветвей; черных скворцов на вершинах тополей; телят-сосунков, что, задржав хвосты, скачут по улицам. Желтенькие гусята бесстрашно плывут по воде, а я гляжу и удивляюсь, как такие маленькие не тонут. Наш старый пес у порога положил морду на лапы и следит за прохожими. Рыжая кошка с длинной шерстью — вечно она таскала яйца из курятника, — мурлыча, засыпает на коленях у бабушки. А вот и моя милая старая бабушка в зимний вечер, сидя у очага и перебирая черные четки, рассказывает мне

сказку о девах-каджах, а я слушаю, раскрыв рот от восторга и ужаса.

И еще, и еще... Из мрака неизвестности, из давно забытых могил выходят радостные и знакомые лица. Как обрывки старинной песни, звучит в ушах их живая речь. Слышатся милые, забытые слова...

Слышу, как староста Арсен ругает моего отца, как старый поп Саркис жалуется, что доходы падают, как дядя Симон говорит о зарытом в лесу кладе, как сосед Петрос бранит железную дорогу.

Ярко встают предо мной сосед Петрос и железная дорога. Первый гудок паровоза в нашей деревне прозвучал, как должна прозвучать труба архангела Гавриила в день страшного суда.

Часто вспоминаю я соседа Петроса, когда еду в поезде или слышу нарекания на железную дорогу.

Я их вспоминаю вместе потому, что они... Но расскажу по порядку.

Как известно, в прошлом, до появления железной дороги, наши крестьяне путешествовали на лошадях, на скрипучих повозках и больше всего — на тархтящих фургонах, поднимающих пыль столбом.

Как во всех поселках и деревнях нашего района, в нашей деревне было несколько фургонов. Они возили людей из города в деревню и обратно, а также паломников-крестьян в монастырь св. Георгия. Все владельцы фургонов были похожи друг на друга: длинноростые, стриженные по-молочански¹. Они и одежды были похожи на молочан, и их так же легко было отличить от крестьян, как ячмень от пшеницы.

Таким фургонщиком был и Петрос. Он одевался стригся по-молочански, и если бы не его папаша смуглое лицо и черные волосы, вполне можно было бы принять его за молочанина.

Хороший был человек наш сосед Петрос!

Когда он возвращался из города в фургоне, запряженном четверкой лошадей, мы, дети, с шумом выбегали навстречу и цеплялись за перекладки фургона. Он доставал из карманов конфеты, яблоки и кида

¹ Молочане — русские переселенцы, сектанты.

нам со словами: «Вот вам, щенята». Мы же, толкая друг друга, все это вмиг разбирали и спешили догнать его у ворот, чтобы послушать новости, посмотреть, что он привез из города.

И чего только он не привозил своим сыновьям! Наш отец никогда не покупал нам таких вещей... Одним словом, сосед Петрос очень любил своих детей. Но больше всего любил он свой фургон и лошадей, гордился ими и постоянно хвастал, что равных во всей губернии не сыщешь.

— Как же, — говаривал он, — где вы еще найдете таких лошадей... Это же драконы, а не лошади... Однажды ехали мы в Ереван, лошади у всех притомились и стали, мой же, не сглазить бы, так и неслись вперед, будто на крыльях, — ффрр... Молодцы!

И Петрос, посасывая трубку, с довольным видом щурил глаза.

В долгие зимние вечера он частенько заходил к нам. Усядется бывало рядом с отцом у очага и толкует о всякой всячине. Расскажет какую-нибудь историю и непременно добавит:

— Такие-то дела, сосед...

Однажды — помню, как сейчас — они о чем-то говорили, и отец сказал:

— Петрос, дела ваши плохи. Говорят, железную дорогу прокладывать будут.

— Милости просим, — сказал Петрос безразличным тоном, — какое мне дело, пускай прокладывают...

— Что ты, — сказал мой отец, — если проложат железную дорогу, то все будут возить в поездах, для фургонов работы мало будет.

Петрос вынул трубку изо рта и удивленно поглядел на моего отца.

— Каким это образом? — сказал он, будто не понимая. — Разве машина сделает то, что фургон?

— Конечно, — ответил отец, — на железной дороге делаются такие дела, о каких с фургоном и мечтать нельзя.

— Ну да, ты тоже скажешь, — засмеялся Петрос и снова сунул трубку в рот.

— Я тебе правду говорю, — настаивал отец.

В газете, которую он выписывал, сказано было черным по белому, что поезд может перевезти в один день все сено нашего села «до Франгистана», а всю нашу деревню с людьми и со скотом можно поместить в один состав. Он еще много чего рассказывал, но мне запомнилось одно: за несколько минут поезд может перевезти в город фургон Петроса вместе с его лошадьми, с ведерком для воды и мешком для ячменя.

Слушая отца, я только удивлялся; как это можно перевезти фургон с лошадьми? И поезд выдержит? А лошади не могут его лягнуть? Но Петрос, посасывая трубку, только посмеивался. Когда же отец окончил, сосед вынул трубку изо рта, высыпал пепел в очаг и обратился к отцу:

— Да, горе фургону Петроса, если его заменит машина... Братец, там, где не запрягают лошадей, где нет упряжки и вожжей, как же можно перевозить людей и товары?..

— Я же тебе объясняю, — сказал отец и снова начал доказывать преимущество поезда. Но Петрос не верил и неустанно повторял, смеясь:

— Сосед, не верь... Сосед, не верь...

И после этого кто бы в деревне ни заговаривал о железной дороге, о ее преимуществах, Петрос всегда с улыбкой отвечал:

— Сосед, не верь, поезд не заменит фугона.

* * *

Детство не знает счета времени. Не помню, сколько времени прошло после этой беседы, как у нас появился первый поезд. Может быть, год, а может, меньше. Только однажды приехали в нашу деревню какие-то начальники с блестящими пуговицами, в сапогах, за ними люди с топорами и стали рубить наши чудесные деревья... С раннего утра до позднего вечера только и слышно было: трах-трах, трах-трах! Срублены были зеленые, в цвету, дубы и сосны; срублены были яблони и груши, с которых мы ежегодно собирали плоды. Через каких-нибудь несколько дней, проснувшись утром, мы увидели, что половины нашего красавца леса как

не бывало и стоит обнаженная голова горы, будто вы-
бритая снизу.

Вырубив лес, принялись за гору. Целыми днями со
стороны горы доносились взрывы, лязг и еще какие-то
страшные звуки, — порою мне казалось, будто это
хотят снести всю деревню.

После того как проложили путь через гору, постро-
или через речку мост, проложили рельсы. И вот в
один незабываемый день до нашей деревни докатился
такой пронзительный свист, какого мы в горах нико-
гда еще не слышали. В деревне поднялся переполох,
как во время большого пожара.

— Машина пошла, машина пошла, — говорили лю-
ди друг другу.

Мужчины, женщины, дети — из дому, с поля, бо-
сыком, с непокрытой головой — все бежали в сторону
железной дороги. Многие что держали, с тем и бежа-
ли: кто с граблями, кто с косой или кувшином для
воды. Хорошо помню, как одна женщина несла с со-
бой разливательную ложку, другая тащила в подоле
картошку.

Увидев, что все бегут, мы тоже всей семьей пошли
«смотреть машину». По пути встретился нам Петрос.
Он стоял на улице и насмешливо поглядывал на спе-
шивших людей, будто хотел сказать: «Ну и глупое
стадо! Что это случилось, что вы так бежите?»

— И вы идете? — спросил он, когда мы приблизи-
лись.

— Да, — ответил отец. — А ты не идешь?

— Как видно, и вы с ума спятили, — сказал Пет-
рос, покачивая головой.

— А почему бы и нет? — заметил отец. — Такая
новость, детям хочется увидеть поезд. Пойдем с нами.

Петрос начал было отнекиваться, потом огляделся
по сторонам и сказал:

— Раз ты настаиваешь, пойдем. Посмотрим, о чем
это столько говорят, — стоящая вещь или...

Когда мы подошли к железной дороге, то увидели
всех жителей нашей деревни. Старики, молодые и дети
собрались вокруг паровоза с вагонами и с удивлением
разглядывали их.

— Как мухи прилипли, — сказал Петрос с негодованием, — будто католикос¹ приехал или какой начальник; будто люди ничего в своей жизни не видели.

С этими словами он стал проталкиваться к паровозу. Мы последовали за ним.

Петрос долго и безмолвно осматривал паровоз со всех сторон, как мясник скотину, привезенную на убой; оглаживал его бока рукой, будто перед ним стояла лошадь, и все время сопел носом. Потом обернулся к моему отцу:

— Сосед, и этот вот должен выполнять работу фургона? — Он засмеялся. — Ай, ай, ай, сосед... Какой глупец откажется от жизни и согласится ехать на нем?

— Не говори, Петрос, — заметил отец, — вот как заработает, тогда узнаешь.

— Пустое, — продолжал Петрос, — он же ни на что не похож... Тот, кто согласится ехать на нем, должен прежде отслужить молебен. Завезет в горы, в ущелья, сам разобьется, пассажиров убьет...

На эти слова отец ответил, что действительно случаются иногда крушения, когда рельсы разведены или болты, скрепляющие их, вынуты; но ведь это случается редко.

— Вот видишь, — с издевкой отозвался Петрос, — а когда я об этом говорю, надо мной смеются... Если оттого, что какой-то гвоздь будет вынут, вся эта машина может развалиться, на что она тогда годится? Какое может быть сравнение с фургоном? Благословен тот, кто его выдумал... Садись, бери в руки вожжи и мчись, молодец... Когда тебе угодно, можешь остановить, когда захочешь, подгонишь. А это что?..

И, протянув руку к паровозу, он снова рассмеялся:

— Ха-ха, ха-ха...

* * *

С того дня стали ходить поезда. За день несколько раз доносился паровозный гудок, и всякий раз, услышав его, мы, дети, поднимались на крышу и смотрели, как поезд мчался, выпуская клубы дыма. Ключья

¹ Католикос — глава армянской церкви.

дыма принимали то форму верблюда, то лошади или монаха, быстро стремились за вагонами, но, не нагнав их, таяли в воздухе, будто задыхаясь от сильной усталости. А мы с веселым шумом становились в ряд, как вагоны, и со свистом топали по крышам, пока кто-нибудь из старших не прогонял нас оттуда, потому-де, что от нашего топота расшатываются балки и разрушается земляной настил. И всегда, на чьей бы крыше мы ни играли «в машинку», Петрос появлялся с простестом:

— Вы нарушаете покой всего околотка, — говорил он, заложив руку за пояс, — убирайтесь-ка по домам.

Особенно удивляло меня, что Петрос так редко ездит теперь в город. Бывало он каждую неделю запрягает фургон, нагружает товаром и под веселый звон колокольчиков укатывает в город; а теперь он подолгу оставался дома, только иногда возил навоз на поле или хворост и лозняк для ремонта изгороди.

Хорошо помню, как однажды, когда он привез на фургоне кусты шиповника, отец спросил у него:

— Как видно, сосед, дела в городе меньше стало?

— Нет, что ты, — ответил Петрос. — Дела сколько угодно, но я хочу привести в порядок изгородь: скотина беспокоит, сад ломает...

И всякий раз, когда отец спрашивал его, как идут дела, он отвечал одно и то же: у него и здесь много забот.

— Знаешь, сосед, — говорил он, — человек должен думать и о своем доме. Не так ли?

— Конечно, — отвечал отец. — Только мне показалось, как будто «машина» сократила твои дела.

— Нет, нет, — говорил Петрос, — нисколько не убавилось. Дел сколько хочешь... Машина разве может равняться с фургоном?..

И недели проходили за неделями, но Петрос, к великому моему удивлению, оставался дома и не уезжал в город. А мне хотелось, чтобы он попрежнему ездил в город и со звоном бубенцов возвращался обратно, чтобы, проезжая мимо нашего дома, он попрежнему угощал меня конфетами и яблоками. Но он не выезжал, поэтому лошадей не чистили, как прежде, и не

каждый день давали им ячмень, а выводили их пастись на полях или лесных полянах.

Помню, как его мальчишки (у соседа Петроса было четверо сыновей) садились на лошадей и гнали их в поле; как жена, которая не меньше мужа любила свой фургон и своих лошадей, каждый раз, услышав гудок паровоза, неизвестно почему проклинала его всегда в одних и тех же выражениях:

— Чтоб твой голос умолк навеки...

Пока жена кляла железную дорогу, Петрос безмолвно продолжал возить на фургоне камни, дрова и навоз. Теперь он не пел, как бывало, во время работы, не шутил с нами, детьми; все это меня очень удивляло. Кроме того, за последнее время он редко бывал у нас и вообще избегал соседей, будто со всеми был в ссоре или глубоко был обижен. Но вскоре произошло событие, которое резко изменило его настроение и привело в настоящий восторг.

* * *

Не знаю, как это случилось, но однажды под поезд попала корова из нашей деревни. Печальная весть разнеслась молниеносно. Это уж было нестерпимо. Поезд давит коров! Никуда не годится! И все, как в день появления первого поезда, поспешили на место происшествия.

Узнал об этом и Петрос и злорадно расхохотался.

— Я ведь вам говорил, а вычадо мною смеялись, — сказал он, торжествуя, качая головой. — Теперь убедились? Несколько дней прошло, а уже... И это еще что, главное впереди... Вы еще не то увидите...

И снова, покачивая головой и посмеиваясь над глупостью крестьян, допустивших, чтобы железную дорогу проложили мимо их деревни, он стал перечислять, какие страшные беды может принести нам «машинная». Сегодня поезд задавил корову, завтра под колеса падет бык, в следующий раз пастух, потом ребенок, потом взрослый мужчина, затем женщина, — что же тогда станет с нашей деревней?

— Ну что? Вы смеялись надо мною, — закончил он, горько усмехаясь. — Теперь сами видите?..

Его радости не было предела; он считал себя победителем.

Больше недели Петрос убеждал каждого встречного в том, что железная дорога разорит крестьян, лишит их хлеба, вообще сделает их несчастными. В доказательство он всякий раз приводил случай с коровой и тут же предлагал подать заявление на имя правительства с просьбой отвести линию железной дороги подальше от них.

— Давайте, братцы, напишем, что мы не хотим от них ни добра, ни убытков; мир велик, прокладывай свою железную дорогу, где тебе угодно, только подальше от нашей деревни...

— Глупости ты говоришь, — заметил мой отец.

— Почему это глупости? — отозвался Петрос, похжий в этот момент на рыбу, выброшенную на сушу. — А приятно, если мы каждый день будем нести убытки?.. Я тебя спрашиваю: хорошо будет?.. Не успеешь оглянуться, как сегодня убьет корову, завтра меня, послезавтра тебя... Чем же все это кончится?..

Слушая Петроса, отец только посмеивался, а при его последних словах так расхохотался, что я даже испугался — не обидится ли наш лучший сосед, не перестанет ли ходить к нам. На этот раз я ошибся. Но вскоре случилось нечто, после чего он действительно больше не перешагнул через наш порог.

Отец купил ячменя и отправил в город по железной дороге. В тот же день пришел сосед Петрос и с грустным видом безмолвно уселся на тахту. Заметно было, что он пришел по важному делу, но, видимо, не знал, с чего начать.

— Что случилось, сосед? — спросил отец.

— Ничего, — мрачно ответил Петрос и застонал.

— Ты, кажется, чем-то опечален?

— Ничего, — повторил Петрос и снова застонал. — Эх... не осталось больше ни дружбы, ни соседства, — продолжал он, разглядывая стены. — Мир перевернулся...

И он снова замолчал.

— А что же все-таки случилось? — настаивал отец.

— Ничего особенного, — сказал сосед Петрос, снова разглядывая стены. — Ничего.

И оба замолчали. Отец глядел на Петроса, а Петрос на стены.

После короткого молчания Петрос повернулся к отцу и тихо, очень тихо спросил:

— Ячмень отправил?

— Отправил.

Теперь отец разглядывал стены.

— Гм! — сжал губы Петрос и, помолчав немного, выдавил из себя: — Зачем так? Лошади рядом, фургон рядом, а ты...

И оборвал.

Отец смущенно опустил голову.

— Знаешь, сосед, — сказал он, собравшись с духом, — нужно было поскорее доставить ячмень в город. Ты же знаешь, я всегда пользуюсь твоим фургоном... На этот раз так получилось, что делать...

Снова оба замолкли и сидели друг против друга до тех пор, пока мать не позвала их к столу. Петрос всегда бывало охотно обедал с нами, но теперь отка-
зался.

— Спасибо, — сказал он, — кушайте на здоровье.

И, обиженный, грустно ушел.

С этого дня он перестал ходить к нам и даже разговаривать перестал. Если наш пес, наши телята или куры подходили к его дверям, он отгонял их камнем или палкой, что-то бормоча себе под нос. И на меня он смотрел недружелюбно, когда я приходил поиграть с его детьми. «За что это Петрос невзлюбил меня? — думал я с огорчением. — Непонятно».

* * *

Теперь мои воспоминания кружатся, кружатся останавливаются на лошадях Петроса. Вот они возвращаются с поля или речки — тощие, кости торчат, хвосты короткие и редкие. Они плетутся унылым, медленным шагом, как солдаты разбитой и отступающей армии, чувствуя, что они больше не достойны своего назначения и пищи. Рядом шагают сыновья Петрос

Вижу, как Петрос показывает двух лошадей неизвестным людям и говорит им:

— Это же орлы, а не лошади, во всей губернии таких не сыщешь. Однажды в пути на Ереван...

Немного погодя незнакомые люди в высоких папах и длинных халатах ведут его лошадей за узды мимо нашего дома.

Вижу еще одну лошадь Петроса, черной масти с белым пятном на лбу, лежащую у порога; вокруг нее — соседки, сам Петрос, его жена, дети. Ноги у нее вытянуты, голова на земле. Иногда она поднимает голову и бьет ею об землю. Тогда собачонка с лаем бросается на лошадь, а младший сыншшка Петроса, держа в руке кусок хлеба, смеется от удовольствия.

Потом жизнь оторвала меня от моего любимого дома, от товарищей и забросила в шумный город, где я зубрил грамматику и латинский язык, где люди ходили по тротуарам, где к обеду подавали металлические ржавые ложки, где люди мне казались чужими.

Около шести лет продолжалось мое грустное пребывание на чужбине, пока я наконец не вернулся в родной дом. За это время многое изменилось. Умерла моя любимая бабушка. Не стало нашего старого пса, а нашу ванскую кошку украли какие-то цыгане.

Между прочим поинтересовался я и судьбой соседа Петроса и его семьи. Больше всего, конечно, меня занимала участь его сыновей. Стоя у окна, я смотрел в сторону их дома, но никого не было видно. И фургона не было. Может быть, Петрос уехал с фургоном в город? Взглядом обжевав его двор, я увидел в углу, под стеной дома, смятую крышу фургона. На ней, греясь на солнце, сидели куры, перебирая клювами перья.

Вскоре из дома вышла жена Петроса, состарившаяся не по годам, с кормом для кур в подобранном фартуке. Где же ее сыновья? Этого моя мать не знала. А Петрос поступил на железнодорожную станцию близ нашей деревни.

...Он там служит и до сих пор.

Когда вы едете в сторону Карса, вам приходится проезжать маленькую станцию, перед которой, как

гигантские свечи, поднимаются три тополя. Тут же вы можете увидеть вечно пьяного начальника станции, единственного телеграфиста, рябую кассиршу и бочку с водой; к бочке на веревке привязана кружка.

У станционного фонаря, скрестив руки на груди, стоит старик с седой бородой, в полушубке, с метлой подмышкой. Дважды в день он приходит сюда, становится у фонаря и ждет. Когда же поезд с гулом уходит от станции и люди расходятся по домам, он достает метлу и выметает семечки и ореховую скорлупу.

Это он самый, наш сосед Петрос.

1916



ШОФЕР АРАМ

Однажды я приехал на машине в горы, чтобы проведать своего больного товарища. Он отправился туда лечиться по совету врачей, но его брат неожиданно вызвал меня тревожной телеграммой. Один из моих городских приятелей уступил мне свою, как он выражался, «легковушку».

Мы ехали со скоростью до шестидесяти километров в час, и я был доволен, что скоро доеду и успею к тому времени, когда брат моего товарища должен был выйти меня встречать.

Сначала мы ехали по ровной дороге, по обеим сторонам которой тянулись поля колосистой пшеницы; там и сям стояли копны скошенной травы, и воздух был насыщен запахом сена. Хотя дорога была хорошая, а движение на ней небольшое, я был не очень спокоен. Говоря правду, всякий раз, когда я еду куда-нибудь далеко в машине, я испытываю какое-то внутреннее беспокойство и неуверенность. «Отчего это?» — спросите вы. Да попросту говоря, у меня нет доверия к шоферам, особенно к незнакомым. Никогда нельзя ручаться, что они довезут без аварий, не будут уклоняться в сторону от маршрута, чтобы захватить попутчика или груз, — и кто их знает, на что они еще способны! И у меня всегда нехорошо на душе, когда человек явно обманывает меня, а я не могу

ему сказать: «Стыдись! Так же нельзя!» Человеку другой профессии можно сделать замечание, но шоферам, неизвестно почему, замечаний делать не принято...

Вот почему я всегда беспокоен, когда еду на машине. И сейчас я, сидя рядом с шофером, неуверенно поглядывал на него. Это мужчина лет тридцати—тридцати двух. На лбу и на правой щеке у него тонкие шрамы, которые придают ему не слишком ласковый вид. Средний палец его левой руки кривой и не сгибается — должно быть, повреждены сухожилия. Он, по-летнему, с непокрытой головой (кепку засунул в багажник), рукава засучены до локтей; мне видна татуировка на его руках: какие-то странные буквы или монограмма. Может быть, его инициалы, не знаю. На меня татуировка всегда производит неприятное впечатление. Мой шофер имел эти досадные приметы и к тому же был все время мрачен, и я заключаю, что имею дело с одним из людей той категории, которой присущи весьма неприятные качества.

Все это увеличивало мое недоверие к нему, и я решил держаться настороже. Но как предотвратить всякие неожиданности?

Проехав часть пути, я спросил:

— Товарищ, как вас зовут?

— Что? — Он повернулся ко мне вполоборота.

— Я спрашиваю — как ваше имя?

— Арам, — словно нехотя бросил он, отвернувшись и неподвижно глядя вдаль.

И я замолк.

Дорога, выходящая среди хлебных полей, стала подниматься в гору. Мимо мелькали дивные картины: поросшие кустами плоскогорья, острые вершины далеких гор, свежие, кудрявые леса. Но я восхищался молча, потому что мой шофер был попрежнему хмур и сосредоточен.

Среди своих размышлений я вдруг заметил впереди на дороге маленький «Москвич»; издали было видно, что шофер возится около мотора, а рядом с машиной стояло, видимо, целое семейство — отец, мать и двое

детей. Вероятно, авария случилась давно, так как, когда мы поравнялись с ними, лица людей выражали грустное беспокойство.

Мой шофер неожиданно затормозил, выскочил из машины и подбежал к шоферу «Москвича». Они обменялись двумя-тремя словами, а затем вдвоем начали осматривать мотор. Арам сначала что-то разглядывал стоя, потом нагнулся и заглянул под машину. «Начинается, — сказал я себе. — Если шоферы всерьез займутся ремонтом, мы простои́м не меньше часа, а это значит, что я приеду затемно».

Но, к счастью, вся история продлилась не больше десяти минут. Арам внимательно осмотрел машину, затем быстро завел мотор и, проводив «Москвич», вернулся и сел на свое место.

— Что там случилось, товарищ Арам? — спросил я.

— Ничего, — лаконично ответил он и снова замолчал.

Мы двинулись дальше; дорога шла зигзагами все время вверх, в гору. Пассажирские и грузовые машины стремительно проносились навстречу. Мы то углублялись в лес, то выезжали на открытые места, где перед нами возникали все новые и новые картины: вдали линия гор, там и сям деревни, окруженные рощами.

Ехали мы довольно быстро — значит на верстаем время, доедем засветло.

Однако мое жизнерадостное настроение держалось недолго. Машина вдруг замедлила ход и остановилась. Неужели что-нибудь сломалось? Нет... Невдалеке от нас грузовик попал передними колесами в придорожную яму, наполненную водой; два буйвола, привязанные сзади, пытались вытянуть его на дорогу, но грузовик не двигался с места... Арам привязал грузовик цепью к нашей машине. Мотор раза два покряхтел, набирая силы, и выволок грузовик на дорогу...

«Хорошо, что быстро отделались, — подумал я. — Авось больше не будем останавливаться». Но... не отъехали мы и двух километров, как мой шофер

опять остановил машину и побежал к оврагу. Высунув голову из окна машины, я заметил в овраге трактор. Вокруг него озабоченно бродили мужчина и женщина; мальчик лет десяти-одиннадцати взволнованно суетился около них. Что там делалось — трудно было понять. Ясно было одно: трактор получил повреждение. Но какое до этого дело моему шоферу? Чем он может помочь? А если ему просто любопытно, то разве он не знает, что я спешу?

«Посмотрит и придет», — пытался я успокоить себя... Но — увыл... история повторилась. Арам подошел к трактору, перекинулся двумя словами с мужчиной (видимо, трактористом) и, нагнувшись, стал осматривать колеса. «Что делает этот человек? Почему он сует нос, куда не следует?» — возмущенно подумал я. Прошло пять, десять минут — Арама не было. Еще десять минут... Я пошел наконец посмотреть, почему он так задержался. И вот что я увидел: мужчина утаптывает разрыхленную землю перед трактором, а мой шофер, стоя на коленях, сосредоточенно разглядывает нутро машины. Я вернулся к нашей «легковушке» и стал ждать. Жду еще десять минут — Арама нет, жду полчаса. Время идет. Наконец он, усталый, вернулся, и мы сразу отправились дальше.

— Это ваши родственники? — спросил я, стараясь не выдать своего возмущения.

— Нет.

— Значит, знакомые?

— Нет.

Я был так зол, что не мог говорить. Он, должно быть, почувствовал это и бросил как бы вскользь, продолжая глядеть перед собой:

— Одни они не справились бы...

«Оправдывается», — подумал я, глядя на застывшее выражение его усталого, хмурого лица. Плотнко сжав губы, он с напряжением вел машину; дорога зигзагообразно уходила в горы. То и дело нас объезжали попутные или встречные машины, — некоторые из них меняли колеса или запасались водой и бензином. Если же машина стояла и причина остановки не сразу была ясна, мой шофер узнавал, что случилось,

и, смотря по обстоятельствам, помогал устранить неполадки.

Когда в сумерках мы наконец приехали и я вошел в ворота дачи, Арам сказал:

— Мы, кажется, немного опоздали, не правда ли?

— На три часа, — процедил я сквозь зубы. — Спасибо и на том, что я доехал целым.

Арам ничего не ответил. Но через два часа, когда я, переодевшись, разговаривал с товарищем, мне сообщили, что меня спрашивает какой-то человек.

— Пусть войдет, — сказал я, думая: «Кто это может быть?»

Мои догадки разрешились при появлении Арама. Увидев его, мой друг как человек воспитанный, поднялся и вышел из комнаты, вероятно предполагая, что мы еще не рассчитались и что шофер хочет поговорить со мной наедине.

— Добрый вечер! — сказал Арам, подходя.

— Добрый вечер! — ответил я сдержанно.

— Извините, — сказал он, — я заметил, что вы на меня сердитесь. Не так ли?

Я не намерен был скрывать свое раздражение.

— Да, — сказал я. — Мы должны были добраться засветло, а приехали на три часа позже, уже впотьмах. Мой знакомый два часа напрасно ожидал нас и уже отчаялся. Сколько мы сделали лишних остановок!..

— Это верно, — согласился он. — Но как можно не останавливаться, когда видишь, что люди нуждаются в твоей помощи?

«Оправдывается», — снова подумал я и сказал:

— Почему-то другие шоферы не останавливаются?

Арам поглядел на меня. Шрамы на его лице покраснели, он прошелся по комнате и спросил:

— Можно сесть?

Присев, он скрестил на груди руки.

— Я хочу задать вам один вопрос, — сказал он.

— Пожалуйста.

— Если бы вы один со своей машиной застряли в безлюдном месте, что бы вы стали делать?

Арам пристально смотрел мне в лицо.

Смысл его вопроса был мне неясен.

— Я вас не совсем понимаю, — ответил я.

— Я хотел сказать: если бы ваша машина сломалась в каком-нибудь глухом месте и вы были бы одни, чего бы вы хотели?

— Конечно, помощи, — сказал я.

— А мне не только помогли, но и спасли меня, — добавил он, внезапно меняя тон, и голос его прозвучал задушевно.

— Как?.. Где? — спросил я, заинтересованный.

— Во время войны... на Украине.

Слова его усилили мой интерес.

— Расскажите об этом, если можно.

— Но вы же устали, я не хочу мешать вам.

Я уверил его, что уже отдохнул и не хочу спать.

Арам наконец согласился на мои настойчивые просьбы.

— Вообще говоря, я не люблю об этом рассказывать. Но вы рассердились на меня, и поэтому, так уж и быть, расскажу. Рассказ мой будет коротким.

Вы, конечно, помните первые дни войны, когда фашисты бешено лезли на нас... Они хотели вызвать смятение в нашей армии, чтобы скорей победить, а мы отступали, старались закрепиться в каком-нибудь месте и сдержать их натиск.

В это время мне было приказано вывезти архив нашего полка... Я обещал в целости доставить его на своем грузовике... Тогда я был еще неопытным шофером: всего шесть месяцев служил в армии и еле научился управлять машиной, а на грузовике и вообще то работал не больше двух месяцев. Когда я получил этот приказ, фашистские самолеты уже летали над Житомиром, бомбили город и беженцев на дорогах... Ну так вот, нужно было доставить архив. Только мы выбрались из Житомира (со мной был солдат — писарь полкового штаба), фашисты опять начали бить с воздуха и по машинам и в беженцев... Все шоссе было занято беженцами: телеги, фургоны, машины, велосипеды сплошным потоком ехали в четыре-пять рядов...

А сколько было конных и пеших! Фашисты пристрелялись к этой дороге и непрерывно поливали ее сверху огнем...

Как и все, я ехал не останавливаясь... Во время обстрелов негде было даже укрыться, поэтому я спешил, чтобы спасти ценный груз... Чем дальше мы продвигались по шоссе, тем опаснее становилась дорога: фашисты все усиливали огонь. Проехав километров десять, я решил свернуть с шоссе и поехать напрямик — по полям... Меня даже привела в восторг собственная находчивость: ведь так я сумею избежать обстрела, да и доеду раньше всех... Писарь был согласен со мной. Но слушайте, что было дальше. Едва мы отъехали на сотню шагов в сторону, как передние колеса моей машины провалились в болото. Машина стала вязнуть... ехать дальше было нельзя. Мотор продолжал работать, а колеса словно прилипли — и ни с места. Я и писарь изо всех сил начали толкать машину назад. Напрасно. Вперед нельзя было ехать: кругом болото, вода, камыши...

«Вот так история», — подумал я и поглядел на дорогу: может, кто-нибудь заметил и придет мне на помощь.

Но кто тут поможет! Сверху летят бомбы и пули; машины, телеги, люди, плотно прижатые друг к другу, несутся вперед, чтобы спастись от огня. Нет, надо рассчитывать на свои силы. Я еще раз запустил мотор, чтобы выбраться из этого злосчастного болота, но все было напрасно.

А фашисты продолжали палить. Из кабины я видел, как бомбы падали на дорогу, сверху пулеметы поливали беженцев; стреляли и в мою машину; пули с жужжанием, как слепни, летали вокруг нас, царапали крышу и дверцы... Вот видите палец, там меня ранило...

Каждый раз тогда, выходя из машины, чтобы проверить колеса и не дать им совсем увязнуть в болоте, я уже не думал остаться живым.

Вдруг поодаль от меня остановился грузовик; шофер и его спутник выскочили из кабины и подбежали к нам.

«Что случилось?» — спросил шофер.

Я сказал, что хотел сократить дорогу, поехал по полю и увяз в болоте.

Он все понял с полуслова.

«Сразу видно, что ты не из этих краев, поэтому так получилось», — сказал он. «Да, я из Армении», — подтвердил я. «Понятно! А машина цела? — спросил он. — Повреждений нет?» — «Нет».

Он вскочил в свой грузовик, развернулся и поехал к нам. Остановил машину на расстоянии двух метров. «Цепь!» — крикнул он солдатам, сидевшим в кузове машины. Один из них тотчас вынул цепь (такой цепью шоферы обматывают зимой колеса, чтобы они не скользили) и соскочил на землю.

Ясно ли теперь вам, из какого безнадежного положения они меня спасли?

Шофер цепью стал соединять наши машины... А в это время нас заметили фашисты и начали поливать с самолетов. Шофер не обратил на это никакого внимания. Да, хочу сказать вам, что он был украинцем, родом из этих мест, и звали его Игнатом (я узнал уже после). Но вот Игнат крикнул: «Садись!»

Когда его товарищи заняли места, а я и писарь вошли в свою кабину, Игнат включил мотор. Раз-два — и наш грузовик вылез из болота на твердую землю. Но Игнат не сразу отвязал цепь, он тащил нашу машину до самого шоссе. Когда мы очутились на дороге, Игнат сказал: «Теперь поезжай!»

Я поехал впереди, он — за мной.

Рядом с нами двигался тот же поток автомашин, телег, велосипедов, конных и пеших людей, сверху лился огненный дождь, падали убитые и раненые.

Так мы проехали много десятков километров... на конец прибыли к месту назначения. Здесь мне дали новые бумаги и приказали везти архив дальше, в глубокий тыл.

Покончив с делами, я побежал разыскивать Игната, чтобы попрощаться и поблагодарить его.

Я узнал, что он был ранен в правую руку, но, к счастью, рана оказалась легкой. Все же я был очень огорчен. Я от души сказал ему «спасибо». Игнат улыба-

нулся в ответ. «Не стоит, товарищ. Ведь я исполнил свой долг. На то мы и советские люди, чтобы помогать друг другу».

Арам внимательно посмотрел на меня.

— Храбрый парень этот украинец, — сказал я. — А ведь он правда спас вас от смерти.

— Да, — кивнул Арам. — Ну, как вы думаете, разве я не должен помогать людям, когда они в беде?

Я опустил голову...



М О В С Е С А Р А З И

ТОВАРИЩ МУКУЧ

1

Все изменялось, кроме Мукуча.

Десять лет прослужил он сторожем на кожевенном заводе. За это время дважды менялся государственный порядок и пять управляющих сменилось на заводе, но никто не замечал никаких перемен в Мукуче. Кого ни спроси — всякий скажет, широко раскрыв глаза: «Мукуч? Да он все такой же и все на том же месте».

Каждый новый управляющий в первый же день, вступая в должность и знакомясь со всеми закоулками завода, замечал Мукуча. И каждый раз, покончив с формальностями, новый управляющий многозначительно обращался к Мукучу: «Пока ты можешь продолжать свою работу, а потом я сделаю необходимые распоряжения».

Однако эти распоряжения не делались, и Мукуч, не понимавший слов управляющего, попрежнему оставался на своей должности. Как-то так выходило, что о нем забывали. За короткий срок начальник привыкал к фигуре Мукуча; неизменно каждому управляющему начинало казаться, что перед ним не живое существо, а некая заводская карниада, которой предначертано вечно и неизменно оставаться на том же месте.

Внешность Мукуча никогда не менялась. Он был средних лет — в том возрасте, когда люди, подобные ему, как бы застывают, не поддаваясь неумолимому времени.

Его мясистое, с грубыми чертами лицо, крупным носом, совсем ушедшим в черную косматую бороду, казалось слегка припухшим. А с чего бы ему раздуваться — разве что от голода или от сна! Скорее всего и от того и от другого. В больших, остолбенелых глазах его можно было прочесть застывшее выражение вечной заботы и печали.

Круглый год щеголял Мукуч в серой грязной одежде. Она была сшита из лоскутьев тонкого военного сукна, однако даже следы его первоначального цвета были утрачены, а под полушубком было намотано столько тряпья, что издали Мукуча можно было принять за мешок на двух ногах.

Но всего любопытней была обувь Мукуча: на ней отпечаталась вся история вздорожания сапожной кожи. Основанием для его обуви послужила пара тяжелых американских ботинок, обслуживших две пары ног еще до того, как им довелось попасть к Мукучу. Из-под огромного количества заплат ботинки уже невозможно было разглядеть. И чем только не прикреплялись заплаты — проволокой, гвоздями, нитками!

Положим, нельзя не признаться, что каждому управляющему, вступавшему в должность, тотчас бросалось в глаза это странное несоответствие (сторож кожевенного завода — и такая жалкая обувь!). И новый начальник неукоснительно распоряжался отпустить Мукучу кожи для обуви. Но Мукуч через несколько дней менял эту самую кожу на муку и продолжал носить все ту же свою старую обувь, заплаты на которой непрерывно умножались.

Сказать по правде, Мукуча не особенно заботила его обувь: ведь закажи он новые ботинки, все равно они рано или поздно износятся, а старым — в этом он был убежден — не будет износу, они будут служить ему вечно.

Каждому, кто встречал Мукуча впервые, думалось, что это беженец из Турции. А сам Мукуч, если бы спросили его, где он родился, не смог бы ответить толком. В детстве с отцом скитался он из одного селения в другое, но где именно обрел плоть и дыхание этот армянин странник, даже ему самому оставалось неизвестным. Впрочем, Мукуча смело можно было назвать беженцем хотя бы потому, что все его достояние заключалось в одеяле, сшитом из лоскутков, и в измятой кастрюле. Мукуч привык к нужде и никогда не скорбел: ведь начал он свою жизнь в то самое время, когда весь армянский народ скитался по белу свету.

— Был бы хлеб, все остальное пустяки, — говорил он.

Жену и четырех детей Мукуч устроил в развалившемся домике у самого завода. И не будь этих неожиданных жильцов, в домик вряд ли бы еще когда-нибудь вступала человеческая нога: крыша над крыльцом покосилась и как будто только из жалости медлила упасть.

Дети весь день пищали и мяукали, как котята. Мукуч давно привык к их крикам: они просили хлеба.

— Хлеба! — этот вопль не смолкал в семье Мукуча.

Вот почему всякий раз, когда менялся государственный порядок, Мукуча интересовал единственно лишь вопрос о хлебе.

— Правду ли говорят, что хлеб подешевеет? — спрашивал он по нескольку раз в день встречного и поперечного.

Кто говорил и где? Вернее всего — никто и нигде, а только Мукучу от всей души хотелось услышать эту отрадную весть.

Когда наконец при советской власти бедняку поручили доставлять для завода хлеб, от радости язык этого молчаливика сразу развязался. Мукуч был счастлив, как будто все хлебные пайки предназначались ему одному — и он мог наконец отъестся за все долгие годы нескончаемой голодовки.

— Я буду доставлять рабочим хлеб! — И не было человека, которому бы он этого ликующе не возвестил.

Надо было видеть, как ревностно исполнял он свои обязанности. С огромным мешком за плечами Мукуч бегал без усталости, таскал свой тяжелый груз; беднягу радовала близость к хлебу, теплота его, аромат. Порой он даже начинал мечтать: а вдруг дадут ему огромный каравай, да и скажут: «Мукуч, бери и наслаждайся!»

Когда хлеб запаздывал и Мукучу приходилось по долгу выстаивать в отделе снабжения, на сердце у него темнело. Ему начинало казаться, что вот-вот придут и скажут: «Хлеба больше нет, что хочешь, то и делай!»

Днем Мукуч то и дело навещался домой. И он и жена его впадали все в одну и ту же ошибку. Пустой желудок Мукуча нашептывал: «А что, если жена достала овощей и состряпала обед?» А жене в это время думалось: «Уж не раздобыл ли Мукуч хлеба и не принесет ли его домой?»

Разочарованная жена приходила в ярость и начинала обычную «хлебную войну».

— Приперся домой с пустыми руками! Ему и горя мало, что дети голодают, — вопила она.

Голос ее крепнул и отзывался в ушах Мукуча каким-то бешеным визгом. Хотя он был терпелив, как Сократ, однако тут не выдерживал:

— Опять завела свою зурну? Успокойся, ты бы посмотрела, что другие едят.

И он под крики жены уходил на завод.

3

Советская власть укрепилась. Одни радовались ей, другие ее проклинали, сознавая себя лишенными богатства и положения. И только Мукуч казался чуждым наступившей перемене.

Ликование первых дней, приход новой власти, бурные речи, бодрый марш красных частей радостно встретили и невозмутимого Мукуча. Раза два он побывал на митингах и собраниях; стоя позади всех, Мукуч

прислушивался к речам, и ему по временам казалось, что он все понимает: ведь говорилось о правах таких же отверженных, как он сам.

Но вот прошло несколько дней. Тревожные мысли о хлебе угнетали бедняка, речи ораторов представлялись ему непонятными, чуждыми, и Мукуч перестал ходить на собрания.

«Хлеба, хлеба!» Ему хотелось, чтобы все голоса, все ораторы тысячами уст повторяли одно это слово, томившее изголодавшееся сердце его: «Хлеба!»

Все, что не касалось хлеба, все эти речи и резолюции, Мукуч считал «праздной болтовней». Крестьяне только по воскресеньям и в длинные зимние вечера, плотно закусив, несут околесицу на потеху себе и людям. А вот горожане, которых Мукуч считал «барам», «знатными», могут позволить себе празднословить в любое время.

К разряду «знатных» Мукуч причислял всех, кто одевался по-городскому и читал хотя бы только по-печатному. Хотя хлеб и прочие продукты, а также жалование выдавались на его глазах, Мукучу постоянно мерещилось, будто все окружающие его люди где-то в другом месте получают и хлеб и «все такое».

«Голод может выдержать бедняк вроде меня, богатому голодать не под силу», — мысленно твердил себе Мукуч.

Да и понятно. Мукуч вырос при старых порядках, а ведь впечатления прошлого внедряются в голову навсегда, залегают горстью твердых орехов: сколько ни колоти по ним — ядра не достать.

4

Но как переменялся мир! Мукуч все же видел и слышал, что творилось вокруг. Кто был наверху, скатился под гору, а низы поднялись.

«Слов нет, — думалось ему иногда, — оно хорошо, что все теперь друг друга «товарищами» кличут (Мукучу было по сердцу это слово)». Но почему же его-то все «по-домашнему» Мукучем зовут? Пройдут мимо и скажут: «Как поживаешь, Мукуч?»

Разумеется, Мукучу приятно, когда с ним ласково говорят. Но раз новый порядок установился, пусть и его «товарищем» называют.

Теперь вот твердят, что власть перешла к беднякам да рабочим, но как их, этих горожан, разберешь, что они задумали, что у них на уме. Небось Мукуча не назначат «старшим» куда-нибудь? Ведь, говоря по правде, должности и права следовало бы раздавать, как мать раздает куски хлеба голодным детям. Нет, Мукучу ничего не перепадет. Хоть проживи он сто лет, на голове у него будет все та же дырявая папаха!

Скажите на милость, почему заводской цирюльник постоянно отделяется от Мукуча? Как ни зайдет к нему Мукуч, он все твердит:

— Повремени маленько, вот кончу сперва...

И сколько раз Мукуч ни заходил к цирюльнику, все то же слышал и возвращался ни с чем. Наконец обиделся бедняк и перестал заходить вовсе, а ведь и не припомнит он, когда последний раз брился.

Мукуч отлично понимает, что цирюльнику просто не хочется работать на убогого человека: об его бороде только бритву даром иступишь.

И то сказать, не слеп же Мукуч — видит он прекрасно, как этот жулик меняет новые, только что купленные бритвы на свое старье. Ворует он и материю, что отпускается ему на передники и полотенца. Мукучу известно, что этот прохвост стал советским цирюльником, чтобы устроить собственные делишки: стащить всю цирюльничью снасть и открыть собственную лавочку.

Все это Мукуч понимает, только не хочет наживать врагов. А вот если бы суд и расправу поручили ему, он бы знал, как проучить нечестивца.

...Да, все меняется, кроме Мукуча!

Ох, и не везет же Мукучу!

Появился новый управляющий, настойчивый, низенький, суховатый, в очках. Он совсем не похож на своих предшественников. Мало того, что новый начальник постоянно замечает Мукуча, он ежедневно делает ему замечания. Юркий, шустрый, управляющий так и рыщет по всем уголкам и закоулкам завода. Что

он такое затевает — Мукучу шевдсмек. Он прямо сбился с ног, не зная, как отличиться перед управляющим. Через месяц у Мукуча пропала последняя надежда на это; ему даже стало казаться, что управляющий твердо решил его уволить и только не знает, как и к чему придраться.

Но и это тяжелое бремя с честью вынесла бы железная спина Мукуча, если бы не печальный случай.

Однажды утром оказалось, что с заводского склада исчезла большая кипа кожи.

Само собой, беда обрушилась на Мукуча. И в милицию его звали для допроса, и управляющий выспрашивал его по нескольку раз в день.

— Ты сторож, значит ты и виноват!

Мукуч божился и клялся, что он тут ни при чем. И видел, что ему не верят. Вконец обозлившийся управляющий твердил, как сорока:

— Ты сторож, значит ты и виноват!

Этого мало. Не давала Мукучу покоя и жена.

— Мужа твоего непременно заберут, — жужжали ей в уши соседки.

И каждый божий день, стоя на коленях, она редела белугой:

— Только этого не хватало, чтобы муженька оклеветали и всех нас пустили по миру! Неужели же никто не заступится за нас? Ясно, что тут не без злого умысла...

— Ну, понесла опять! А мне хоть бы что, — говорил ей, хмурясь, Мукуч, как подобает истому мужчине.

Но жену это мало успокаивало.

Она продолжала плакать, окруженная соседками; дети, глядя на нее, пугались и раздражались неистовыми криками.

День темнел, и в сердце у Мукуча наступали сумерки.

Зашел он как-то в заброшенный домишко на заводском дворе, без дверей и окон, присел на камень и сумрачно уставился в землю.

«А ведь дело мое дрянь, по головке не погладят, заберут, пожалуй. Кто же заступится? На меня-то напле-

вать. А вот что будет с детишками? И кто мог стибрить эту проклятую кожу? Никто, кроме прохвоста цирюльника. словно все ослепли и не видят, как этот жулик нашептывает что-то управляющему. На меня доносит, в краже обвиняет».

День угасал, и на сердце у Мукуча сгущалась тьма. Вдруг он услышал громкий голос:

— Где ты, Мукуч?

Мукуч вздрогнул, смутился и молча вышел.

Перед ним стоял рабочий Маргар.

— Куда же ты провалился? Целый час ищу тебя. Айда!

5

«Вот не было печали! — подумал Мукуч. — Уж лучше бы убили — один конец. А то хотят на собрании позорить». И, как назло, Маргар привел и посадил Мукуча в первом ряду. Теперь понятно — хотят подстроить так, чтобы всем был виден его позор.

А околько народу! И все сердитые... Уж лучше бы Мукучу провалиться сквозь землю, только бы не позориться на виду у такой толпы людей.

И видит Мукуч: на возвышении большой стол, покрытый красным сукном, а за ним пять-шесть человек. Все люди знакомые, а на взгляд будто чужие. И хочется спросить их: «Что вам сделал Мукуч? Чего вы так на него уставились?»

Справа страх, слева стыд — что будешь делать? Несмотря на теплую весеннюю погоду, Мукуч весь дрожит.

Сидящие рядом рабочие ободряют Мукуча. Но он точно отлох, и мысли его носятся далеко.

Нет, дело дрянь, не сдобровать Мукучу. Что подедаешь с такой толпой? Понятно, что управляющего не выдадут. Ведь он «знатный барин», не чета убогой деревенщине Мукучу. Вот он сидит, управляющий, самодовольный, и смотрит сквозь очки, точно хочет сказать: «Все вы у меня в руках...»

А что может сказать Мукуч в свое оправдание? Ну, положим, скажет он: «Я человек бедный, темный, отку-

да мне знать, кто украл и как, клянусь богом и землей, ничего не знаю...»

Со стены глядит на Мукуча большой портрет Ленина.

«Хороший человек, говорят. Вот будь здесь Ленин, он бы за меня заступился... Не дал бы мне погибнуть...»

Звонок. Собрание открыто. Говорят что-то такое, чего Мукуч никак не может понять. Приходит он в себя, только слышав зычный голос рабочего Саака. Говорит он понятно, но зато и сердито — точно не словами, а искрами сыплет. Видать, что зол на Мукуча. Но что за странность? Он назвал его «товарищем». Коли Саак злится на Мукуча, какой же он ему товарищ?

Этого мало: пока Саак говорит, управляющий все время подпрыгивает, словно под ним иголка. Да и руку то и дело поднимает, будто ответить хочет. И не успел Саак закончить речь, а уж управляющий, весь красный, что-то бормочет и торопливо покидает собрание. Все смотрят на него, а рабочий Серго шепчет Мукучу:

— Видал, Мукуч, как прокатили мы твоего управляющего? У нас, рабочих, расправа коротка!..

Нет, тут что-то не так. Опять про «товарища» Мукуча заговорили. И как будто его хвалят. Слышите? «Мукучу нипочем ни холод, ни голод, всегда он твердо стоял на своем посту. Будь управляющий человеком хорошим, он хоть бы раз спросил: «Где ты ночуешь, Мукуч, и как живешь?»

Несомненно, Мукучу хотят помочь, защитить его. И в сердце у бедняка распутываются незримые нити: словно замерзал он и вот теперь стал оттаивать.

Напряженно, затаив дыхание, Мукуч слушает. И — странное дело — говорят о нуждах таких бедняков, как он.

Вдруг Маргар толкает его.

— Слово принадлежит товарищу Мукучу, — повторяет председатель.

А Маргар шепчет на ухо:

— Теперь ты должен говорить, Мукуч. Говори откровенно, не стесняйся.

Мукуч встает ошеломленный, пытаясь отдышаться, и начинает тихим, сдавленным голосом:

— Товарищи, человек я бедный, но душой своей не торгую. Кто украл — мне ничего не известно. Одно скажу: подвел меня злой человек... а вы уж поступайте, как говорит вам совесть...

И, тяжело вздохнув, садится. Председатель добавляет несколько слов, еще две-три короткие речи — и собрание закрыто. Рабочие обступают Мукуча:

— Товарищ Мукуч, не унывай, наша взяла, помни, мы все горой за тебя.

Подходят, хлопают по плечу, величают «товарищем».

Мукуч выходит. Сердце его так полно, как будто он плывет по воздуху. Домой ли он идет или на завод — сам не знает. Сколько оказалось у него друзей и защитников!

Словно с четырех сторон кричат тысячи голосов: «Товарищ Мукуч!»

И переполнилось сердце Мукуча радостью, понял он, что ему теперь ничто не страшно, впервые почувствовал он, что не одинок, что за спиной у него могучая защита — его товарищи. От этой мысли рос он, мужал, руки наливались силой. И гордо воскликнул Мукуч:

— Эге, знаете, теперь меня никто не победит!..

6

Через три года я вернулся в родной город. Однажды вечером отправляюсь на собрание по поводу какого-то политического вопроса. Слушаю ораторов, а сам смотрю на рабочих, сравнивая их настоящее с прошлым. Сколько перемен!

На трибуну поднялся коротко стриженный молодой человек, подождал немного и начал говорить вдохновенно, смело, широко, как рабочий, влюбленный в революцию:

— Товарищи, нас окружили и хотят задушить. Пробовали хлебом душить — просчитались, силой — не

вышло. Так пускай зарубят у себя на носу: старые времена прошли, наши головы светлы, глаза раскрыты. Теперь нас никому не победить.

Оглушительные рукоплескания были ему ответом.

Лицо оратора мне показалось знакомым. Хотел спросить рабочего Маргара, но он предупредил:

— Знаешь, кто это? Ведь это наш Мукуч.

— Как Мукуч? Где же его косматая борода и стопудовые сапоги?

Маргар засмеялся.

— То-то и оно-то. Сапоги и мешок его сданы в музей, а борода уступила бритве. Если б не жена, он бы и с усами расстался. Мукуч теперь на заводе у нас рабочим. Работает — словно ему двадцать лет.

...Возвращаясь домой, я вспоминал о прошлом. И думал: как изменился наш Мукуч, без которого немыслим был наш родной город.

Шел я весь во власти воспоминаний... А в ушах звучал мужественный голос председателя Саака:

«Слово принадлежит товарищу Мукучу...»



АКСЕЛЬ БАКУНЦ

ПИСЬМО РУССКОМУ ЦАРЮ

Под вечер мой дед Арутюн любил посидеть под сводчатыми воротами, в нише, нижняя часть которой примерно на высоте одного метра была аккуратно обтесана и представляла собой нечто вроде каменного стула.

Сядет бывало на свое место, опираясь на красную кизилую палку, склонит голову и, если у него нет под рукой собеседника, разговаривает сам с собой и улыбается. Когда он улыбался, его синие глаза суживались и под глазами появлялись тоненькие морщины.

Сидеть под вечер у ворот было старой привычкой деда. С лугов возвращались коровы, с пахоты — усталые, неповоротливые быки, пережевывающие стертые зубами траву, выщипанную у края дороги. Сидя на месте, дедушка приказывал кому-нибудь из нас:

— Не берите завтра быка Ала. — Или же: — Посмотрите, отчего это жеребенок хромает.

Затем он вставал, сгребал кизиловой палкой траву и придвигал ее к быку или же гладил больную ногу жеребенка.

С наступлением сумерек начинали звонить церковные колокола. При первом звоне дед снимал папаху,

крестился, даже если в этот момент он стоял около быка Ала. И, крестясь, не выпускал из руки кизиловой палки.

Мы все знали, что после этого он крикнет:

— Дочь Нази, открой двери!

Дочь Нази была моя бабушка, сгорбленная от старости, глухая на одно ухо. И дочь Нази открывала дверь, скрипевшую, точно колесо арбы на льду.

Это сидение у ворот преследовало еще другую цель.

Наш дом выходил на главную улицу деревни, и ни один проезжий не мог его миновать.

Возвращавшиеся с полей крестьяне, кто с вязанкой сена на спине, кто неся на плече веревки от ярма и погоняя перед собой усталых быков, кто верхом на осле, волоча по земле ноги, — одним словом, кто бы ни проходил по улице, все должны были пожелать дедушке «доброго вечера». А дедушка спрашивал их, кончили ли пахоту или какова трава на такой-то горе.

Если на улице появлялся незнакомый человек, дедушка говорил торопливо кому-нибудь из нас:

— Видно, чужой... Догони скорее, зови к нам.

Мы бежали за ним и не отпускали его до тех пор, пока не узнавали, чей он гость.

— Дедушка, этот человек приехал к Исаджаненцам. Он пошел к ним.

Дедушка начинал докапываться, к кому из Исаджаненцев явился в гости незнакомец, бывал ли он у них раньше, близко ли они знакомы. Если он в чем-нибудь сомневался, то обращался к жене:

— Дочь Нази, в каком году это было, в прошлом или в позапрошлом, когда сын Адама Исаджаненца пригласил сарушенского гончара? Этот прохожий напоминает мне того гончара.

Бабушка начинала переспрашивать его:

— Что? — И лишь после повторного вопроса высказывалась о сарушенском гончаре.

Если это бывало летом, то дедушка, после того как загонит скот, кряхтя, взбирался на тахту, расстегивал архалук и, как жнец, обматывал голову белым платком. Отведав из глиняной миски несколько

ложек холодного спаса¹, он откидывался на подушку и дремал.

По утрам он поднимался раньше всех. Когда пред-
рассветная прохлада освежала воздух и навевала
самый сладкий сон, дедушка уже будил нас:

— Ну, вставайте, вставайте, вон уже солнце по-
казалось, ну...

Мы еще глубже зарывались под одеяло и притвор-
но похрапывали. Вдруг чья-то рука начинала щеко-
тать наши пятки. Мы вскакивали, садились на посте-
ли и протирали заспанные глаза.

— А ну, вставайте!.. Чтобы мужчина так долго
спал! Вот зимой отоспитесь, как медведи... — говорил
он, тыкая в нас своей кизиловой палкой, и сам смеял-
ся вместе с нами.

— Вставайте, я в ваши годы был мужчиной хоть
куда. Ведь скоро вам пора жениться, вставайте!..

Нам тогда было лет по восьми, десяти. И мы вста-
вали, спросонья не отличая своих лаптей от чужих,
пререкаясь, кому погонять быков, кому идти на пахо-
ту, хотя это было совершенно излишним, так как дед
заранее распределял, кому что делать, а дочь Нази
уже развешивала во дворе на кольях узелки с нашей
провизией.

С самого рассвета начиналась будничная, тяже-
лая деревенская работа.

Зато зимой было хорошо. Работы мало: скотина —
в хлеву, а сено и саман — на сеновале. Дед уже не
сидел на камне у ворот и не ложился во дворе на
тахту. В солнечные дни, ступая по мерзлой земле,
приходили к тахте куры, потешно вытягивали шею,
взлетали и, усевшись чинно в ряд, прятали под кры-
лышками головы.

Дедушка не отходил от курси². Он не любил
ходить на деревенскую площадь. Усевшись у очага,

¹ Спас — суп из кислого молока.

² Над тониром (торней) — вырытой в земле печью — устраи-
вается приспособление вроде столика с короткими ножками,
которое накрывается войлоком, паласами для сохранения тепла
в тонире. (Примеч. ред.).

набрасывал на плечи шаль и что-то бормотал, улыбаясь по временам улыбкой доброго человека.

Гости у нас не переводились, в особенности зимою. Кто бы ни пришел к дедушке по делу или так, дедушка не выпускал его раньше чем через два-три дня.

Если же приезжал из дальней деревни какой-нибудь старый знакомый или приятель, у нас начинался настоящий пир. Сидели до рассвета, вспоминая давно минувшие дела, старинные предания о тех, кого уже не было в живых.

Мы сидели до тех пор, пока наши головы от усталости не падали на курси; тогда бабушка начинала нас толкать и будить. Сонные, поднимались мы с места для того, чтобы под одеялом дослушать их беседу.

Дедушка так часто рассказывал гостям о былом, что стоило только ему начать разматывать клубок воспоминаний, как мы уже знали, о чем он будет говорить: о том ли давнишнем случае в развалившейся часовне, когда он держал пари с товарищами, что отправится ночью в часовню и оставит там свою папаху, и как оттуда выскочила лиса, напугав его так, что он потерял дорогу и до утра блуждал по огородам; или о том, как в горах волки напали на табуны лошадей и как он сам, спрятавшись между лошадьми, спасся каким-то чудом.

Рассказывая, дедушка сетовал, что прошли дни молодости, и заканчивал всегда фразой:

— Мир будет стоять вечно — да вот как соблюсти себя?..

Мы были наивными детьми, не смыслящими ничего в добре и зле. Для нас самым могущественным, самым страшным человеком был рассыльный сельского старшины. Старшина, живший в соседнем селе, вел все дела в нашей деревне через рассыльного Ибиша. Ибиш часто появлялся на крыше или же наклонялся к ердику и кричал:

— От старшины есть приказ... Требуют подати в три дня. Кто не заплатит — Сибирь.

Передавая даже самый простой приказ, Ибиш не

мог обойтись без угрозы. Никакая просьба, никакая мольба не могли смягчить его сердце.

— Ты хочешь, чтобы меня согнали с земли царя?.. — говорил он. — Нет, нет, неси! Что я отвечу старшине? Ты хочешь, чтобы он осрамил меня перед всем честным народом? Неси, а то Сибирь! Знай!

Рассыльный Ибиш казался нам ужасным и могущественным, так как дед, бывший в наших глазах бесстрашным человеком, не боявшимся волков и других зверей, и тот делался жалким, когда рассыльный кричал в ердик или когда, сидя у ворот на камне, он видел подходящего к нему Ибиша, сухо и грубо сообщавшего о приказе старшины.

— Да ослепит тебя наша хлеб-соль¹, Ибиш!

Дедушка произносил эту фразу, когда рассыльный отходил настолько, что не мог ничего расслышать.

И каждый раз, когда появлялся Ибиш, у деда исчезала улыбка, он забывал и о нас, и о доме, и о корове, и о быке. После каждого посещения Ибиша он говорил с глубоким вздохом:

— Ах, Егор, если бы ты вдруг вернулся... Увижу ли тебя когда-нибудь!

После этих слов и нам делалось грустно, хотя никто из нас не видел дядю Егора, сосланного много лет тому назад.

О его ссылке ходили противоречивые слухи, но ни один из них не был правильным. Мы знали только, что дядя, будучи солдатом, оказал сопротивление и якобы стрелял в командира. Для нас эта история была темной; мы его никогда не видели и не знали страны, в которой, по выражению деда, «и зимой и летом — снег». Он не говорил с нами о своем сыне, и если в зимние ночи один из сидевших у очага гостей случайно или неосторожным вопросом напоминал ему об этом, дедушка вздыхал, пожимал плечами и после недолгого молчания продолжал беседу.

Это обстоятельство наводило какую-то тень на наши светлые дни. Старшие делались грустными, у

¹ «Да ослепит тебя наша хлеб-соль» — восточное проклятие, вроде: «Чтобы тебе пусто было» или «Чтобы ты ослеп».

бабушки на глазах показывались слезы, когда она смотрела на спрятанные в сундуке носки сына. Если мы спрашивали у нее, далеко ли дядя, она вместо ответа наклонялась, целовала нас, давала нам в руку что-нибудь сладкое.

Мы целыми днями не вспоминали об этой истории. Мы занимались пахотой, севом, работали с рассвета до заката, и нам казалось, что в нашей семье все благополучно, что никакая забота не тяготеет над нами.

Но иногда из неведомых источников возникали слухи, особенно в соседних селах, а оттуда эти слухи долетали до деда. Шепотом передавали, что Егора видели и будто он под чужим именем живет в таком-то городе; тогда дедушка садился на коня, ехал проверять эти слухи и возвращался разочарованный. То выдумывали, как будто Егор перешел границу и отправился в иранскую землю, оттуда он пишет, но его письма перехватывают.

Ужаснее всего была эта неизвестность, так как если бы узнали наверняка, что его больше нет, погоревали бы и с годами утешились. Горе наших было подобно тлеющему огню, который то воспламенялся в яркую надежду, то превращался в слабую, мерцающую искру.

Если в зимнюю ночь кто-нибудь из нас просыпался и высовывал голову из-под одеяла, то видел бабушку и дедушку сидящими за курси. Иногда они молча дремали. Бабушка вдруг вздрагивала, протирала глаза, придвигала к себе посуду с рисом и по одному перебирала зернышки. Каждую ночь они вполголоса и неторопливо беседовали.

— Что же он сказал?

— «Посмотрю»... Говорил, что очень трудно...

— Что?

— Трудно! Трудно!

— Чтобы наша хлеб-соль отняла у него зрение!

— Ничего не поделаешь, должны дать... Может, привезет весть.

И мы понимали, что существует человек, который, если захочет, может привезти точные сведения о дяде Егоре. Кем был этот человек, мы не знали. Было изве-

стно, что иногда рассыльный Ибиш берет у нас для него сыр и масло. Как-то он взял двух баранов и на самом пороге хлева поклялся, что обязательно скажет обо всем этому человеку. Рассыльный погнал баранов в соседнее село, где жил старшина, у которого часто бывал пристав.



В один из осенних дней дедушка, выезжавший рано утром в соседнее село, радостно сошел с коня, снял с него узду и, пока конь входил в конюшню, поспешил сообщить нам, что он узнал от старшины, будто дядя мой жив и проживает в таком-то городе.

— Да, как он называется, проклятый?.. Вот тебе и память! Так и вертится на языке, всю дорогу твердил, чтобы не забыть.

Нужно было послать прошение в самое высокое место, самому русскому царю, как говорил старшина. Рассказ деда казался сказкой. И покуда бабушка, растерявшись от радости, не переставая, солила похлебку и мешала ее, мы удивленно смотрели на нашего низенького седого деда, синие глаза которого сияли восторгом надежды.

— Дедушка, когда царь получит твоё письмо, что он сделает?

— Прочтет и прикажет приставу, чтобы он Егора Адамова, где бы тот ни находился, вернул в целости и невредимости отцу.

— А как пойдет письмо?

— Эх вы, дети непонятливые... На то и почта, есаул, пристав. Понесут и положат царю в руки. Старшина говорит, что нужно написать на хорошей бумаге и золотым пером, иначе не примут.

Наше горячее детское воображение рисовало золотое перо, которым на блестящей бумаге пишут прошение деда; слова сверкают; через горы на крыльях птицы письмо достигает золотого дома, и птица кладет письмо царю на трон.

В этот вечер бабушка выбрала лучшие куски сыра, набила ими кожаную кошелку и завязала ее. Когда же дедушка велел накормить ночью досыта

бычка с цветком на хвосте, мы поняли, что он погонит в город и бычка, нашего всеобщего любимца, которого мы берегли как зеницу ока.

Однако никто не возразил деду. Рано утром все мы были на ногах, и каждый из нас старался подольше гладить спину бычка; мы выбирали из травы сухие цветы и подносили ему.

Дедушка привязал к седлу масло и сыр и погнал вперед бычка. Выходя из ворот, бычок оглянулся на полуоткрытую дверь и замычал. Из конюшни ему ответила его старая мать.

Лошадь и бычок скрылись за каменной изгородью, виднелась только папаха дедушки, которая, как черная кошка, бежала по стене; мы постояли еще немного и вошли в дом.

Через два дня дедушка вернулся. Прощение ему написал мирза¹. Давид и при помощи старшины сдал его на почту. Ушел бычок с цветком на хвосте, уплыло масло с сыром. Взамен всего этого дед привез клочок бумаги, выданный ему в знак того, что письмо принято.

— Дочь Нази, положи в надежное место, храни как зеницу ока. Ответ придет по этой бумажке. Если придет...

И маленькая бумажка, которую бабушка положила в сундук, завернув крепко в тряпку, стала для нас самой дорогой и самой таинственной.

Что заключала в себе эта маленькая бумажка? Где был наш бычок с цветком на хвосте, зарезали его или он мычит по чужим дворам? Мы думали об этом до одурения, и даже во сне нам снился бычок, евший из стойла вместо травы бумагу...

Прошла зима, а ответа на письмо не было. Все село знало об этом случае, дедушка с наивной похвальбой рассказывал, что он написал письмо русскому царю. Нашим гостям он описывал, как мирза Давид писал письмо.

— Эх, да разве же мы видели свет! Такое у него перо, что приложи он его к камню — и камень трес-

¹ Мирза — грамотей, писец.

нет... Как увидел меня, посмотрел и говорит: «Хочешь, скажу, зачем ты пришел, Арутюн? Ты хочешь, чтобы я написал царю письмо о твоём сыне!» Я удивился. Он раскрыл книги закона, читал, читал, взял одну, другую, нашел наконец. Приложил к бумаге золотое перо... Просто диво! Что за письмо, что за сила!..

Слушатель выражал свое восхищение мирзой Давидом и его пером и в свою очередь рассказывал какую-нибудь историю о его мудрости и изобретательности.

— Хотя он и мирза, но учение адвоката.

— Дедушка, а почему не приходит ответ?

— Ох, дети, дети, вы думаете, что у царя нет других забот? А война, а заботы о населении? В день он, почитай, получает две тысячи писем. Верно, придет и наш черед... А то для чего же дали нам эту бумажку? Так на ней и написано: «Письмо русскому царю от Арутюна Адамова».

* * *

Пришла весна. Как-то рассыльный Ибиш крикнул, что в соседнем селе собрание.

— Назначен новый пристав, выборы нового старшины. С каждого дома по человеку!..

Дедушка не пошел на выборы старшины.

Бык Ала в этот день заболел, из его ноздрей капал гной. Дедушка привязал к его лбу горячую золу, гладил ему спину и говорил ласковые слова.

Спустя несколько дней, когда больной бык поправился и, осторожно передвигая ноги, стал облизывать во дворе камни, дедушка, заняв свое обычное место, смотрел на идущих с полей крестьян. Вдруг показался рассыльный.

— Новый пристав зовет тебя завтра утром. Явись во-время, а то, говорят, он шутить не любит.

— С добром, Ибиш? — спросил, вставая с места, дедушка.

— Точно не знаю. Так он приказал мне.

— Кто?

— Новый старшина, Арстам Мукеланц.

Дедушка больше ни о чем не спросил. Ибиш ушел.

Участие Арстама в этом деле было плохим признаком. У него с дедом были старые счеты.

— Что говорила сова? — спросила бабушка.

— Зовет Арстам, новый старшина.

— А?

Дедушка повторил слова.

— А не ответ ли получен?

— Может быть. А если и не получен, вот-вот должен прийти. И он сказал, что зовет пристав. А? — обратился он к нам.

Мы подтвердили, что Ибиш сказал именно так, но дедушка послал нас к нему, чтобы разузнать точнее. Рассыльный сначала рассердился, что мы нарушили его послеобеденный покой, затем сообщил нам, что деда вызывает пристав, он получил приказание от Арстама Мукеланца.

— Как раз будет так, как говорила ты, дочь Нази, — сказал дедушка, выслушав нас. — Вероятно, пришел ответ. Или, как знать, может, он хочет спросить о чем-нибудь от имени царя.

Перед сном дедушка велел мне встать утром пораньше. Я должен был сопровождать его и стеречь лошадей, пока дедушка будет представляться приставу.

Моя радость была невероятной. Я должен был увидеть соседнее село, должен был, сидя за спиной дедушки, подняться на вершину горы, которая с нашего двора казалась очень далекой. Наконец я должен был увидеть пристава. При этой мысли радость сменялась трепетом и страхом.

На рассвете при первом же зове я вскочил с постели и быстро оделся. Во дворе дедушка седлал коня. Немного погодя, мы сели вдвоем на коня и пустились в дорогу.

Все за селом мне было ново и незнакомо. Моим вопросам не было конца. И, не получив еще ответа на один вопрос, я задавал другой, а дедушка отвечал мне дрожащим голосом, порою покрикивая на коня и натягивая удила, когда конь спотыкался о камень.

— Вон в том белом доме с красной крышей, — показал мне дедушка с вершины горы, — живет пристав.

— Дедушка, если царь позволит дяде вернуться, через сколько дней он будет у нас?

— Не успеешь и моргнуть... Что стоит царю? Хочет — в один день велит зарезать тысячу баранов.

— Тысячу баранов?

Но вот мы у белого здания. Сколько нового для меня! Широкие улицы, красивые дома. Много народу. Перед лавками толпа: продавали масло, коров, шерсть; один расхваливал свой товар, другой громко торговался с покупателем. Несколько человек поздоровались с дедом. Это доставило мне удовольствие.

«Откуда они знают моего деда в таком далеком месте?» — думал я.

Мы слезли перед белым домом, отвели лошадь во двор, поставили в тень. На крыльце сидели крестьяне — армяне, турки, — одни беседовали между собой, другие лежали под стеною, подложив под голову завернутую в тряпки провизию. Дедушка смешался с ними. На минуту я потерял его из виду, сердце мое наполнилось ужасом, и, завидев его черную папаху, я крикнул:

— Дедушка!

С улыбкой на лице он подошел ко мне, велел хорошо присматривать за лошадыо и не позволять ей приближаться к другим лошадям.

— Смотри, лягут тебя, будь осторожен. — И, подбадривая, добавил: — Если ответ получен, куплю тебе хурмы...

Он не закончил. Кто-то позвал сверху:

— Адамов Арутюн!

Я видел, как заторопился дедушка. Сидевшие на ступеньках крестьяне посторонились и пропустили его. Затем черная папаха деда скрылась за дверью.

Зажав крепко в руке узду лошади, я не отрывал взгляда от закрытой двери. Иногда дверь открывалась, входили и выходили какие-то люди с блестящими пуговицами, а некоторые из сидевших на ступеньках вставали и почтительно кланялись им. В моих глазах все они были приставами, и я не мог отличить, который из них был старше.

— Пристав вон тот? — спросил я у сидевшего рядом со мной крестьянина, голова которого была обвязана грязной тряпкой. На этой тряпке и на лице крестьянина были капли засохшей крови.

— Это урядник Васо, пристав — в комнате, — ответил он.

Я не спросил, кем урядник приходится приставу. Но любопытство мое еще больше усилилось: если у урядника так много золотых пуговиц, так во что одет пристав? А царь?

Мне показалось, что в белом доме кто-то кричит и топает ногами. Некоторые из сидевших на ступеньках людей спустились и стали во дворе.

Вдруг двери распахнулись, в людском водовороте замелькали руки, тела, множество золотых пуговиц и среди всего этого — седая голова деда.

И пока я успел крикнуть и, держа в руке узду, подбежать к крыльцу, дедушка уже отряхивал одежду. Кто-то сверху выкинул ногой его черную папаху. Двери снова закрылись.

Несколько человек решились подойти к нам. Но никто из них не пикнул. А когда на лестнице показался урядник, они тотчас же отошли. Дедушка вытряхнул пыльную папаху и обратился ко мне:

— Держи лошадь, дитя... Ответа нет.

У него изо рта пошла кровь. Я увидел пустое место от выбитого зуба. Кровь вместе со слюной капала на его архалук.

Я подвел лошадь. Один из наших крестьян помог мне и деду взобраться на нее.

Мы молча пустились в путь.

Дедушка понурил голову; он левой рукой держался за подбородок. Я крепко обнимал его, прислонил голову к его спине, слыша его прерывистое дыхание.

Я больше не мог сдерживаться, и слезы, словно прорвав плотину, хлынули наружу. Я теснее прижался к его спине.

Вечером дедушка, охая от зубной боли, с трудом рассказывал о том, что произошло за дверью, когда он представился приставу; Мукеланц Арстам пошептал что-то последнему на ухо, тот вспыхнул, выругал-

ся и крикнул, топая ногою: «Я тебе покажу, что значит посылать письмо царю!»

Напрасно пытался дед объяснить приставу через переводчика, что он послал письмо царю только насчет своего сына Егора Адамова.

— Как только я хотел раскрыть рот, он меня ударил. В глазах потемнело... Уж не помню, как меня вышвырнули за дверь... Арстам ухмылялся в усы.

* * *

С того дня прошло много лет. Дедушка давно умер. Земля на его могиле осела, и покрывился могильный камень.

До последней минуты наивный старик верил, что когда-нибудь от царя придет ответ. Вспоминая иногда посещение пристава, он начинал волноваться, и его надежда тускнела. Но затем он снова обнадеживал и себя и нас.

— Дочь Нази, я умираю. Гореть тебе в вечном огне, если, получив ответ, ты не придешь и не сообщишь об этом моей могиле, — сказал он перед смертью. Спустя год умерла и бабушка.

Дочь Нази легла рядом с ним тоже с пустыми руками. С ней похоронили и тот кусочек бумаги, который, как заветное сокровище, старуха хранила в сундуке.

Мы так и не узнали, что случилось с Егором Адамовым.

Прошло много лет. Прошлое стало для меня воспоминанием, постепенно погружающимся в бездну забвения.

Иногда только перед моим взором возникает образ седого деда Арутюна, с его синими глазами и кроткой улыбкой. Но сейчас же эта улыбка переходит в мучительную гримасу, и из его разбитого рта на архалук капает кровь...



ДЕВУШКА ХОНАР

Весеннее утро обещало ясный, солнечный день. Наши откормленные лошади, на каждом шагу пофыркивая, быстро поднимались по каменистой тропинке. Их темносиние шеи лоснились от пота.

Змейкой вилась тропинка. По мере удаления от села лес становился все гуще и гуще; спутанные, нависшие над головой ветви громадных деревьев заставляли нас нагибаться, прижиматься к лошадиной шее, чтобы не поцарапать лица.

Ехали молча. Я сбивал кончиком хлыста листья и задевал свисавшие ветки; ночная роса падала дождем на меня и на мою лошадь.

Мой товарищ тихо насвистывал какую-то песню и покачивался в седле в такт шагам лошади.

— Двенадцать лет тому назад я ехал по этой тропинке в Дзорагюх...

Казалось, он говорил с самим собой. Я взглянул на него. По его улыбке я догадался, что он вспоминает какой-то счастливый случай из своей жизни, связанный с местами, по которым мы проезжаем.

Я спросил, какие ветры занесли его в эту глушь.

— Я был только что выпущен из тюрьмы. Я был юн, полон неисчерпаемой энергии и жажды работать. Ах, если бы я мог вернуть молодость!

Тропинка вывела нас на широкую лесную дорогу. Лошади приостановились, тяжело дыша, и снова пошли дальше.

— Знаешь, бывает, что иное лицо так глубоко врезывается в память, что ты не можешь забыть его и спустя десятки лет видишь так ясно, как будто это было вчера. Человек забывает имя, место, время встречи, забывает окружающее, все подробности, но лицо и глаза остаются в памяти навсегда. Первое впечатление от блеска поразивших тебя глаз не исчезает, не меркнет и остается до самой смерти.

Я только что хотел расспросить его про подробности встречи, застрявшей в его памяти, подобно золотому лучу солнца в тени густых ветвей, когда он, точно предвидя мой вопрос, сам продолжил свой рассказ:

— Ясно помню те дни, когда я решил ехать в Дзорагюх, чтобы исчезнуть на некоторое время из города. С радостью принял я предложение моего друга занять место учителя в этом далеком селе. Меня соблазняли два обстоятельства: во-первых, там я, хотя бы временно, избавлюсь от слежки охранки, а во-вторых, смогу хорошо и спокойно работать.

Когда инспектор училищ рассказал мне, что Дзорагюх — это глухой угол, обладающий прекрасным воздухом, окруженный дремучими лесами с обильной дичью, я заторопился и, кажется, в тот же день отправился в дорогу.

Было начало зимы. Только что выпал снег. Ночью мы приехали на эту самую тропинку и стали удаляться от большой дороги. Снег сверкал под луной, как белый мрамор, и в нем отражались темные стволы деревьев.

Проводник из Дзорагюха показал пальцем на долину, видневшуюся вверху: «Вон оно, наше село!...»

На снежной белизне виднелись маленькие, черные точки. Это были жилища, стога сена и пирамиды кизяка. В окне одного из домов мерцал белый свет, как будто среди этих теней заблудилась маленькая звездочка. Мы спустились по склону горы. До нас

донесся звонкий лай собаки. Эхо в лесу вторило ему звуком, похожим на удары топора.

«Это лает наш Богар», — сказал проводник.

Лошадь, точно узнав лай Богара и поняв, что село близко, прибавила шаг.

А мне казалось, что я еду в одну из тех далеких сказочных стран, о которых рассказывал мне когда-то учитель географии. Дети часто мечтают о неведомых странах, где живут краснокожие, на деревьях сидят птицы, сверкающие разноцветными перьями. И каждый раз, когда они уходят из дому, им кажется, что они обязательно попадут в такую сказочную страну.

Так казалось и мне, хотя я был уже юношей. Повидимому, это настроение навевалось лесом, величием зимней ночи, бесформенными очертаниями скал и таинственными звуками, доносившимися из ущелий. Может быть, этому способствовала и моя усталость. Во всяком случае этот первый приезд в Дзорагюх останется в моей памяти как одна из лучших ночей в моей жизни.

Проводник повел меня в свой дом. Как сладко я заснул у топора. Ночью я полуоткрыл глаза и посмотрел в ердик. Зимнее небо было еще темным. Я снова завернулся в одеяло, протянул ноги к теплой золе топора, и где-то на грани сна закачался ночной полу-реальный мир.

Утром, когда я открыл глаза, мне стало неловко: все давно встали и ждали моего пробуждения, чтобы затопить печку.

Я вышел из дому. Со двора открывался вид на все село и на нашу ночную дорогу. У курятника на меня залаял Богар, но его лай не вызывал больше страшного эха. Нависшие скалы уже не казались бесформенными. На снегу, на крышах сверкало зимнее оранжевое солнце. Из ердиков поднимался дым.

В тот же день меня устроили в доме, где я и должен был жить. Хозяин Оган был человек патриархального склада. Теперь в наших деревнях больше не встретишь таких людей. Зимой он садился у камина, сло-

жив около себя сухие дрова, подбрасывал по одному полену в огонь и рассказывал истории из времен шаха, говорил о давно прошедших днях, об охоте и о лесе. А если его никто не слушал, он, почувствовав себя одиноким или усталым, раскрывал перед каминном кингу шаракана¹.

Дома нас было четверо: я, Оган, его старая жена и десятилетний Ашот, ставший моим верным проводником. Вместе отправлялись мы в школу, потому что еще не привыкли ко мне собаки лаяли на меня с крыш и обсыпали снегом, который они сбрасывали задними лапами.

Школа находилась на краю села, на небольшом холме. Двором школы служило старое кладбище. Просторная комната, два ряда простых деревянных скамеек, на противоположной стене — классная доска. Кроме этой доски, на неоштукатуренных стенах ничего не было. На окнах вместо стекол — промасленная бумага, приклеенная тестом.

Однажды, поднимаясь на холм, я споткнулся на льду, упал, и мои единственные часы разбились вдребезги; до конца года я остался без часов. В солнечные дни мы определяли время по теням, а в облачные — по нашей усталости.

Спустя две недели я уже знал всех своих учеников (их было около сорока) по именам, знал дома многих из них, знал родителей некоторых. Это были живые ребятки со сверкающими глазами. Я подружился с ними очень быстро.

По звонку дежурного я спускался по лестнице; не доходя до вершины холмика, я уже видел ребят, толпившихся у школы. Мы входили все вместе.

После уроков я почти всегда бывал дома. Оган ходил в хлев кормить скотину. Ашот приносил солому, старуха разводила огонь в очаге или перебирала крупу для ужина. Я подкладывал сухие поленья Огана в камин, ложился перед огнем и смотрел, как рассыпаются головешки и как искры, вылетая из языков пламени, улетают в ердик.

¹ Книга церковных песнопений, псалмы.

Когда начинало смеркаться, появлялись Оган с Ашотом. Они скидывали лапти и садились у огня. И пока старуха готовила ужин, Оган начинал рассказывать какую-нибудь старинную историю; для того чтобы дослушать ее конец, мне и Ашоту часто приходилось нарушать его сон.

«М-да... где я остановился? — просыпался он и, пока мы не напоминали ему, жаловался: — Постарел я, все время меня клонит ко сну...» — и продолжал прерванный рассказ.

* * *

Я внимательно слушал моего товарища. Деревья все так же свешивали ветки над дорогой, но я перестал сбивать хлыстом листья. Солнце уже поднялось, и капли росы испарились.

— В Дзорагохе есть охотник; зовут его кривошеем Антоном. Он и сейчас там, хотя уже сильно постарел. Глаза его стали плохо видеть, он перестал ходить на охоту.

О нем много рассказывал Оган. Однажды в лесу Антон вступил в единоборство с медведем. Медведь сломал его ружье и уже потянулся за бревном, чтобы ударить им Антона, но Антон вывернулся и убил медведя.

Оган рассказывал также, как Антон ловил лисиц в норе. «Увидишь его — удивишься. Худой, низенький, с кривой шеей. Кажется, ударишь — мокрые место останется», — говорил Оган о нем.

Я решил пойти с ним на охоту, хотя до сих пор охотился мало. Старик обещал достать у соседа кремневое ружье.

В следующее воскресенье, рано утром, когда дым только начал подниматься из ердигов, мы с Антоном пошли в лес. В этот день я стрелял четыре раза. От выстрелов с веток сыпался снег, но ни одна лисья шкура не была опалена моими выстрелами.

Антон ободрял меня, говоря, что для начала и это хорошо. Но я поймал хитрую улыбку на его рябом лице. Сам он убил одну старую лису и двух малиненок.

С этой старой лисой нам пришлось изрядно повозиться.

Когда Антон выстрелил, я сквозь дым увидел, как она покати́лась. Мы подбежали; лиса оскалила зубы, зажав хвост между задними лапами, и убежала. На снегу алели ее кровавые следы. Несколько раз она падала, обессилив. На этих местах крови было больше, и на снегу оставались клочья шерсти.

Пока мы искали лисицу, Антон убил еще малиновку. Мы побежали за ней и увидели в яме старую лисицу. Она лежала, съежившись, прижав морду к ране. Высунутый язык был весь в крови. Очевидно, она слизывала с раны кровь. Антон перекинул лисицу через плечо, я взял малиновок, и мы направились домой.

Близ села, на лесной поляне, я услышал хруст сухих веток. Мне показалось, что это олень разбрасывает их рогами, чтобы достать из-под снега сухие листья. Я оглянулся.

Передо мной был мальчик восьми-десяти лет. Он складывал хворост на веревку, лежащую на снегу. Немного дальше стояла девушка с тонкой веткой в руке.

Вот чье лицо врезалось мне в память и уже никогда не исчезало, хотя с тех пор прошло двенадцать лет — и каких лет!

Мой товарищ замолк. На его лице снова появилась улыбка блаженства, такая же, как в первый раз, когда мы только что выехали на лесную дорогу. Как будто он снова увидел перед собой девушку с сухой веткой в руке.

— Увидев ее, я остановился, — медленно продолжал он, — и хотя Антон что-то рассказывал про нее и объяснял, что она пришла за хворостом, я не слушал его. Помню, что, когда мы перешли поляну и спустились к селу, я еще раз оглянулся. Не знаю, было это на самом деле или нет, но мне показалось, что девушка улыбнулась. Она наклонила голову, и тонкая ветка переломилась в ее руке.

С балкона нашего дома я увидел девушку с хворостом на спине. Она с мальчиком спускалась к

ригам, идя по нашим следам. На девушке было серое платье; голову покрывала шерстяная шаль, связанная, очевидно, дома. Я смотрел с балкона в ту сторону. Оган спрашивал меня о чем-то, Ашот ошпыивал на малиновках перья, а я отрывисто отвечал Огану, не переставая следить за девушкой с хворостом, чтобы знать, в какой дом она войдет.

Какова же была моя радость, когда на следующий день я узнал, что ее младшая сестра учится у меня в школе.

С этого дня девочка с красным платком на голове, бывшая до сих пор просто одной из сорока учащихся, отделилась в моих глазах от всех остальных и стала центром моего внутреннего мира.

Я захотел узнать имя той девушки. Для этого я предложил ученикам рассказать о своих семьях. Так как их было всего две сестры, нетрудно было установить, что девушку, которую я видел в лесу, зовут Хонар¹. Другие ученики подняли пальцы, желая тоже рассказать о своих семьях, и были очень удивлены, когда я написал на доске новое упражнение по сложению.

Хонар, Хонар... Я смотрел на цифры, написанные на доске, но видел только лицо девушки в шерстяной шали, увязшие в снегу ноги и черную веревку, лежавшую, как змея, на белом снежном покрове.

Временами ее лицо точно проваливалось в пропасть, и тогда наступали серые дни, я вспоминал лишь, что в лесу мы убили старую лису и двух малиновок. Временами же лицо снова приближалось, становилось перед моими глазами, и я силился понять, правда ли улыбнулась девушка, когда я оглянулся, или это только показалось мне.

Я еще раз собрался на охоту с Антоном. Когда мы пришли на поляну, я подошел к тому бревну, около которого тогда стояла девушка. Антон крикнул мне сзади, что дорога поворачивает направо. Следы девушки были запесены снегом. Ничего не было видно.

¹ Х о н а р — скромная.

Только под деревом лежала сухая ветка. Я нагнулся и поднял ее.

Возвращаясь, мы пошли по кривым улочкам, чтобы пройти мимо ее дома. Собаки с лаем бросались на незнакомца. Я все-таки увидел ее во дворе через полуоткрытую калитку. Она держала в руках охапку сена. Увидев меня, быстро отвернулась и вошла в дом. От меня не укрылось, что она покраснела.

В этот день я был так весел, что Оган, наблюдавший за мной, засмеялся и высказал предположение, что мы с Антоном, вероятно, выкинули в лесу какую-нибудь шалость. После ужина, когда он задремал у камина, я быстро перелистал его книгу шаракана и переложил шерстяную нитку, служившую ему закладкой, на другую страницу. Утром Оган удивится, когда это он успел прочесть половину толстой книги, и начнет читать, подозрительно поглядывая то на меня, то на Ашота.

В течение зимы лишь два раза я видел Хонар. Целый месяц она была больна и выздоровела только перед масленицей. Я часто спрашивал о ней сестру. И всякий раз под разными предлогами, издалека, как будто случайно, между прочим.

Не всегда было легко найти удобный повод. Помню, три дня я не имел о ней сведений, но стеснялся спросить: вдруг маленькая девочка скажет об этом дома. На четвертый день я пришел в школу раньше обычного. Сестра Хонар еще не приходила. Я стоял у входной двери и смотрел в окно. Ученики грелись у печки. Но вот она появилась. Увидев меня, она, очевидно, решила, что получит выговор за опоздание. Девочка ускорила шаги и, подойдя ко мне, проговорила: «Хонар уже встала».

Позже я узнал, что она лежала еще четыре дня. Девочка солгала.

На масленице я видел Хонар. Напротив нас на крыше девочки играли в снежки и пели. Многие из них имели по яблоку. Они были в новых платьях: красных, синих, зеленых. Хонар находилась среди них. На ней было длинное полосатое платье из красного

ситца. Она стояла на краю крыши, спрятав руки под передник, и смотрела на младших девочек, которые, весело смеясь, толкали друг друга и бегали.

Хонар похудела и побледнела. В новом платье она казалась мне еще выше и стройней. Тесемки от синего передника были связаны узлом на спине. Взглянув случайно на балкон и увидев меня, она отошла от края крыши и присоединилась к подругам.

Я снова видел ее белое лицо и маленькие глаза. Эта девушка в красном платье показалась мне ребенком высокого роста; на ее голове была та же шерстяная шаль, что и раньше. Я вошел в комнату, чтобы не смущать ее, потому что девочки начали шушукаться, а некоторые из них, которые учились в школе, при виде меня закрыли лица передниками.

* * *

Лес уже кончился, и мы ехали пышными горными лугами. Редкие кустики свидетельствовали о том, что когда-то на черноземе луга рос дубняк.

Среди зеленых берегов протекала речка. Она брала начало из родников, в темных лесных ущельях. На водной поверхности плавала не только зеленая трава, но и сухие листья.

Лошади устали. Горная зелень одинаково манила нас и утомленных лошадей.

— Сойдем, пусть отдохнут лошади, — сказал мой товарищ.

Лошади начали жадно щипать зеленую траву. Мы легли на берегу речки.

— У Огана было много книг, старинных книг. Однажды, в воскресенье, сидя на балконе, я читал одну из них, кажется, о царе Юстиниане. Снег пока не таял, но солнце грело сильнее, и чувствовалось, что весна недалеко. В такие дни даже кошка сходила с горячего камня тонира и, закрыв глаза, растягивалась на солнце.

Кто-то поднимался по лестнице. Я повернул голову. Книга задрожала у меня в руке. Рядом со мной стояла Хонар; ее пальцы теребили край передника.

Никогда еще она не стояла так близко от меня. Вот почему буквы расплылись перед моими глазами и книга задрожала у меня в руке.

«Отец просит, чтобы ты пришел к нам обедать».

Сам не знаю почему, указав на книгу, я сказал, что не могу прийти.

Хонар быстрым движением руки закрыла мою книгу, и не успел я опомниться, как она со двора повторила просьбу отца.

Я не пошел, но и книги больше не раскрывал.

Я не знал, что мне делать. Попробовал было исправлять тетради, но не смог. Пришел Оган, и мы до вечера были вместе. В этот день я помогал ему кормить коров.

Не знаю, каждый ли год весна так хороша в Дзорагюхе, какой она была в тот год. Даже от камней шел аромат весны. И днем и ночью над селом стоял аромат лип. Когда после уроков я ложился в лесу под липами, у меня кружилась голова.

В ущельях и сейчас есть сады. Весною разбухли на яблонях почки. Еще одна теплая неделя — и яблони зацветут розовыми лепестками, благоухание разольется повсюду. Издали ветки цветущих деревьев казались покрытыми снегом, словно весна обсыпала их цветными и душистыми хлопьями снега.

Весеннее солнце подсушило на улицах навозную жижу. Коровы, шедшие на водопой, жмурились от солнечного света, бычки мычали, бегали и рыли копытами влажную землю. С какой неохотой входили они в низкие двери хлева.

Весенние солнечные дни настойчиво напоминали мне о том, что скоро наступит май. Когда школа будет распушена, я вернусь в город по той же дороге и больше никогда не увижу Дзорагюха.

Я пожалел, что не пошел к ним тогда. Однажды на улице ее мать упрекнула меня за то, что я не принял их приглашения. Мне хотелось, чтоб она еще раз пригласила меня, хоть сделала бы легкий намек.

В то время было в обычае в конце года устраивать в школе праздник. Школьники разучивали стихи

и песни; я тоже готовился к празднику. Старшие ученики натащали досок, собрали по домам ковры и паласы и устроили сцену. Я посоветовал ученикам пригласить как можно больше народу. При этом я поглядывал на сестру Хонар.

Наступило воскресенье. Вероятно, никогда в сельской школе не собиралось столько людей. В открытые окна вливался аромат деревьев, под крышей школы весело щебетали скворцы, перелетая из гнезда в гнездо. Казалось, они тоже принарядились, так весело блестели их черные перья.

Среди множества голов, я видел только одну голову, на этот раз без шали... Ее волосы были разделены пробором и тщательно причесаны. И как нежны были ее губы.

В начале второго отделения ее сестра должна была прочесть стихотворение. После перерыва палас зашевелился, и за сценой показала Хонар; она поправила волосы своим гребешком.

Маленькая девочка что-то декламировала звонким, смелым голосом. Публика внимательно слушала. Но я ничего не слышал. Рядом со мной находилась Хонар. На лице у нее сияла радостная улыбка. Блестели глаза, черные, как перья скворца. Я взял ее руку. «Хонар!» Мой голос дрожал. «Оставь», — сказала она и протянула руку к сестре; та кончила декламировать, ее лицо покраснело от непривычного удовольствия. В зале аплодировали; выражали свое удовольствие различными возгласами; некоторые стучали палками по полу.

Вскоре праздник закончился. Мне показалось, что он прошел скучно. Омрачился весенний день...

В ушах у меня звенело ее «оставь». Я осматривал свою ладонь, хотел проверить, действительно ли держал ее руку в своей. Почему ее пальцы были так горячи?

После праздника я видел Хонар несколько раз. Случайно я узнал дорогу в их сад. После уроков шел в ущелье, ложился на синий камень в саду Огана. Она не могла миновать этот камень, идя из своего сада. Несколько раз я видел ее у забора, но не мо

заговорить с ней. Впереди обычно шел ее отец со связкой хвороста на спине, за ним следовала она с кувшином в руке и скатертью подмышкой. Я брал с собой книгу, но мне не удавалось прочесть ни одной страницы, потому что при каждом звуке шагов я начинал смотреть на дорогу.

Только один раз она взглянула на меня через изгородь и улыбнулась. Мне показалось, что она нарочно уронила скатерть, чтобы, нагибаясь, дольше задержаться на этом месте. Может быть, это было сделано и непарочно. Я и сейчас ясно вижу ее лицо сквозь колючки изгороди. Глаза были те же, как в день масленицы на крыше. В них было что-то детское, хотя ей было уже пятнадцать лет и под плотно застегнутым платьем чувствовалась зрелая грудь...

Мой товарищ замолчал. Он провел рукой по глазам и лбу, как бы желая отогнать этот образ, который так ярко улыбался ему сквозь далекие годы.

По ясному весеннему небу плыло белое облако, как будто гордясь перед всем миром тем, что оно купается в солнечных лучах на таких недоступных высотах.

— Но вот наступил последний день. Я уже распустил школу, роздал ученикам старые тетради и готовился к отъезду. Оган больше не читал по утрам шаракан. Рано, на рассвете, он уходил в сад или в поле пахать и сеять.

Разлука была трудна. Дома привыкли ко мне, я стал близким человеком и Огану, и Ашоту, и старухе. Во дворе проводник укладывал мои вещи; старуха набивала мою дорожную корзину гатой¹ и разными закусками.

Я несколько дней не видел Хонар. Мне казалось, что я ее больше не увижу. Желание взглянуть на нее в последний раз заставило меня быстро пройти по улице, на секунду остановиться перед их домом и заглянуть во двор.

¹ Гата — сладкая лепешка с прослойкой из масла с сахаром.

Я не увидел Хонар во дворе. Улица была безлюдна. Все были на работе, началась полка. Со склонов гор доносились звуки оровера¹. Местами виднелись темные зеленые всходы озимых, местами — черный пар.

Оган прочел мне несколько наставлений. Когда он наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб, я заметил, как блеснули слезы в его добрых глазах. Старуха наказывала проводнику вести себя как можно лучше, быть осторожным, не потерять сумку, и утирала катившиеся слезы концом передника.

Мы проехали ущелье, родник и колоду из ивового дерева, откуда зимой коровы пили воду. Вот и сад Огана. Я быстро поднялся по оврагу, открыл калитку, подошел к синему камню. За забором никого не было. В саду тихо и спокойно; цветы уже осыпались с деревьев, и на ветках виднелись маленькие зеленые плоды.

У школы толпились дети. Они увидели меня и спустились с холма. С какой наивной простотой они пожелали мне счастливого пути. Многие запаслись цветами. Как только один из них протянул мне цветок, остальные последовали его примеру.

Некоторые девочки улыбались мне сквозь слезы, катившиеся по их щекам. Плакала и сестра Хонар. «Учитель, не забывай нас...»

Никогда не забуду сиротку Чутика, который всегда приходил в школу в большой отцовской папаше и длинных стоптанных лаптях. Этого тихого, смиренного ребенка все любили. Я сразу заметил его среди провожающих. Он подошел ко мне попрощаться; носки его лаптей столкнулись, и он чуть не упал. Чутик обнял мои колени. Под большой папашой я увидел его умные глаза. Сколько горя было в этих глазах!

Возглас проводника напомнил мне, что пора трогаться. Я еще раз пожал руки детям, нагнулся и поцеловал в лоб Чутика, совсем так, как Оган меня.

Я шагал за проводником. Дорога проходила по

¹ Оровер — песня пахаря.

небольшому плоскогорью. На зеленых полях работали женщины. Немного выше, на склоне горы, быки медленно тащили соху, и земля переворачивалась в борозде. В поле среди зелени мелькали красные и синие цветы. Раскрывались маки.

Дойдя до белого камня, я разглядел среди женщин, работавших на поле, Хонар. Наши взгляды встретились, но я не увидел улыбки в ее глазах. О чем она думала? Было ли ей неприятно, что я уезжал из Дзорагюха? Ведь эта девушка ничего не сказала мне. На ней было то же серое платье, как в первый раз в лесу. Она стояла среди поля, держа в руке мотыгу, красный мак и связку сорных трав.

Я ничего не сказал и удалился. Поднимаясь по тропинке, я все время оглядывался. Наклонившиеся женщины были похожи на стаю птиц. Одна птица из этой стаи — девушка в сером платье — чаще других поднималась и прикладывала руку ко лбу, защищая глаза от солнца, чтобы лучше видеть тающую в лесу тропинку и одинокого путника. Я остановился на вершине и, когда девушка поднялась еще раз и посмотрела в мою сторону, махнул рукой. Хонар сейчас же наклонилась. Я ускорил шаг, догоняя проводника.

Когда мой товарищ умолк, мне почудилось, что речка своим размеренным журчанием повторяет его историю, пока он, закрыв глаза, лежит на спине. Порою мне казалось, что она рассказывает знакомую повесть из старинных книг Огана.

Я встал, подошел к лошадям и ослабил подпруги. Насытившиеся лошади, так же как и мы, лежали под весенним солнцем.

— Потом — двенадцать лет... и каких лет! Война, голод, страны и города, тысячи разноплеменных лиц, сладкие и горькие воспоминания... И среди них — лицо Хонар, два маленьких, как черные маслины, глаза в просвете забора и тонкие красные губы...

Вдруг мой товарищ повернулся на бок и, вытянув шею, приблизил ко мне лицо. Его зрачки расширились.

— Знаешь, я видел Хонар.

— Когда?

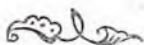
— Вчера. В верхнем селе. Когда ты спал, во дворе школы собрались крестьяне. Среди них была босая, бедная женщина. За ее подол цеплялись три полуго-
лых ребенка. Они поглядывали то на меня, то на мать.

Ее муж умер в прошлом году. Дома не было ра-
ботника.

Я узнал Хонар... Ее глаза были такими же, но уже без прежнего блеска. Я узнал ее. Но не ручаюсь, что она узнала меня тоже...

Мы молча сели на лошадей и переехали речку. Солнце клонилось к закату.

1926—1928



СЕЯТЕЛЬ ЧЕРНЫХ ПАШЕН

1

Я спрашиваю у Авака:

— Сохранился ли тот занавес?

— Сохранился.

— А его мать?

— Мать верит...

Перед нами раскинулись поля Аракса, освещенные лучами солнца, с прибрежными пожелтевшими камышами, еле качающимися от ветра с реки.

Вместе с Аваком мы доходим до границы скошенных полей и садимся под единственной чинарой. Мой товарищ вытирает потный лоб, обожженный солнцем, и обращает глаза в сторону темной зелени. На ветках дерева сидят жирные скворцы и полевые серые воробьи. Они чем-то встревожены и будто спрашивают друг друга: что мы за люди, нет ли у нас ружей, не собираемся ли мы взять в руки камни? Затем они успокаиваются, потому что старый скворец упрекает их за необоснованное волнение. На всякий случай птички поднимаются на верхние ветки. Они исчезают в зелени, и беспокойная птичья беседа продолжается.

От жары и усталости тяжелеют мои веки, и, когда я закрываю глаза, слышу звуки множества кос, шелест

падающих колосьев. Затем шум усиливается, становится прохладно, и я слышу скрежет множества кинжалов, ударяющихся друг о друга. Шумит камыш...

Я ложусь рядом с Аваком и через шумящий камыш гляжу на Арарат. Видна синяя тень горы, на которой сидит белое, как снег, облако. Когда колыхнется камыш, колыхнется также синяя тень горы, еле дрожит и белый снег вершины, который сияет холодным блеском в раскаленном воздухе.

Я глубоко вдыхаю прохладу, спускающуюся с вершины горы, с облака, похожего на белый снег, и с синих, для меня вечно недостижимых облаков...

Глина от солнца растрескалась. Из глубоких трещин поднимается аромат сожженной земли. Какой-то паук сплел себе паутину над трещиной. Я приближаю к паутине конец соломинки; из глубины темной земли выбегает голодный мохнатый паук и со страшной быстротой делает круги на золотистых нитях паутины, с нетерпением ища свою добычу.

Среди стеблей травы черный жук двигает небольшой кусок навоза. Вот он, этот навозный жук, которого египтяне называли священным, потому что они верили, будто жук двигает земной шар, как этот жук катит круглый кусок навоза. На одну минуту он показывается среди стеблей, потом вместе со своей игрушкой падает в щель.

Я пальцами расправляю глину, самое древнее вещество, что имеется на этой земле. Сколько ног, сколько копыт и колес прошли по этой глине; сколько раз ее бил снег, били и ветры, и солнце, и дождь.

Безропотна, вечна глина...

Вон вдаль виднеются серые ограды садов и стены домов, построенные из глины. Солнце сожгло, ветер и дождь разрушили эти ограды: в одном месте образовалась дыра, в другом остался только острый конец ее.

Стоят эти стены на обширной равнине, как верблюды, ставшие на колени. Одна из них вытянула шею, другая только спину, третья стала на колени, на передние ноги и будто вот-вот согнет и задние ноги.

Иди до самого старого Вавилона, в этот древний мир, до озера Соленого, до сожженных полей Месопотамии.

тами, всюду ты увидишь эту библейскую глину, чина-ру как памятник, и священных жуков.

А здесь, в поле, быстро умирают ограды, железные колеса давят мохнатых пауков, а глина обогащается новыми семенами.

— Вставай, Авак, стало прохладно...

* * *

Его звали Сето — сын Еран Сето, или просто Сето Еран.

Был он высокого роста или маленького, имел голос низкий или тонкий, умел ли играть на свирели, любил ли какую-либо девушку, отдыхал ли, как мы, вот под этой чинарой, когда возвращался с полей у берегов Аракса, — обо всем этом мой товарищ Авак мне не говорил; может быть, и рассказывал, но в моей памяти не сохранилось этих воспоминаний. И теперь, когда я пишу о человеке, которого я не видел, я вспоминаю только то из рассказа моего товарища, что Сето Еран был самым лучшим сеятелем села.

В этих местах весной Аракс выходит из берегов, весенние воды оставляют на полях ил, а прибрежные камыши превращаются в зеленые острова. Когда воды уходят с полей, оставляя на земле ил, сеятель снимает обувь и, засучив до колен брюки и повесив на плечо лукошко с семенами, начинает сеять. Он медленно движется вперед и правой рукой бросает горсть тяжелых семян, которые под солнцем сверкают, как стая воробышков, и тяжело падают на землю.

Таким был сеятель Сет, труженик земли. У него была мать, был старый домик, два тополя, на макушке которых ежегодно знакомый аист устраивал свое гнездо и для старой Еран приносил весеннюю радость.

Если аист не приносил больше лягушек с илистых полей, стало быть, воды Аракса отошли и наступило время, чтобы Сет повесил на плечо лукошко, взял семена, а мать вышла копать грядки во дворе, часть которых погибала от соседних кур, а в грядке лука ложилась кошка Еран.

...Это была самая простая история, всем понятная.

Село находилось в тылу дашнаков, здесь тайно готовились к восстанию, ожидая, когда с юга появится красная конница. Были ночи ужаса, насилия, страха, грабежа. Ночи, когда к фронту гоняли голодную массу людей, когда оттуда бежали те, которые хотели в поте лица обрабатывать землю, поливать посевы и иметь мир в своих бедных хижинах.

Когда в селе с южной стороны послышался грохот первой пушки и отступающий враг повернул лошадей, в тылу врага вспыхнуло восстание, как эхо первого грохота, известившего жителей об освобождении от дашнацкого владычества.

Было солнце, снова были аисты и масляным отблеском блестел ил под солнцем. Вдруг в камышах, где против белых кавалеристов укрепилась группа повстанцев-крестьян, раздался ружейный залп.

Сет за чинарой встал на колени и стрелял. Стая мчащихся всадников расступилась, затем снова соединилась и двинула своих коней к единственному дереву, бросавшему черную тень на пустующее поле.

Вечером красная конница вошла в село.

Только на следующее утро, когда прибыли и тяжелые орудия, по узкой тропинке поля на камышовых носилках товарищи принесли в дом убитого сеятеля. Его колени были обнажены, на одном боку засох ил и запеклась кровь. Виден был только застывший глаз, который глядел неподвижно, как серое облако из бездонной глубины...

Истекая кровью, он полз по сырой земле к камышам, к воде, грубыми пальцами царапая землю, временами бессознательно прижимая их к своему плечу, которого коснулась сабля всадника. Затем лицом вниз упал на холодную землю, как раньше падало из его рук золотистое семя.

Я смотрел на высокую дверь, за которой не было ни звука, ни движения. Какими высокими казались на закате эти два тополя во дворе!

Еран не видела ни тела сына, ни погребения. Когда ей сообщили, что его несут, она с криком вскочила, но не дошла до порога... Четыре дня она была без памяти. Говорили, что она умрет...

В горном селе это здание было бы похоже на старый сарай. На крыше было бы круглое отверстие, и через него из высокого гумна теплая струя отрубей волнами проникала бы внутрь. Затем это отверстие заделали бы глиной, и какая-нибудь бездомная собака провела бы здесь зиму на соломе, а к концу марта у нее появились бы штук шесть щенят.

Так было бы в горных селах.

Но это здание было церковью в нижнем селе. В ней сняли занавес, сняли образа святых. Кузнец перенес к себе каменную купель, в которой крестили детей, и теперь в мутную воду этой купели он бросает раскаленные лемеха. Остались только три каменные ступеньки, по которым спускаются люди в клуб-землянку, да два медных подсвечника, на которых висят керосиновые лампы; осталась также камышовая крыша, и, как свечи, висят камыши, которые качаются, как только раскрывается дверь. Под камышовой крышей клуба живут старые голуби, и когда на дворе бывает выюга, они укрываются в прогнивших от копоты нишах, там, где когда-то хранили серебряные сосуды.

Белые стены украшены новыми рисунками, и под древними сводами звучат новые слова. В этом подземье шумят веселые голоса молодого поколения.

Над дверью на камне в первый год советской власти нарисовали серп и молот, а внизу неумелым почерком написали: «Да здравствует». От этих незатейливых рисунков теперь веет священной простотой верующих, той неповторимой прелестью первых дней, когда новый человек рвался из мрака старого к новому и первые свои следы запечатлел на камне, на бумаге, с радостью и гордостью начиная новую страницу своей жизни.

Однажды в ноябрьские дни в этом клубе с камышовой крышей произошло такое событие.

Зажгли все лампы, но под каменными сводами было темно, даже казалось, что от света ламп мрак стал еще гуще. Освещена была только сцена, и этот

свет еле доходил до первых рядов; на деревянных низких скамейках, тесно прижавшись друг к другу, сидели присутствующие.

Дверь непрерывно раскрывалась, ноябрьский ветер врывался внутрь, колебались камыши, и дрожал свет ламп. Люди, входившие через эту дверь, спускались по каменным ступенькам вниз и исчезали в темноте, были видны только огоньки папирос, как ночные светящиеся жуки.

Девушки украшали сцену. Что может быть на полях в ноябрьские дни?.. Пожелтевшие кусты с шипами, еще зеленые ветки шиповника и осенние полевые цветы, которые цветут в холодное время и монополярно пользуются осенним солнцем. Девушки сплели венки и букеты из ветвей шиповника и полевых цветов, украсили букеты и венки раскрывшимися коробками хлопчатника и все это повесили на стенах рядом с портретами в красных лентах.

В углу были знамена, они стояли в почетном карауле у простого изношенного красного флага, на котором были такие же незатейливые изображения серпа и молота, как и на фасаде здания. Это был первый флаг восставших, поднятый ими, когда с юга прогремела первая пушка.

Раскрывалась дверь, врывался ноябрьский ветер, качались камыши, почти угасал, а затем с новой силой вспыхивал свет ламп, и колыхались знамена. Как старый солдат, который побывал в жарких боях, изношенный флаг, казалось, тихим шелестом передавал позолоченным новым знаменам суровую красоту тех ясных дней, когда его поднимали труженики земли как факел спасения, когда он колыхался над избами, слышал металлический звук пуль, видел окровавленные тела первых жертв и, когда медные трубы прозвучали траурную мелодию, наклонился над их могилами.

Люди, собравшиеся на сцене, интересовались новым занавесом, привезенным из города двумя молодыми рабочими. Они прикрепили этот занавес сверху, оставалось только дернуть за шнур, и занавес слоями опустился бы вниз. Но эту торжественную минуту они оставили напоследок, когда соберутся все и они, при-

ехавшие из города молодые люди, получают слово для приветствия.

Дверь снова раскрылась, кто-то зажег спичку, чтобы осветить каменные ступеньки, и вошла группа людей. Был слышен стук тяжелых сапог; потом люди вышли из темноты, и собравшиеся в клубе увидели среди вошедших незнакомого человека, одетого в шинель и в зимнюю шапку. Он с трудом пробирался вперед, так как на толстые стекла его очков осел слой теплого пара.

Вместе с другими этот человек поднялся на сцену, а те, которые беседовали в глубине под сводами, вышли вперед и сели так плотно, что последние ряды едва виднелись. Человек в шинели протер свои очки и с любопытством посмотрел вокруг. Голуби от света на сцене и от шума беспокойно возились под крышей, некоторые из них пролетели над головами людей, потом исчезли в темноте.

Пришедший улыбнулся — не то при виде голубей, не то потому, что чувствовал тепло и покой, и ясным голосом начал свою беседу.

Он говорил так, будто беседовал только с одним человеком. Он рассказывал о тяжелых днях, прошедших безвозвратно, о временах обмана, лжи, эксплуатации, духовного разврата, побоев и насилия, когда были голод и война, тюрьма и угнетение. Когда он рассказывал об этих временах, многие из слушателей вспоминали события, которые неизгладимо запечатлелись в их памяти. Одни вспоминали о голоде, другие — своего сына или мужа, которые не вернулись с фронта, третьи — о своем горьком житье, когда они стучались в двери богатых; это на их спинах остались следы побоев, как следы старых ран.

Затем он рассказал о восстании как единственном выходе к свободе, единственном пути, вынесшем человека на светлый берег. Он вспомнил о созидательном труде, когда пустыни орошались водою и радовали человека, увидевшего орошенные поля, когда стал подниматься дым из труб заводов и герои в тяжелом труде выковали свою волю, как самую крепкую сталь.

Неожиданно он кончил свою речь... Одну минуту

все молчали, потом раздались громкие рукоплескания. Будто тысячи и тысячи голубей сорвались со своего места и шумно пролетели над головами.

Полилась песня, была музыка, затем новые приветствия, снова веселая песня; вышел один из молодых рабочих и страстно заговорил. Он рассказал о подарках, и в это время опустился тяжелый занавес, который они привезли в подарок сельскому клубу.

Волна удивления докатилась до последних рядов.

На занавесе во весь рост был изображен гигант сеятель с деревянным лукошком на плече, с открытыми до колен ногами. При свете блестили золотого цвета семена, которые он правой рукой бросал на пашню.

— Сет Еран...

— Точь-в-точь Сет.

— Глаза, глаза...

— Это наши земли... А это наши камыши, вон наша гора...

Знал ли неизвестный художник Сета Еран и это село — трудно сказать. Может быть, только его смелое воображение создало эту картину, так захватившую присутствующих.

Первое впечатление было неизгладимым.

Занавес слегка колыхнулся, и снизу казалось, будто сеятель шагает и от ветерка с реки колышется камыш. А в глубине в синем тумане еле виднелись две горы Арарата, как они бывают видны в ноябрьские ясные ночи с сельских крыш.

Две женщины, родственницы старой Еран, уверяли, что на занавесе изображен Сет Еран. Одна из них поднялась и маленькой рукой коснулась босых ног сеятеля — будто хотела передать ему теплоту своей руки. Другие тихо вздохнули и заплакали об умершем Сете.

В эту ночь и родилась золотая легенда.

* * *

Сколько праздников прошло...

Еще и теперь существует этот клуб-землянка с камышовой крышей и колышется в нем занавес, на кото-

ром сеятель щедро бросает в черную землю золотистые семена.

Приходит сюда глухая старушка, в руках у нее камышовый веер. Она подметает пол, злится на голубей, когда те садятся на медные подсвечники, поставленные по сторонам сцены, потом стряхивает пыль с занавеса.

Когда никого не бывает рядом, старая Еран тихо беседует с портретом своего сына.

* * *

На углу улицы меня встречает Авак. Я спрашиваю у него:

— Цел этот занавес?

— Цел.

— А мать?

— Мать верит...

— Хорошо, что никто не разрушает эту легенду.

Затем Авак мне рассказывает о сельских новостях и о здешних людях.

По улице проходит колонна, звучит музыка, и я слышу победную песню медных труб.

Перед моими глазами встает мужественный сеятель, который на наших черных пашнях сеет золотистые семена.

1932



РАЧНЯ КОЧАР

СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ

С утра до полудня бродили мы по развалинам города Тильзита в Восточной Пруссии — из квартала в квартал, из улицы в переулок. Утомленные, подавленные тяжестью необычайных впечатлений, хорошо знакомых тому, кто скитался в мертвенных, унылых пустынях разрушенных городов, где тревога жизни вдруг окаменела, осталась навеки неподвижной и ни единый голос не нарушал могильной тишины, — переполненные этими гнетущими впечатлениями мы вышли на широкую зеленую площадь. В гряде развалин и обломков трудно было определить исторические места этого города, расположенного на берегу Немана и значительного только тем, что здесь когда-то встретились гордый корсиканец и молодой русский император. Эффектным подробностям встречи двух баловней судьбы много незабываемых страниц посвятил творец бессмертной эпопеи «Война и мир». Но никаких следов прошлого нельзя было здесь найти: все они исчезли безвозвратно. Развалины сплошь заросли жесткой травой; камни, кирпичи, обгорелые остатки домашней утвари уже покрылись мохом; можно подумать, что жизнь остановилась здесь много веков назад, что город разрушен давным-давно.

Площадь, на которую мы вышли, мгновенно подбодрила нас. Воздух ли тут был чище и не так чувствовался угар, стоявший на всех улицах, или сделала это ласкающая глаз зелень, колеблемая тихим ветерком? А может быть, виною тому было появление русских девушек в изящных городских костюмах? Но откуда эти девушки могли появиться здесь?

Площадь эту мы прозвали площадью Бронзового быка; на краю ее вздымалась большая статуя дикого быка, иссеченная пулями, с перебитым рогом.

Девушки украсили цветами могилы неведомых бойцов, похороненных на площади, и, напевая вполголоса, прогуливались здесь. Мы познакомились. От них мы узнали, что приехали они сюда работать на только что открытом заводе, что вскоре здесь ожидаются их товарищи и что в свободные часы они посещают эти могилы и гуляют на площади. Прислонясь к забору, мы беседовали с девушками — расспрашивали о родной земле, о жизни в тылу; они охотно отвечали и спрашивали нас, каким генералом взят этот город, сражались ли мы здесь и не знаем ли героев, похороненных на площади.

— Моего брата убили на фронте, а где — неизвестно, — грустно сказала девушка, которую звали Верой. — Известили нас об этом два месяца назад; мать просила отыскать кого-нибудь из его товарищей, может быть, найдется могила...

— А у меня убит отец, — подхватила другая, по имени Маша. — И кто скажет, где его похоронили?.. — Помолчав, она прибавила, глядя вдаль: — Вот мы с Верой и решили, что могилы наших родных найдены: здесь лежит ее брат, тут мой отец; ну, а у подруг хоть и все родные живы, но и они с нами приходят сюда каждый день, и мы убираем могилы свежими цветами. Сюда же мы высыпали родную землю, что привезли в платочках... Старики говорили: легче лежать им будет, пухом будет родная земля...

Мы глядели на молодых голубоглазых и белокурых девушек, привлекательных своей честностью и обычаями, которые они привезли вместе с горстью родной земли. В подобные минуты трудно найти

слова для выражения чувств и мыслей, возвышающих душу...

Что им сказать? Как поблагодарить за павших товарищей?

У высокой каменной стены рядом с нами вдруг остановился большой грузовик. Мы все невольно обернулись. Машина была вся в венках, украшенных красными и черными лентами, тут же были и надгробные дощечки из свежего дерева. Первым выскочил сержант — плечистый, усатый, за ним — остальные: целый взвод. Они поздоровались с нами, перепрыгнули через ограду и молча подошли к могильным холмам.

— Гляди-ка, тут свежие цветы, — заметил сержант и бегло оглядел нас. — Должно быть, девушки принесли... Спасибо! Кабы вы только знали, каким героям почести воздаете!

Мы видели, как Вера, Маша и остальные девушки вспыхнули.

— Знаем, — нерешительно сказала Маша.

— Ну, вряд ли, — заметил сержант, — об этом только их товарищи могут рассказать.

Венки были сняты с машины и уложены на могильных холмах. Девушки подошли и спросили имена бойцов. Здесь были похоронены Тюрунтаев Шарил, Илященко Иван, Тарасов Иван, Стариков Федор, Кутузов Константин...

На одной дощечке Мария благоговейно прочитала:

— «Кутузов Константин Петрович, родился в тысяча девятьсот двадцать пятом году...» Ой, он ровесник мне, а я за отца принимала его! — зардевшись, шепотом добавила она.

И, нагнувшись, поправила цветы на могиле.

Последнюю дощечку собирались положить на крайний холмик; подле стояла Вера, широко раскрыв задумчивые глаза.

— «Мхитарян Нахапет Саркисович», — произнесла она дрожащим голосом.

Подошел и я, с трудом сдерживая волнение. Пусть мы маленький народ, однако повсюду встречаются имена армян — и среди живых и среди павших героев.

— Вы хорошо его знали? — спросил я сержанта.

Он пытливо посмотрел на меня, как будто силился вспомнить что-то, и казалось — ему нечего сказать мне о моем усоншем земляке тут, под этим чужим небом, на прусской площади, где бронзовый бык все еще стоит с перебитым рогом.

Вместо ответа он спросил:

— Вы армянин?

— Да.

— Я так и думал; лицом он похож на вас, но ростом был много ниже. Покойный был мне лучшим другом, как его не знать!

Вера, приехавшая с Урала искать могилу брата, с любопытством поглядела на меня.

— Да мы все его знаем, кто только не знал, — вмешался один из бойцов, — в полковой истории написано про него...

Не точно было бы утверждать, что человек начинает рассказывать о пережитых испытаниях, уступая просьбам окружающих. Это — голос сердца. Так и чувствуешь, что рассказчик делится с тобой всеми горестями души и ему делается легче; взамен отдаешь ему свое сочувствие и чувствуешь себя счастливым. Легли мы на траву и стали слушать плечистого усача-сержанта. Он принадлежал к категории людей, которые не знают о своем природном даре, за который другой готов был бы чуть ли не жизнь отдать: даре образной речи. Для таких людей слово не является предметом искусства, они не стремятся разукрасить его, — от этого правда проступает еще резче.

— Такого товарища, брат, не забудешь вовек, — подтвердил он еще раз и замолчал. Потом проговорил: — Помню ли я Мхитаряна Нахапета Саркисовича? Как не помнить, все время в одном полку были, хлеб-соль пополам, вместе в окопе под дождем, в грязи лежали, а вы еще говорите — помню ли я?..

И полились слова его сами собой, как вода; что выбивается из-под земли на волю. Слушали мы его затаив дыхание.

— ...Когда Мхитарян поступил в нашу роту, он был застенчив и тих; коли не спросят — ничего не скажет;

товарищей не имел и не искал, до шуток был не охотник, да и шутников не любил. А все больше слушал, о чем говорят товарищи, что рассказывают про себя, только о себе самом ни слова. Такому человеку трудно ужиться в шумном боевом кругу. И вот, как на грех, к нему как-то раз и пристали шутники — особенно те, что любят попусту обижать людей. Оно, конечно, люди не все одинаковы: кому нравится одно, а кому другое, только не надо над другими смеяться зря. А это не все понимают. Вот парни и начали к нему приставать, чтобы вывести из себя, не со зла, а шутки ради. Он в ответ добродушно помалкивал — не то улыбался, не то сердился — и ничего не отвечал. Когда же случалось, что шутка переходила границы, Мхитарян с серьезным видом говорил: «Ну, товарищ дорогой, довольно, пора перестать».

Говорилось это с таким милым акцентом и так искренне, что шутник, обезоруженный, умолкал. В словах Мхитаряна не было ни порицания, ни просьбы, ни приказа; трудно передать, как это у него выходило, он говорил от души. Почему Мхитарян был таким — затрудняюсь объяснить. Ежели скажу, что вообще все армяне такие — неправда будет. Я знавал таких развеселых армян, что как заговорит — со смеху лопнешь. И грубиянов и нахалов всяких среди них доводилось встречать...

Тут он повернулся ко мне и продолжал:

— Да, всякие люди бывают на свете. Но наш Мхитарян был не таков. Его считали самым сдержанным, самым исполнительным во всей части. И вдруг вышло так, что он приобрел славу первейшего скандалиста. А все дело было в том, что Мхитарян задал потасовку одному приставаляе бойцу, который до смерти надоед ему своими нахальными шутками. Тогда у нас политрук был отменный, о нем я тоже расскажу. Оба мы хотели заступиться за Мхитаряна, но ничего не вышло. А дело не пустое: потасовка между бойцами Красной Армии! Ну, конечно, его призвали к порядку, но зато и шутки прекратились. Мхитарян попрежнему был тих и задумчив. Когда нашу часть перебросили на фронт и начались бои, он в первые дни не выделялся отвагой,

хотя трусом считать его было нельзя. А так — ни рыба, ни мясо. Зато все приказы выполнял без запинки. Ротный и политрук взяли его к себе связистом. В опасные места его посылали; исполняя трудные поручения, Мхитарян бывало ползал под градом пуль, но возвращался таким же молчаливым, как и всегда; ничего не скажет, ни о чем не расскажет.

О других его качествах мы узнали во время отступления. Надо сказать, что он не пил и не курил. При этом был добряком: бывало весь свой паек раздаст товарищам. Но и добрым он был на свой особый лад. Когда выдавали табак, он свой паек табачный хранил в вешевом мешке и товарищам не давал, пока у тех свой запас имелся. А когда у товарищей выйдет табак, Мхитарян вытащит свою пачку и поровну всем раздаст. Надо сознаться, иногда на мою долю приходилось больше. Мягкое было у него сердце: случится ему увидеть труп знакомого бойца или офицера, глядишь, уж он и заплакал. Положим, на первых порах мы все тоже не могли сдерживать слез, ну а потом привыкли — что делать, война! Один Мхитарян так и не мог привыкнуть. Увидит где мертвого ребенка, задрожит весь, зареет его и только после этого, запыхавшись, догоняет нас. Раз кто-то заметил, что уж больно жалостлив Мхитарян, нельзя же на фронте плакать, как баба.

Тут завязался спор. Наконец политрук вставил свое слово: «А знаете ли вы историю его жизни? Знаете, кем был он и как рос? Родился он в Турции. Тогда турки тысячами убивали армян, и только потому, что те держались за русских. В двенадцатых годах, когда ему было лет шесть, все их семейство вырезали турки на его глазах; он спрятался в стог сена и оттуда все видел. Вот почему Мхитарян стал таким молчаливым, вот почему он такой чувствительный. Зато уж боец он честный, в этом никому не уступит...»

Политрук очень любил Мхитаряна, а тот — его. Хотя они и были ровесники, однако политрук называл его «сыном». Раз, во время штыковой атаки, гитлеровцы едва не всадили политруку нож в живот. И что же? Мхитарян заслонил его своим телом. Рана оказа-

лась пустячной и быстро зажила. Вот тогда и стали говорить про его храбрость...

Сверни-ка мне, Вася, — обратился он к товарищу, — видишь, я занят, рассказать надо, — и протянул одному из бойцов шепоть табаку.

...Когда политрука в мае 1942 года тяжело ранили, Мхитарян всю ночь просидел около него в санбате. На рассвете политрук скончался, и Мхитарян, схоронив его, вернулся к нам. Я увидел Мхитаряна в окопе с папироской; он был молчаливый и грустный. В этот день он закурил впервые и впервые же не отдал мне своей порции водки. Он даже чокнулся со мною, сказав: «Вечная память политруку». И, осушив все до последней капли, прибавил: «Хороший ты парень, Коля, пойдем дальше друзьями».

И вот целых три года мы прослужили вместе, в одном полку. Среди товарищей он оставался все тем же: ни грубости, ни ссоры и только в бою удивляя всех своей отвагой. Да расскажешь ли все? Три раза Мхитарян был ранен, отправляли его в тыл лечиться. Бывало фронт перемещался на сотни километров, и все же Мхитарян нас разыскивал.

Все начальники его любили. Был он скромн, не искал ничего покровительства, честность его и преданность долгу подкупали всех. Когда мы дошли до родного рубежа, он обнял меня, поцеловал и прослезился. «Ну, Коля, говорит, ежели меня теперь прихлопнут — не жалко, совесть у меня чиста». На другой день спросил: «Как, по-твоему, долго нам здесь ожидать наступления?» — «Должно быть, долго, этим пахнет», — ответил я. «И я так думаю», — говорит.

В самом деле, так и вышло. Оно, положим, у генералов бывают секреты, да ведь и боец подчас сумеет разнюхать, будет или не будет наступление. На другой день наш Мхитарян попросил командира, чтобы дали ему отпуск. Все рот разинули: скажи пожалуйста, мы на вражескую землю вступаем, а он об отпуске заговорил. Только Мхитарян умоляет, просит. «Чуть наступление начнется, говорит, я сразу вернусь». Его любили и не отказали; как знать, может, несчастье какое стряслось, а он скрывает. В штабе, когда давали

ему отпуск, он попросил написать, что едет не в Армению, а в Буденовку. — есть такая деревня в Шебекинском районе, Курской области, воевали мы там. Тут уже начинается загадка. Почему в Буденовку — никто не мог объяснить, а сам он тоже молчал.

«Видно, у тебя там зазноба, говорю. Нахает». — «Стыдно тебе так думать, Коля», — отвечает, и опять замолчал. Все в полку со мной были согласны.

Съездил Мхитарян, вернулся и чувствует себя как будто хорошо. Только вдруг письма одно за другим полетели к нему из Буденовки. и на обратном адресе везде: Екатерина Маслова... «Эге, думаю, ну что же, братец, шила в мешке не утаишь». А он все обижаются: стыдно-де тебе, Коля, так думать обо мне.

Что за человек, думаю себе, не хочет признаться. А то раз и посылку отправил по этому адресу. «Ну ладно, говорю, вот кончим войну и на свадьбе твоей погуляем». Помолчав немного, он ответил: «Грешно, Коля, приятелю не верить».

Когда переступили мы наконец границу, Мхитарян проявил чудеса храбрости. Он первым бросался в атаку, увлекая за собой других. В городах, занятых нами, он избегал разговаривать со взрослыми немцами, даже если встречались говорившие по-русски: зато детям давал вволю хлеба и сахара, ласкал их. Правда, детей мы все тоже жалели, а он больше всех. Как-то говорю я ему: «А ведь у тебя, брат, воистину христианская душа — русских детей ты оплакивал, а теперь немчат по головкам гладишь, никакого различия». Он, точно обиженный, посмотрел на меня. «Ох и глуп же ты, Коля!» — сказал сердито и целых три дня не разговаривал со мною. Конечно, потом мы помирились; передавая ему очередное письмо из Буденовки, я, как всегда, начал подшучивать: «А еще товарищем зовешься. Разве от товарищей что-нибудь скрывают? Уж такого скрытного, как ты, вряд ли найдешь во всей Красной Армии». Мхитарян улыбнулся и обнял меня, но опять ни слова. Секрет его мы узнали гораздо позже. Это было во время атаки на Тильзит. Как раз под этим самым бронзовым быком мы вдвоем залегли и строчили из автоматов. Тут он и был тяжело ранен. Пришлось

направить его в санчасть. На другой день командир послал меня к нему. Об этом просил сам Мхитарян. Я его застал уже при смерти. Узнав меня, он крепко сжал мою руку и сказал: «Прости меня, Коля, я тебя как-то глупым обозвал, прости!» — «Что за вздор! — говорю. — Когда ж я обижался на тебя?» А он все свое: «Я в жизни ничего дурного не сделал, греха на мне нет...» — и в глазах у него засветились слезы. Я пытался его успокоить. «Не сокрушайся, говорю, еще поправишься, вместе кончим войну и вернемся на родину». А он только головой мотает. «Знаю, что умру, смерти не боюсь». Потом просил поклониться товарищам, с усилием припоминая их имена. Наконец говорит: «Напиши Екатерине Масловой, чтобы всегда смоетела за могилой, чтобы цветы...»

Что за могила, какие цветы? Однако я тогда же написал и получил ответ. Тут-то и выяснилось, как глупо я шутил: Екатерина Маслова оказалась шестидесятилетней учительницей. Вот письмо ее, можете прочитать. Оно вошло в историю нашего полка.

И мой товарищ прочитал письмо учительницы вслух:

«Вы хотите знать, кто я, давно ли знаю вашего товарища и о какой могиле он просил меня позаботиться? Это печальная, очень печальная история. Выслушайте же эту повесть о благородных душах, которых вы, конечно, знали лучше меня. Я учительница здесь в селе, мне шестьдесят лет. После эвакуации, вернувшись на родину, я ходила на могилы бойцов, павших близ нашего села, и украшала их могилы цветами, думая о смерти героев и о горе их матерей. Трудная у нас судьба. Сколько горя пришлось нам увидеть, а мы не упали духом... И вот раз на кладбище я увидела бойца, сидевшего у могильного холма. Подхожу и вижу: не русский. Сколько безутешной тоски таилось в чертах его юного лица! Казалось, горе придавило его и оттого он опустил усталые плечи и склонил голову. Заговорила я с ним, только он о себе ни слова. Пригласила я его к себе и оставила ночевать. Он рассказал мне все о своей жизни, о всех горестях, перенесенных в годы войны. Был у него политрук, они вместе

отступали от Житомира и Киева до нашей деревни. В мае 1942 года политрук, раненный, умер у него на руках. Перед смертью он просил Мхитаряна, чтоб, когда мы доберемся до родного рубежа, он, Мхитарян, если останется жив, придет на его могилу, окликнет его и скажет, что советская земля свободна. «Я услышу твой голос, — говорил политрук, — и успокоюсь в гробу». Похоронив друга, Мхитарян дал себе клятву свято исполнить его волю. Вот для того-то он тогда и отпуск брал. Мхитарян приезжал, чтобы исполнить обет, данный другу, передать ему радостную весть о победе... У нас на селе все его полюбили. Я тоже. Пока буду жива, не забуду его просьбы — на могиле его друга всегда будут цветы».

Слушатели безмолвно переглянулись.

— Что за человек! — заметил мой товарищ. — Но почему же он скрывал все это от своих?

— Потому что редкостный был человек, — сказал усатый сержант. — Уж такой характер: не любил обо всем зря болтать, хотя бы и с товарищами. Ведь люди бывают всякие. А вы еще спрашиваете, знаю ли я Мхитаряна...

Вера наклонилась к могиле, которую считала могилкой брата: на нее она высыпала из материнского платка родную землю.

Молчаливо наблюдавшая за нею Мария сказала:

— Об этой истории я напишу моей сестре.

Усатый сержант поглядел на запад.

— Ну, ребята, пора нам к себе. А вы, девушки, не оставляйте наших товарищей, — указал он на могилы, садясь в машину.

Вдруг Вера поднялась и окликнула его дрожащим голосом:

— Дорогой, минуточку!..

— А что такое?

— Откуда был этот политрук?

— Из Сибири, — ответил сержант, взбираясь на машину.

— А как имя его?

— Юрченко Владимир Яковлевич.

Девушка вздрогнула и обессиленно опустилась подле надмогильной дощечки.

— Это мой брат!.. Наш Володя!..

Машина усатого сержанта уже тронулась и мгновенно скрылась из глаз.

Припав к могиле Нахапета Мхитаряна, обнимая холмик, выросший над ней, Вера горько зарыдала:

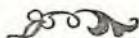
— Дорогой мой, ведь ты любил Володю, брата моего. Об этом теперь узнает мать... напишу ей про тебя, и этой доброй учительнице тоже... Что же делать, адрес-то я забыла взять!..

Мы с товарищем тоже уселись на наш вилиис и скоро покинули мрачный, пустынный Тильзит.

Тупо глядел на нас прусский бронзовый бык, весь иссеченный нашими пулями, с перебитым рогом.

Машина неслась по развороченным улицам, минуя скелеты обгорелых, разрушенных домов. В лучах заходящего солнца казались кровавыми струи Немана, помнившего встречу Наполеона с Александром Первым. Под нами была прусская земля. Яркое небо улыбалось. Стаи ласточек вились в небесах. Машина мчалась дальше, и я, глядя на закатные просторы, все думал о том, что никакое горе не в силах сломить человека, если он благороден и чист душой.

И сколько еще грядущих поколений будут черпать вдохновение и силу в людях и событиях наших дней!



СЕСТРА ГЕНЕРАЛА

Когда скромное в прошлом имя генерала прогремело в годы войны на весь мир, к нему полились нескончаемым потоком письма от беженцев армян, рассеянных по всему свету суровой игрой судьбы.

Однажды адъютант, как обычно, явился с дневной почтой. Неторопливо и спокойно вскрывая конверты, генерал пробегал глазами письма и откладывал их. Но одно из писем приковало к себе его внимание.

Дочь генерала не могла не заметить сдержанного волнения, с каким отец перечитывал длинное письмо, написанное мелким женским почерком.

Сложив письмо, генерал несколько раз прошелся по комнате и обратился к дочери:

— Прочти, Маргарита.

«Уважаемый соотечественник, друг или брат! Не знаю даже, как назвать вас...»

Так начиналось письмо.

«...Вы меня не знаете, а я давно считаю вас родным. Обо мне вам ничего не известно, я же с того дня, как услышала ваше имя, живу одной мечтой. В душе у меня встает целый мир, давным-давно утраченный; как будто в ночной темноте вдруг засияло солнце. Вторым год как я хочу написать вам и никак не решаюсь. Боюсь, что развеется надежда, так сказочно озарившая мою душу. Мне кажется, что я держу в руках хрустальную вазу, любуюсь ею и боюсь ее уронить. Не

лучше ли жить в мире надежд, чем разочароваться в своей мечте? Так мне казалось. Но нет, я не буду разочарована. Неужели в жизни не существует счастливых совпадений и странных случайностей? Вот почему после долгих и мучительных сомнений я наконец решила написать вам. Будь, что будет, — вы должны узнать, кто я.

Итак, кто я и что меня волнует? Я верный друг Советского Союза, американская армянка, любящая Советскую Армению, — это долг каждого истинного армянина, заброшенного на чужбину. Мне хочется, чтобы вы узнали всю мою горестную жизнь. Нет у меня слов, руки дрожат, строки путаются.

...Родилась я в глухой деревушке на берегу Ванского озера. Детство я помню ясно, как сегодняшнее утро. Синие горы, цветущие долины, сады и чудесное озеро с Ахтамарским монастырем на острове, куда стекались на богомолье и стар и млад. Есть ли еще на свете такая дивная страна, как наша? А судьба лишила нас ее так жестоко, так беспощадно. Помните вы это? Помните, какими изумительными узорами разукрашен был Ахтамарский монастырь? С тех пор прошло тридцать лет. Тогда я была семилетней девочкой. Но, право, кажется, что это было вчера.

И сейчас я помню выстрелы, раздавшиеся в наших деревенских закоулках, черный дым, выедавший мне глаза, запах пороха, вижу фигуру моего отца, который, сжимая кулаки, упал с окровавленным лицом. Вижу распущенные волосы матери в луже крови. Какие страшные воспоминания!

С криком бежала я в тот день по безбрежным, широким полям. Я не знала, почему нас убивают. Под турецким ятаганом пала вся наша семья, легла вся деревня. Спаслись только я и один из моих семи братьев, восемью годами старше меня.

Мы укрывались в пещерах. По ночам выползали из наших нор, как маленькие зверьки, и бродили по пожарищам, отыскивая пищу, спотыкаясь о трупы родных и близких.

Как памятны мне эти летние ночи! В обгорелых

деревнях — ни души, только бездомные кошки жалобно мяукали на заросших травой земляных крышах...

Так месяца два мы днем скрывались в пещерах, а по ночам блуждали в царстве мертвецов, ничего не ждали и ничего не искали. И вдруг пришла русская армия. Мой брат выбежал приветствовать ее. Казаки посадили нас в седла своих коней, наделили хлебом и сахаром. Мы увидели веселые лица и услышали веселый смех. Первые русские слова, которые я узнала, были «хлеб» и «брат»... Сколько света пролили эти слова в наши детские души!

Непрерывным потоком отступали все, кто пытался спастись от резни. В ушах моих и до сей поры стоит неумолчный крик, стон и плач, слышатся молитвы умирающих. Куда же бежал этот бездомный люд — мать с ребенком, дед с внуком? Отчего они покинули свои пашни и луга, долины и горы, пышные сады, амбары, переполненные зерном, и умирали голодной смертью на безвестных дорогах? В русскую Армерию — все дороги ведут туда...

Бесконечными казались эти дороги. Я еле шла, мои ноги распухли и покрылись ранами. Брат сажал меня себе на плечо и шагал, опираясь на палку. Бедняжка, чего только не вынес ты из-за меня!

Видишь, я уже верю...

Все это и теперь передо мной; все как есть осталось в памяти.

Помню, мы шли прекрасной зеленой долиной со множеством каменных церквей, увенчанных величавыми куполами. Брат сказал, что это Алашкерт, где родилась наша мать. А вот и каменные стены большого города. Это Карс, объяснил мне брат.

За свою скитальческую жизнь я много истоптала дорог. В памяти моей стерлись и светлые и мрачные картины, только детство остается неизменным. В Карсе мы сделали привал. Это была русская Армения. Казалось, никто уже не посмеет преследовать нас. Однако враг шел за нами, и брат с ружьем в руках двинулся к нему навстречу. Больше я его не видела.

Потеряв брата, я оказалась в полном одиночестве.

Спеша куда-то в толпе незнакомых людей, искала я его и не могла найти. Босая и нищая, я блуждала по проселочным дорогам, просила милостыню и не стыдилась ни наготы, ни нищеты. В огромном американском городе, откуда я пишу вам, никто не знает про это. И сын мой не знает, что мать его в детстве питалась подаанием...

Долго скиталась я глухими дорогами и все ждала, что вот-вот где-нибудь на горной тропе встретится мне брат, возмужавший, такого же исполинского роста, как и отец, с ружьем на плече. Но нигде его не было. И все же я не могла отказаться от мысли, что найду его, что он будет генералом великой армии и я вместе с ним буду мстить за кровь наших родителей.

Неужели эти мои воспоминания ничего не подсказывают вам? Как бы я хотела видеть вас, видеть именно в ту минуту, когда вы читаете эти строки.

...Чужеземцы меня привезли сюда, устроили в сиротском доме. Годы шли, сумрачно промчалось мое детство и юность. Многое из того, что было покрыто мраком, прояснилось. Я узнала, что русские снова пришли на помощь нашему многострадальному народу и скрепили распадающуюся Армению, что у нас опять есть родина. В ней наша надежда, надежда всех разбросанных по свету несчастных скитальцев.

Я вся ушла в думы о родной стране. И во сне и наяву родина всегда стоит передо мной: вот библейская равнина Арарата, гордые вершины седого Массиса, вот серебристый Аракс, бегущий из родников Бингельских кражей.

Мне хорошо известно, сколько школ, институтов и театров в Советской Армении. Знаю наперечет ее ученых, писателей и артистов. Знаю и государственных деятелей, служащих ей верой и правдой.

В Америке нашлись соотечественники. Я вышла замуж за армянина и дала сыну имя брата, в надежде когда-нибудь с ним встретиться. Чего не бывает в жизни!

И вот разразилась новая страшная война. Кажется, для детей моей отчизны воскресают ужасы моего детства.

Я, мать семейства, не в силах была высидеть дома. Из далекой России неслись ко мне крики несчастных, разрываемых когтями фашистского зверя. Я отдала свои ценности детям павших бойцов Красной Армии, надеясь, что черные силы исчезнут из моей страны. Все свои сбережения я принесла в дар фонду по созданию эскадрильи «Давид Сасунский».

Первые годы войны я буквально задыхалась, сердце мое останавливалось, яркий день темнел для меня... В первый раз я вздохнула свободно, когда радио возвестило о победе под Сталинградом.

О это радио, чудесное изобретение человека!.. По радио впервые услышала я твое имя, мой далекий, мой родной брат. Ты не забыл меня, свою маленькую, бедную сестренку Анаит, оставленную в Карсе у старухи Рипсима перед самым походом? Ее муж говорил, что тебя видели в дни Сардарабадской битвы...

Отвечай же! Неужели это был не ты?

О, простите, простите меня, если я поспешила. Но, может, и впрямь бывают в жизни такие совпадения... Фамилии наши одинаковы, и брата звали также Ованесом. Неужели вы — не он? Не может этого быть. Не может быть, чтоб не осуществились мои мечты. Только потому я и решилась вам писать, чтобы не разбить хрустальной вазы своих надежд.

У меня над изголовьем ваш портрет. Постоянно я смотрю на вас, и кажется — вы улыбаетесь мне такой родной улыбкой. Так можно улыбаться только сестре. И чудится: вы знаете меня и братской нежностью во взгляде смягчаете скорбь вашей бедной сестры. На днях зашла ко мне подруга, американская художница. Взглянула на ваш портрет и воскликнула:

— Создатель, до чего он похож на вашего сына, маленького Ованеса! Это ваш родственник? Отчего вы так побледнели, Анаит? Что случилось?

И тогда я твердо решила написать вам. Ответьте мне хотя бы двумя словами. Я счастлива, что вы существуете, что вы носите фамилию нашего рода. Если даже вы не брат мой и не сын моей матери, все же вы мой брат. Родной брат не мог бы больше сделать для меня, чем вы.

Да одарит вас природа долголетием, да живет вечно наш народ, наша любимая Советская Армения — неугасимый огонь и прочная опора всех рассеянных по чужим краям армян!

Разрешите подписаться:

ваша сестра Анаит».

Когда дочь генерала прочла письмо незнакомки, отец, углубленный в думы, всматривался в белые берега Балтийского моря. Лучи заката играли на его смуглом лице. Молча стоял он у карты, прямой и неподвижный. Дочь до последних мелочей знала жизненный путь отца, для нее все было ясно. Она тихо подошла и склонила голову на его грудь.

— Папа, напиши ей, что ты ее брат.

Генерал погладил волосы дочери, подумал и, помолчав, сказал:

— Нет, Маргарита, такую женщину нельзя обманывать, напишем ей правду. Но совпадений еще больше, чем думает она. Все, о чем она пишет, я помню, я тоже участвовал в Карских и Саракамышских боях. Турки тогда вплотную подошли к Эчмиадзинскому монастырю. Народ отбросил их в Сардарабадском бою... Необходимо ответить. Напишем вместе.

Усевшись подле дочери, генерал взялся за перо и начал писать:

«Дорогая сестра! Ваше письмо нас сильно взволновало. Родился я не в турецкой Армении, а на Кавказе и до сих пор не имел сестры Анаит. Но теперь вы можете считать меня родным братом. Нас родила не одна мать, а один народ. Итак, отныне у меня есть сестра по ту сторону необозримого океана, и перед ней я в долгу.

Ваш брат О. Б.»



А МАДЖАК СИРАС

МАМЭ И АШЭ

(Курдская поэма)

I

У какого парня сердце не щемило в ту ночь? У какого молодца сердце не изнывало в ту ночь?

В ту ночь, в ясную ночь, светлей луны сияла Ашэ; в ту ночь, в тоскливую ночь, ярче костра пылала Ашэ.

Горда была она, как парящая над горными вершинами орлица, отважна она, как победитель-витель, стройна, как чинара, и взор схож был со взором змея, чарователя птиц. Смуглое лицо ее было нежней весенней зари, а в порыве гнева безжалостней вихря, что временами пронесится над родными просторами.

Такова была Ашэ.

На деревне один лишь Мамэ владел сердцем Ашэ, одна лишь Ашэ владела сердцем Мамэ. Мамэ, выходивший Зозан Мамэ! Сколько девичьих очей не смыкалось по ночам из-за Мамэ, у скольких девушек отнял сон Мамэ!

И когда Мамэ завладел сердцем Ашэ, тогда только успокоилась Зозан; в старческих жилах матери закипела опять молодая кровь, и обрела Зозан силу юности своей.

Словно это была не та Зозан, что десять лет подряд таскала навоз со скотного двора хозяина своего, что день и ночь служила женам хозяина своего, что, не разгибая спины, пекла в очаге-тондире предлинные лаваша для хозяина своего и, раскачивая кадку, сбивала масло для хозяина своего, — пока сама не поблекла.

Двадцатилетний Мамэ и восемнадцатилетняя Ашэ так подходили друг другу, что даже парящий в небе сокол, завидя влюбленных, выпускал из клюва добычу и засматривался на их красоту.

Пышногрудый скакун и тот внезапно замирал на месте, точно ослепленный пламенем их страстных очей.

Удальцы, что мечтали покорить сердце Ашэ, недолго таили злобу против Мамэ. Едва свершило солнце предназначенный ему круг, и возликовали все, любясь счастьем суженых — Мамэ и Ашэ.

Дахар-ага один лишь не радовался. Дахар-ага вскипел, как необузданный конь. Он видел, что сын его служанки завладел сердцем Ашэ. И Мамэ и Ашэ отважнее храбрейшего из его джигитов. Ведь эта самая Ашэ так толкнула Дахара-агу, что до сей поры кружится у него голова.

— Отродье служанки, она посмела сопротивляться хозяину!

Как джигит, защищалась она от всех тех, кто помышлял о ней; но с невиданной ненавистью, неслыханно грубо обошлась она с ним, с именитым главою племени — с Дахаром-агой. К чему же тогда его знатность, ежели раб перебегает ему дорогу и овладевает той, о которой думает он сам? Пусть Ашэ покорилась Мамэ, пусть Мамэ завладел прекраснейшей из роз Курдистана, — но ведь он владыка, и ему, владыке, должен достаться этот цветок!

И Дахар-ага приказал собрать удальцов племени, и первым был призван Мамэ.

— Видите вы солнце? — молвил Дахар-ага горделиво и властно. — Когда оно снова воротится на это место, вы должны быть в первых рядах слуг шейха Джавада, чтобы стереть в прах зиланцев и превратить

их в пепел, подобный тому, что тлеет на дне очага-тондира! Ну, трогайтесь, бог в помощь!

Это был приказ главы племени, нерушимый закон, — и Мамэ воротился домой с разбитым сердцем.

Из глаз его, быстрых и пламенных, как у сокола, выкатились две слезы.

«Нет, — сказал сам себе Мамэ, — пусть не сокрушаются Ашэ и мать!»

Засиял и воскликнул:

— Ашэ, придай силы рукам своим, чтобы лихо заломлена была папаха на голове у Мамэ!

И, поцеловав померкшее лицо Ашэ, припал он устами к ее очам, еще никогда не опускавшимся.

— Мать, — молвил он, сжимая в объятиях своих старуху Зозан, — это долг племени, я должен уплатить его. Гляди, чтобы сердце Ашэ не сокрушалось и чтобы волосы твои не седели!..

И когда Мамэ понесся на своем коне, Дахар-ага с облегченным сердцем приступил к молитве. А что до Ашэ и Зозан, — они, чтоб не сокрушать сердец своих, задержали готовые хлынуть слезы...

2

Семь лет прошло, семь раз облетела ива, и когда настал срок ей распуститься вновь, Ашэ, изнемогая от весенней истомы, жаждала Мамэ.

Дахар-ага сорок разных сватов засылал, сорок разных обещаний надавал, сорок разных хитростей придумал для умыкания Ашэ, но Ашэ даже косточки не швырнула Дахару-аге; она осталась непреклонной, как джигит, держа заломленной папаху Мамэ; ободряла она Зозан, ободрялась сама ее речами, и, в поте лица трудясь, невестка и старуха не оставались в долгу у недругов.

Ашэ, светлая Ашэ, как луна, круглая Ашэ к окошку подошла в час вечерней прохлады, сжала руками щеки, пылавшие румянцем дневного зноя, и долго не сводила глаз с дороги.

Это была та самая дорога, что похитила Мамэ; это была та самая дорога, по которой день за днем взад и вперед проходили тысячи людей, и спрашивала у них Ашэ, нет ли весточки от Мамэ.

Но вот летит верховой, в поту все чело его; тонкий архалук развевается по ветру. Он уже поравнялся с окошком и смотрит на нее. Сердце Ашэ дрогнуло, как шип, что разрывает почку, и, махнув рукой, она промолвила:

— Всадник, дай мне взглянуть на тебя — кто ты таков и откуда? Мой Мамэ уже семь лет как на войне, приди отведай нашего хлеба-соли; коли есть у тебя вести от него — скажи, а нет — прощай.

— Хлеб твой да не переводится у тебя, красавица! Сегодня я твой гость, — отвечивал верховой.

За все семь лет не было всадника смелее. Ашэ не огорчили его слова, она вскочила, взяла за узду коня и, когда всадник сошел с седла, отвела лошадь на конюшню, привязала и дала ей корму.

Когда же вернулась, странника к себе в хижину пригласила. Он вошел и повесил ружье и саблю на стену. Не успел странник снять папаху и отереть влажный лоб, как тоска, семь лет изнурявшая красавицу, вешним потоком забурлила на сердце у Ашэ. И бросилась она в объятия удальца.

— Бессовестный Мамэ, ну и молодцом же ты вернулся!

— А кто бы другой мог быть гостем твоим, моя ненаглядная!

И Ашэ припала на прудь Мамэ, он обнял ее голову, и в сладостных поцелуях забыли они все невзгоды за эти долгие семь лет.

— Ступай, Ашэ, скажи матери, пусть придет...

— Ах, Мамэ, — простонала Ашэ, — пусть мать в эту ночь спит спокойно, придет она засветло — побеседуешь, а я сейчас сбегаяю, молока, мадзуна принесу, подкрепимся и чарам любви предадимся.

Мамэ не спорил. Встреча с Ашэ истомила его; он омыл ноги, отпил немного молока, и, обнявшись нежно, они при сиянии луны возлегли на брачное ложе...

Едва заалела ранняя заря, Зозан проснулась. Три-

жды глубоко вздохнула она, трижды поклонилась на юг и трижды призвала на помощь имя божие.

Тоска по Мамэ терзала старуху Зозан. Семь лет она, затанув в сердце горе, ждала Мамэ, семь лет ободряла она ненаглядную Ашэ, что с болью в сердце ждала Мамэ, пропавшего на чужбине.

В старческих жилах Зозан еще kloкотала кровь, в руках еще не иссякла сила, но сжималось сердце ее всякий раз, как она глядела на стройную Ашэ.

Убрав постель, Зозан подошла к очагу; на этот очаг каждый день ставила Ашэ ибрух — медный ручной котел, полный воды, чтобы Зозан могла совершить омовение и с жарким сердцем просить у господ бога доброго возвращения для Мамэ и терпения для них обоих.

— Ай-яй, Ашэ! — покачала головой Зозан. — Ты, знать, забыла, но я тебя не виню, голубка. Какая такая мысль заняла тебя, что ты запаматовала дело, совершаемое неизменно изо дня в день?..

Так рассуждала Зозан, и когда, сойдя с тахты, направилась она на конюшню за ибрухом, донеслось до нее конское ржание.

Зозан остановилась.

«Не искушение ли это?.. Нет, это лошадь и по лошадиному она ржет... это не призрак».

Зозан утерлась полкой; из ердика — отверстия в крыше — проникло в конюшню солнце; перед кормушкой стоял конь, и в первых утренних лучах светилась золотистая грива гордого скакуна.

— Ох, ох, Ашэ! — заговорила Зозан. — Коли это гость — неужто не дала бы ты знать матери?.. Что ж, или я забыла, как надо почитать гостя?.. Неужто я ради моего скитальца Мамэ не стала бы гостя на руках носить? Ох, Ашэ, Ашэ!..

И в ногах Зозан проснулась былая крепость. За семь лет впервые она забыла об утренней молитве и бросилась в оду, в ту самую оду, где Ашэ семь лет одна-одинешенька ждала своего Мамэ.

Зозан открыла дверь и вошла.

Солнечный луч проскользнул за ней и озарил постель.

У Зозан ноги подкосились; она протерла глаза.

«Что это такое? Ежели и лошадь не наваждение, так что же я здесь вижу?»

Ашэ лежит, а подле нее юноша. С какой страстью обнял он Ашэ, облаженной смуглой рукой нежно обвивая ее шею, прижав к груди ее голову, за семь лет не склонившуюся ни разу! Как сладко спят они!..

«Ах, Ашэ, Ашэ! Где же честь твоя? Мой Мамэ, выхоженный мной свет очей моих Мамэ! Семь лет томится он на чужбине! Куда же девалась честь твоя, Ашэ? Ты нарушила обет, что свято хранила семь лет! Как ты дала папахе Мамэ съехать набок? Кто этот юноша, что сжал тебя в объятиях?»

И жилы Зозан напряглись, как в молодые дни, и ключом забила в них кровь. И старуха, выпрямившись, подошла к стене. Там висели сабля и тщательно вычищенное ружье.

Зозан быстро схватила ружье, и в ее руках, в упругих и окрепших руках, дрогнуло ружье, как ветка. Погладив блестящее дуло, она приставила его ко лбу гостя-соблазнителя.

— Видно, парень — джигит, стрельну я ему в лоб! — молвила она и вдруг опустила ружье.

«Нет, Ашэ, голубка ты моя, так не годится, на выстрел сбегутся соседи, и твое имя, что сберегала ты семь лет, опозорится».

И повесила Зозан ружье на место.

Тут бросилась в глаза Зозан сабля гостя; сорвала ее старуха со стены и выхватила из ножен; саблей легче — она пронзит ему грудь и на целую пядь врежется в землю: концы в воду и никакого шума, Дяхару-аге не придется злорадствовать...

И снова обрели силу руки Зозан, снова заиграла ее кровь, и она всадила саблю гостю в грудь. Тот от боли слабо застонал и замер; Зозан налегла на рукоять, сабля ушла в землю на целую пядь...

Старуха облегченно вздохнула и взглянула на Ашэ. Ашэ разбудили стоны юноши, она привстала и, еще ничего не понимая, взглянула на довольное лицо Зозан. Ашэ пришла в себя, когда горячая кровь обожгла

ей тело, и она, вскинув взор на Мамэ, пронзенного саблей, поняла все...

— Ай-яй-яй, что ты наделала! Мой Мамэ, что семь лет бился на чужбине и целехонек вернулся ко мне, убит рукой родной матери...

Тут только поняла Зозан, поняла, что Ашэ, та самая Ашэ, которая семь лет держала заломленной папаху Мамэ, из материнской руки приняла конец своей надежды. Зозан вырвала из груди юноши саблю, и кровь его забила с новой силой. Зозан припала к сыновней груди.

— Ах, Мамэ! — застонала Зозан. — Мой несчастный, обездоленный Мамэ, лютый враг и тот не обошелся бы так с тобой, не дал бы крови твоей kloкoтaть и изливаться столь бурно! Пусть весь свет узнает о нашем горе, Мамэ, мой ненаглядный Мамэ!..

К несмолкаемым воплям несчастной старухи присоединила свои вопли Ашэ.

И когда слезы их иссякли, Ашэ и Зозан сколотили гроб, уложили в него скитальца, убитого руками любящей матери, подняли милые останки на вершину высокой горы и похоронили там — вблизи орлиных гнезд...



ПЕСНЯ

Февральским утром мы попали в маленький городок на восточном берегу реки Одера. Всего два часа тому назад здесь был жаркий бой, но противник, почувствовав, что нет смысла сопротивляться, с боем отступил; часть наших войск преследовала отступающих, а та часть, с которой я вошел в этот город, долгое время была в боях и теперь получила приказ отдохнуть и привести себя в порядок.

Брюнне (так назывался этот город) в результате артиллерийской дуэли был частично разрушен. Несколько домов горело, и языки пламени, поднимаясь над домами, как будто боролись с утренним туманом, постепенно рассеивающимся.

По данным разведки мы знали, что в Брюнне живут и немцы и поляки. Вначале улицы были пустынные, как будто город вымер. Может быть, потому, что еще только рассветало. И люди, проведя беспокойную ночь, не знали, кто же станет хозяином города.

Но вскоре на улицах показались жители. Одни вышли, чтобы взять из бассейна воду, другие занялись приведением в порядок своих дворов и кормлением скота. Группа солдат и человек пятьдесят мужчин и женщин местного населения пошли к горевшим домам, чтобы преградить путь пожару.

Штаб войсковой части разместился в двухэтажном

доме. Я после бессонных ночей чувствовал страшную усталость и, опершись на стол, думал только о том, чтобы уснуть хоть часа на два.

Кто-то слегка коснулся рукой моего плеча. Это был молодой офицер армянин, с которым я познакомился в 1943 году, в феврале, во время боев в районе Харькова, когда для некоторых наших войсковых подразделений создалось довольно тяжелое положение. Теперь он дошел до Германии; накануне он кратко рассказал мне о пройденном боевом пути, и его биография была мне достаточно известна.

— Пойдем, — сказал мне Сурен Нахапетян, так звали этого офицера.

— Куда? — спросил я механически.

— Пойдем, пока есть время, отдохнем, приведем себя в порядок, — сказал Сурен и, обняв меня, хотел помочь подняться со стула.

— Оставь, оставь, — сказал я, — ты думаешь, я так уж обессилен?

— Нет, я так не думаю... но как-никак ты писатель... наше дело другое, мы привыкли проводить бессонные ночи.

Мы пришли в какой-то дом, состоящий из двух комнат и просторной кухни, где, кроме чугунной печи, был еще большой обеденный стол.

Хозяйка назвалась Жозефиной. Это была невысокая, плотная, лет за пятьдесят поляка. Для своего возраста она была необычайно подвижна. Показав одну из комнат, она сказала:

— Отдыхайте, это для панов офицеров.

Говорила она на ломаном русском языке; из ее рассказа мы узнали, что девушкой она жила в Варшаве, когда Польша еще была частью России, и знает русский язык с того времени.

Кроме меня и Сурена, туда пришли еще четверо офицеров: три русских и один украинец. Самый старший, которого звали Баснин, приказал остальным трем офицерам, чтобы они обеспечили хорошее питание и основательный отдых солдатам и привели в порядок

военную технику. Офицеры, выслушав его приказ, вышли.

Сурен обратился ко мне:

— Таков наш Баснин: не садится за стол, пока не узнает, что последний его солдат накормлен. Ну, вы теперь отдыхайте, а я позабочусь о еде и прочем.

Я вошел в предоставленную в наше распоряжение комнату, лег в одну из кроватей и уснул. Когда я проснулся, был уже день. Мои товарищи тоже отдохнули; они побрились, помылись и превратились в «женихов», как в шутку называл их Баснин. Мы собрались у стола на кухне и начали завтракать.

— Денис, — обратился Сурен к обслуживавшему нас солдату, — этот завтрак может только обмануть голод. Смотри, на обед принеси что-нибудь поосновательнее и со всеми атрибутами.

Он приказал, сколько и чего получить в хозяйственной части на обед.

Жозефина, занятая у печки, услышав слова Сурена относительно обеда, повернулась к нам и сказала:

— Эх, паны, ведь я должна бы вас угостить, но проклятая война... — И, не окончив фразу, она кончиком фартука вытерла глаза.

— Не беспокойтесь, — сказал Сурен, обращаясь к Жозефине, — у нас есть все необходимое, мы обычно обедаем в столовой, но сегодня решили устроить домашний обед... Простите, что вас беспокоим; мы хотим приготовить армянские блюда.

Жозефина посмотрела на Сурена, на его жизнерадостное лицо и спросила:

— Армянские кушанья? Вы армяне?

— Да. Вы слышали о таком народе?

— Слышала, теперь вот и вижу.

— Ну, хорошенько смотрите, — сказал Сурен с улыбкой и, садясь у стола, начал обдумывать меню армянского обеда.

Принесли свежие номера фронтовой газеты. Я и Баснин взяли по одному экземпляру и прошли в свою комнату. А Сурен по какому-то важному делу ушел в штаб.

Через час денщик принес продукты к обеду. В ком-

нате было холодно, и мы с Басинным вернулись в кухню погреться.

Я посмотрел в окно. На улице мелкими хлопьями шел снег. У окна спиною к нам неподвижно, как статуя, сидела девочка лет десяти.

— Чья это девочка? — спросил я Жозефину. — И почему она сидит спиною к нам?

— Ах, — вздохнула Жозефина, — это моя внучка Гертруда, только что пришла от соседей, там разместились солдаты.

В это время из штаба вернулся Сурен. Заметив девочку и ее странную позу, он тоже спросил:

— Почему девочка сидит спиною к нам?

Жозефина окончательно потеряла свою бодрость и, снова вздохнув, начала бесцельно водить рукою по столу.

Мне показались несколько странными и вздохи Жозефины и поведение этой девочки. Сурен спросил Басинна:

— Ты раньше нас всех пришел сюда. Не знаешь, что случилось с этой девочкой?

Басинн ничего не знал. Утром, придя сюда, он встретил только Жозефину. Поведение девочки заинтересовало нас всех.

Я и Сурен подошли к ней. За окном продолжали падать мелкие снежинки, но вряд ли девочка могла быть увлечена этой картиной. Я попытался заглянуть ей в лицо. Оно было бледное, почти восковое, только длинные ресницы придавали ему привлекательность; я увидел глубокую душевную тревогу в ее застывшем взгляде. Мы заметили также, что она дрожит.

— Гертруда! — тихо позвал Сурен.

Девочка сделала слабое движение и продолжала молчать.

Я дал понять Сурену, чтобы он оставил ее. Сурен нехотя отошел к столу. Жозефина приблизилась ко мне и как бы по секрету прошептала:

— Она не понимает по-русски.

— Но ведь я ничего ей не сказал по-русски.

— Да, пан... я хотела сказать, что, кроме немецкого, она не владеет никаким языком.

— Ну, тогда вы скажите ей по-немецки, что мы хотим, чтобы она сегодня пообедала с нами.

Жозефина, положив руку на плечо девочки, повторила мои слова по-немецки.

Но та безучастно отнеслась к ее словам.

Заметив, что ребенок не перестает дрожать, я посоветовал Сурену и Баснину не подходить к ней, пока не будет выяснена причина ее тяжелого душевного потрясения.

Мы с Суреном ушли в свою комнату и попросили к нам Жозефину.

— Скажите — в самом деле эта девочка ваша внучка?

— Что вы, пан, конечно, моя внучка.

И она в нескольких словах рассказала, что ее дочь Зосия вышла замуж за немца; единственный ребенок их — эта девочка. Зосия два года тому назад умерла от воспаления легких, а зять Ганс в 1941 году был призван в армию и уже год как от него нет писем.

— Таким образом, — закончила она свои слова, — моя внучка по матери полька, по отцу немка. Здесь разговорный язык немецкий, Гертруда говорит только по-немецки... Но, — подчеркнуто добавила она, — моя внучка воспитывалась как католичка и читает католический молитвенник на польском языке.

Она показала небольшой молитвенник, который лежал на туалетном столике.

— Но, если девочка не понимает по-польски, как же она читает?

— Читать она научилась; наш ксендз научил ее читать по-польски, а я объясняю смысл прочитанного.

— Это все понятно, — сказал я. — Но что случилось с девочкой? Почему она так дрожит?

Жозефина снова вздохнула и сказала:

— От испуга.

— А что случилось? — снова спросили мы.

— Когда я вспоминаю, мне самой становится страшно, тем более ребенку, — заговорила Жозефина.

Сурен предложил Жозефине стул, она села и начала рассказывать.

— Это произошло три месяца тому назад; мы с со-

седами говорили между собой, что дела фашистов идут плохо, скоро сюда придет Красная Армия. Многие немцы бросали все и уезжали вглубь страны; немецкие чиновники переходили из одного дома в другой и убеждали нас тоже уехать. Но куда бежать, почему бежать? Чиновникам не нравилось, что поляки не хотели уезжать, они угрожали, ругались... Но я не об этом хотела вам рассказать. В соседнем с нами доме жили две сестры — Роза и Клара; они и сейчас, словно живые, стоят перед моими глазами; пусть будет проклята эта война и тот, кто ее начал. Девушки ходили по домам и о чем-то говорили людям.

— А что они говорили, вы не помните? — спросили я и Сурен почти одновременно.

— Передавали — будто о гитлеровском режиме, о войне.

— А что именно они говорили?

— Кто знает, — комкая кончик своего фартука, продолжала Жозефина. — Они говорили о политике; а я, после того как выдала свою дочь замуж, не выходила из кухни, ни о чем другом понятия не имела. Говорили, что эти девушки распространяли всякие слухи и поэтому власти начали к ним относиться с подозрением... Да, вспомнила, говорили, что Роза и Клара антифашисты.

— Ясно, — заметил Сурен.

— Что ясно, пан офицер, совершенно не ясно, — будто недовольная вмешательством Сурена сказала Жозефина. — Последние дни нас сильно обстреливали, вы видите, во что превратился наш Брюнне. Два дня тому назад ночью кто-то вошел в квартиру девушек, оттуда были слышны крики и рыдания; кто был в комнате, почему они там шумели, обо всем этом я ничего не могу сказать. Утром, когда мы проснулись, снова началась страшная стрельба, и мы не знали, кого встретим — немцев или русских. Потом узнали, что немцы еще здесь. Это было вчера утром; а сегодня пришли вы...

— А что же стало с Розой и Кларой? — спросил Сурен.

— Это произошло вчера утром, но мне кажется, что

я и сейчас вижу эту картину и буду видеть ее всю жизнь; ох, не дай бог, чтобы это повторилось когда-нибудь.

Она замолчала, вытерла свои глаза, затем продолжала:

— Я, еще две женщины и ксендз вошли в квартиру девушек. Дверь была выломана; в комнате все было вверх дном... Сестры лежали рядом на кровати, обе были мертвые. Вероятно, их замучили. Одна из девушек была совершенно голой, другая только в одной рубашке; тела их были синие, избитые. Когда я взяла одеяло, чтобы прикрыть девушек, неожиданно услышала резкий крик; одеяло выпало из моих рук; я повернулась и увидела мою Гертруду, она лежала на полу без чувств. Девочка пришла следом за мной; она часто бывала у Розы и Клары. Сестры ласково принимали ее, вместе с нею пели песни... Может ли ребенок выдержать такую картину? Я и ксендз взяли девочку на руки и с большим трудом привели в чувство... Вчера весь день она лежала в постели; пришли ее подруги; она что-то бормотала и все спрашивала: «Кто это сделал, кто сделал?» Я не помню, кто из подруг сказал, что это сделали «злые люди», «люди в военной форме». И вот со вчерашнего дня моя Гертруда боится людей в военной форме: вчера ночью она меня крепко обняла и крикнула: «И меня, бабушка, и меня могут так убить». Так что не знаю, что мне вам сказать, пань, девочка сильно напугана.

Она замолчала; мы тоже молчали.

Сурен взял молитвенник девочки, перелистал его; видно было, что он озадачен рассказом Жозефины.

— Стало быть, она боится и нас? — спросил он.

Жозефина ответила, что утром, когда Гертруда узнала, что солдаты войдут в их дом, она ушла к подруге. Сейчас и в тот дом вошли солдаты, и девочка вернулась к бабушке.

— И вот она здесь, — закончила свой рассказ Жозефина и ушла в кухню.

Мы тоже вышли из комнаты. Гертруда сидела том же положении; на улице снег уже не падал; был виден двор, покрытый белым саваном.

Сурен кратко передал Баснину рассказ Жозефины; тот сочувственно покачал головой, потом обратился к Сурену:

— Ну-ка, молодой человек, насколько мне известно, вы умеете ладить с детьми. Оставьте хорошую память и в этом доме.

Сурен ничего не ответил; он на печке сушил свой платок; затем взял иголку и нитки и начал пришивать к шинели пуговицы.

— Пан армянин, — обратилась к Сурену Жозефина, — вода вскипела. Как будет с обедом?

— Какой обед? — равнодушно спросил Сурен.

— Вы просили, чтобы я по вашему совету приготовила армянский обед.

— Да, Сурен, — заговорил Петров, который только что вошел в комнату, — ты же обещал приготовить армянский обед, как только получим однодневный отдых.

Сурен посмотрел на Жозефину, потом на Петрова и недовольно ответил:

— Нет, я занят более серьезным делом, мадам Жозефина. Приготовьте польский обед.

Жозефина улыбнулась и будто обрадовалась, что никто не будет вмешиваться в ее кухонные дела:

— Конечно, обед варить — дело женское...

Сурен посмотрел на Гертруду; его огрубевшее в боях лицо в эту минуту стало нежным, в глазах заметно была грусть. Объяснялось ли это воспоминаниями о прошлом или болью за Гертруду? Возможно, и тем и другим.

Каждый из нас был занят своим делом. Я перелистывал книгу избранных произведений Мицкевича, вышедшую в Москве в 1943 году; Баснин и Петров составляли план политической работы в войсковой части. Сурен повернулся ко мне:

— Прочти-ка мне несколько слов из книги Мицкевича.

Я дочитывал одну из баллад и громко прочел последние строчки по-польски, а потом по-армянски:

— «Имей сердце — учись у сердца».

— «Имей сердце!» — воскликнул Сурен. — Удиви-

тельное дело человеческое чувство; иногда, независимо от того, разговариваешь с человеком или нет, все же чувствуешь, что происходит в его сердце; говорят, что сердце — плохой советчик, но об этом говорят те люди, у которых нет сердца.

Я продолжал молча читать. Потом спросил Сурена:

— А что диктует тебе сердце о Гертруде?

— Я много думал, но ни одно из моих намерений не кажется реальным.

— Например?

— Думал пойти в хозяйственную часть и принести оттуда несколько плиток шоколада — ведь она ребенок, любит сладкое, — но потом решил, что в таком состоянии она может не принять его. Затем хотел пойти в санчасть и попросить Марусю, которая великолепно владеет немецким языком, поговорить с ней по-немецки, может быть, девочка скорее освоится с нами, но потом подумал: зачем же тогда я, Сурен Нахапетян, существую, если обращаюсь за помощью к другим?

— Еще о чем ты думаешь?

— Эх, не знаю, я еще не принял решения.

— Сурен, помнишь, что нам рассказала Жозефина? Она говорила, что Гертруда ходила к Розе и Кларе и они для нее пели песни.

Сурен задумался и, будто сделав открытие, воскликнул:

— Ах, какая блестящая мысль! Если б я знал, какие песни они пели для Гертруды, я спел бы их. Но, — подумав немного, продолжал он, — ведь мы тоже имеем хорошие песни.

Повернувшись к Баснину и Петрову, он сказал:

— Я хочу петь.

— Это твое второе ремесло, — ответил Петров.

— Но я вам не помешаю?

— Ты хочешь завоевать сердце ребенка, — сказал Баснин, поняв, почему Сурен собирается петь, — делай, что хочешь.

Сурен откашлялся, посмотрел на Гертруду и тихим голосом, меняя слова известной песни, начал петь:

Говори, говори, я готов умереть за тебя,
Я готов умереть за твой прекрасный голос.
Любимая перепелка,
Раненая перепелка,
Перепелочка.

Кончив петь, он вопросительно посмотрел на меня: что Гертруда?

Песня Сурена понравилась нам. Мы посоветовали ему спеть еще. Глядя на Гертруду, Сурен запел «Ты пахарь усталый». Когда Сурен пел второй куплет, он пожал мне руку, — как будто Гертруда оживилась: она шевельнулась, правой рукой заправила волосы за ухо.

Сурен воскликнул:

— Она слушает! Девочка освобождает ухо — значит хочет слушать, значит ей нравится.

Воодушевленный этой мыслью, он спел еще одну песню и подошел к Гертруде. Девочка почувствовала прикосновение Сурена и полуобернулась к нам; она часто моргала, трогала пальцами пуговицы своего платья. Сурен нагнулся к ней и ласково спросил:

— Гертруда, ты умеешь петь?

К ней подошла Жозефина, перевела вопрос Сурена и прибавила что-то от себя.

Но Гертруда махнула рукой и снова приняла прежнюю позу.

Сурен вернулся на свое место; он был недоволен результатами своего опыта. Жозефина погладила девочку по голове, еще что-то сказала ей и вернулась к печке.

Сурен несколько раз беспокойно прошелся по кухне, затем промком, но с чувством сказал:

— Стало быть, я напрасно за эти четыре года войны прошел три тысячи километров пути. Нет, — возразил он себе, — нет, она должна заговорить. Баснин прав, надо в этом доме оставить хорошую память. Ребенка испугали люди в военной форме, но она не должна пугаться нас — не так ли? — обратился он к нам. — Только надо найти путь к ее сердцу; но этот путь нельзя измерять километрами.

Петров, который пришивал чистый воротничок

к своей гимнастике, услышав последние слова Сурена, с улыбкой заметил:

— Ты, Сурен, мастер дорог.

На что намекал Петров, трудно сказать; надо было услышать у него о Сурене, с которым они воевали четыре года.

В это время наше внимание привлек странный стук: Жозефина хотела что-то достать из шкафа, но растерянно остановилась, очевидно решила поставить предмет на место, но это ей не удавалось. Она произносила непонятные нам слова; стук повторился: разбилось стекло. Сурен подошел к Жозефине, чтобы помочь ей, но она настойчиво повторяла:

— Нет, нет, не нужно.

Потом повернулась и, виновато посмотрев на нас, достала из шкафа картину в большой раме, стекло которой по неосторожности только что разбила.

Сурен посмотрел на картину; осторожно снял с нее обломки стекла и спросил:

— Почему вы прячете ее в шкафу? Ее место на стене.

Жозефина снова вздохнула и вполголоса ответила:

— В последние дни со всех сторон был такой гром, что стены дома тряслись; одно наше окно разбилось... Я подумала: вдруг самая любимая картина Гертруды упадет и разобьется, — и решила спрятать ее, пока наступит тишина. Теперь по неосторожности разбила стекло...

Сурен подошел к нам, поставил картину на стол, внимательно посмотрел на нее, потом позвал Жозефину и сказал:

— Эта картина нам известна около тысячи семисот лет.

— Что вы говорите? Да, да, вы сказали, что вы армяне, стало быть... — Она не знала, что еще сказать. На картине была богородица с младенцем.

Сурен хотел сказать, что христианство в Армении существует тысячу семьсот лет. Поняла ли это Жозефина, неизвестно, но слова Сурена произвели на нее хорошее впечатление; она ласково улыбалась и так

смотрела на Гертруду, будто хотела свои чувства передать ей.

Гертруда же почти наклонилась в нашу сторону и смотрела на Сурена. Тот обрадовался, вызвал красноармейца и, вынув картину из рамы, передал ее солдату.

— Отнесешь комсданту и попросишь, чтобы ее остеклили. Это очень важно; вот и Баснин даст тебе записку.

Когда он объяснил Жозефине, что раму остеклят, она очень оживилась и энергично принялась готовить обед.

Сурен сел за стол, взял газету, разделил ее на части и сделал несколько бумажных голубей.

Скоро красноармеец вернулся с остекленной рамой. Сурен осторожно положил картину под стекло и, держа раму в руках, подошел к Гертруде. Он заметил, что девочка больше не дрожит; она пристально смотрела на Сурена. Сурен взял Гертруду за руку; девочка не сопротивлялась.

— Покажи, где висела картина.

Вместо девочки ответила Жозефина. Сурен вместе с Гертрудой вошел в другую комнату и бережно прикрепит картину на старое место, над кроватью девочки.

Затем, держа Гертруду за руку, он вернулся к столу и предложил ей стул; девочка села. Показывая бумажных голубей, Сурен сказал:

— Хочешь, я научу тебя, как делать бумажных голубей?

Гертруда посмотрела на всех нас, затем на Сурена, потом на голубей, и на лице ее появилось нечто вроде улыбки.

— Смейся, милая, смейся, я скучаю по детскому смеху, — воскликнул Сурен по-армянски.

И Жозефина, и Баснин, и Петров посмотрели на меня: они хотели узнать, что говорит Сурен. Я перевел.

— Я этого ждал, — сказал Петров, — дети не могут оставаться безразличными к Сурену.

Но Сурен не считал свое дело законченным; он наклонился к Гертруде и сказал:

— Познакомимся. Меня зовут Сурен. Ну-ка скажи: Сурен. Как на твоём языке получится Сурен?

Жозефина вертелась вокруг стола; то подходила к печке и следила за обедом, то переводила слова, обращенные к Гертруде.

Гертруда ничего не сказала на обращение Сурена; только однажды она оглядела его с ног до головы; а Сурен продолжал делать новых голубей. Жозефина подошла, оперлась на спинку стула Гертруды и спросила у Сурена:

— Есть у вас дети?

— Есть, — ответил Сурен.

— Ваша жена, очевидно, считает себя счастливой.

— Я еще не женат.

— Как? — удивленно воскликнула Жозефина. — Простите, я немного не поняла вас: у вас дети, а вы еще не женаты?

Сурен вздохнул. Петров, который внимательно следил за разговором, ответил вместо товарища:

— Мадам Жозефина, Сурен усыновил сына Смирнова, погибшего друга. Так что у него есть сын, а невеста его — моя землячка, хорошая девушка, по имени Вера. Вот как только дойдем до Берлина, так сыпруем свадьбу Сурена.

Жозефина улыбнулась и стала накрывать на стол.

— Ну, — сказала она, — пан офицер не смог приготовить армянский обед, помешала Гертруда, кушайте сегодня польский...

Мы поставили кресло в центре, Сурен взял Гертруду за руку и сказал:

— Ты сегодня наша гостья и старшая за этим столом.

— Старшая... — впервые произнесла девочка и на этот раз улыбнулась.

Казалось, что она еще полностью не понимает, что происходит вокруг. Она поднялась, подошла к Жозефине, вместе с нею пошла в ту комнату, где Сурен прикрепил к стене любимую ее картину; потом вернулась, и лицо ее просветлело, на щеках появился румянец; но она старалась ни к чему не прикасаться, в особенности к нашим вещам.

Сурен снова предложил ей пообедать с нами. Она хотела сесть на стул, но Сурен заставил ее сесть в кресло. Она все время смотрела на бабушку. Увидев, что и та приняла наше предложение и села за стол, девочка взяла ложку и медленно начала есть рисовый суп...

Обед кончился... Сурен снова начал делать голубей, на этот раз Гертруда попыталась и сама сделать, но у нее ничего не получилось. Сурена больше всего радовала улыбка, которая иногда появлялась на лице девочки. Он сделал из бумажки новую игрушку и сказал:

— А вот теперь получилась куропатка. Она тебе нравится?

Жозефина уже не переводила слова Сурена, но казалось, что Гертруда понимает его; в знак согласия она ответила Сурену кивком головы.

— В детстве я много песен пел о куропатке. Хочешь, спою?

Гертруда снова кивнула головой. Сурен спел:

Солнце показалось из-за черных туч,
Куропатка прилетела из-за зеленых гор,
Из-за зеленых гор — из-за вершины гор,
Принесла привет от цветов.
Прекрасная, прекрасная,
Прекрасная нарядная куропаточка.

Гертруда внимательно слушала Сурена; в ее глазах появился блеск. Она что-то начала бормотать под нос, затем взяла бумажного голубя и, когда Сурен кончил петь, поднесла к его лицу и, раздувая щеки, сказала:

— Пух, пух!

Сурен сделал вид, что боится; это понравилось Гертруде, и она повторила свою игру.

Жозефина стояла у печки и мыла посуду, и казалось, что она произносит слова молитвы.

Петров и Баснин смеялись над комическими движениями Сурена, пытавшегося развеселить Гертруду. Когда Сурен взялся руками за голову, девочка сунула бумажного голубя за его ворот и, смеясь, сказала:

— Ох, пан офицер боится бумажного голубя.

Впервые ее радостный смех прозвучал в комнате.



ВИГЕН ХЕЧУМЯН

ТРОПА В ЛЕСУ

Китайская легенда

*Посвящается варпету
Аветику Исаакяну*

Сорок весен минуло с того дня, как художник Ли Юань поселился на опушке большого леса. Начинаясь у двери его домика тропа тянулась к лесу, долго вилась под высокими деревьями, затем поворачивала слегка, пробегала по еле видимому горбату бамбуковому мостику и пропадала в лесной чаще.

Каждый день перед рассветом, когда деревья начинали высвобождать из черной, словно тушь, ночи свои скребущие небо вершины, Ли Юань садился на порог своего домика и ждал восхода солнца.

Он задумчиво следил за тем, как на востоке — там, где линия неба четко отделялась от зазубренной кромки леса, — словно угасающий глаз, тлела Утренняя звезда. Она испуганно взмахивала ресницами, мигала, словно наливаясь слезами, и, тускнея, вдруг пропадала. Тревожно шелестел лес, стонали деревья, как бы чувствуя, как за ними рождается солнце.

И пока невидимая рука быстро набрасывала на молочном небе силуэты ветвей и бархатистых листьев,

чудилось, будто из лесной чащи выходит на поиски добычи вода и леса. Ли Юань видел за, видел и прячущихся за толпой людей, которые вытаскивали сабли...

Когда же вершины деревьев последние капли черной краски с испуганным щебетом взмытаившиеся люди выбегали и ли, метался затравленный небом четко отделялась от застремительно появлялось сол

И Ли Юань вставал с красками и кисточками, бродил и входил в лес. Он легко шел через просветы деревьев на золотополосую шкуру убитого

С утра до самого вечера в той чаще, бродил до тех пор, пока не покрывались мелкими

Измученные дневным трудом вечерам перед домиком Ли смотривали разрисованные ветвей листки рисовой бумаги вались. Одному особенно на лотоса с пролетавшей над лесной цветочной пылью, солнцу шелковистый побег перче которой увязла красная крохотная пичужка; третьи в воде камыши... Они перешептывались, а уходя домой в сунку, чтобы украсить голые стены, чтобы унести с собой кусочек

А Ли Юань смотрел и думал, чем еще может он украсить так, чтоб они полнились чудесам и красотам мира.

И Ли Юань начал рисовать...

ищи тяжелыми шагами
тигр, властелин земли,
его налитые кровью гла-
застылыми стволами деревь-
вали из ножен золотые

ев стряхивали с себя по-
и и проснувшиеся птицы
вали в бездну неба, при-
з засады. Сверкали саб-
тигр, и там, где линия
зубренной кромки леса,—
нце.

орога, брал свой ящик с
ал листы рисовой бумаги.
агал по тропе, и солнце
кидывало ему на плечи
ого тигра...

а Ли Юань бродил по лес-
р, пока все листочки бума-
и рисунками.

удом люди собирались по
Юаня, с восхищением рас-
легкими касаниями кис-
и тихонько переговари-
равился раскрытый бутон
ним пчелой, густо облеп-
другому — тянувшийся к
эйкомии, в липкой гутта-
новатыми лапками какая-то
его радовала растущая в
реговаривались, беседовали
и, получали по одному ри-
е стены своих хибарок, что-
леса.

и вслед, с горечью думая о
расить жизнь людей, укра-
тью приобщились ко всем

..
совать лес — весь лес це-

Он рисовал только по утрам, рисовал до того времени, пока во дворце Хуан Цзиня, стоявшем на берегу реки, водяные часы не отбивали восемь раз. И после этого он целый день раздумывал над тем, что нарисовал утром, и перед его глазами целый день мелькали тени и блики, мелькали оттенки, которые должны были создать живое представление о лесе.

Спускался вечер, собирались перед его дверью люди, но, видя его глубоко задумавшимся, тихонько уходили домой.

И так продолжалось до тех пор, пока изображенный на рисовой бумаге лес уже трудно стало отличить от леса настоящего. И тогда Ли Юань показал картину людям и сказал, чтобы они взяли ее себе. Взяли себе потому, говорил он, что их жизнь по-настоящему может украсить только весь лес, и только весь лес даст настоящие блага людям, если они будут смелы и войдут в него по той тропе, которую показывает им он, Ли Юань.

Но люди выслушали его молча, не знали, что ответить ему. Они печально улыбались, оглядываясь на стоявший у берега реки замок Хуан Цзиня, пристально вглядываясь в ожившую на рисовой бумаге тропу, которая тянулась к лесу, долго вилась под высокими деревьями, затем поворачивала слегка, пробежала по еле заметному вдаль горбату мостику и пропадавала в лесной чаще. Ведь весь лес принадлежал Хуан Цзиню, который зорко следил из своего замка за всеми дорогами, ведущими в лес...

Но пока люди обдумывали свой ответ, Хуан Цзинь отнял у них изображение леса, а дерзкого художника заточил в одну из отдаленных комнат своего замка.

И так прошло много лет...

Только в щель прикрытого ставней окна Ли Юань видел теперь тот чудесный мир, который хотел принести в дар людям, чтобы украсить их жизнь. Ему видны были лишь зазубренные вершины деревьев и тонкая полоска неба, на которой перед рассветом, словно угасающий глаз, тлела Утренняя звезда. Она

испуганно взмахивала ресницами, мигала, словно наливаясь слезами, и, тускнея, вдруг пропадала. А солнце стремительно скользило по видимой полоске неба, оставляя глубокий, словно шрам, след в воспаленных глазах Ли Юаня.

Ни голоса, ни звуки не доносились до него. Лишь по утрам, когда ему просовывали чашку с рисом и кувшин с водой и дверь захлопывалась, Ли Юань слышал лязг поворачиваемого дважды ключа, и наступала каменная тишина. Ли Юань закрывал глаза, и ему казалось, что он выходил из комнаты, из замка, проходил по всем тем местам, по которым бродил когда-то, мысленно брал в руки кисти и упрямо рисовал, в тысячный раз рисовал все тот же лес — лес целikom...

И таким живым, осязаемо реальным представлялся мир, и так забывались в этот миг стены темницы, что Ли Юань невольно бросался к двери. Но придя в себя на полдороге к ней, покачнувшись, падал на цыновку и, замерев, молча вслушивался в монотонный звон водяных часов.

Но как-то Ли Юань забылся так сильно, что дошел до самой двери. И когда в забытьи прикоснулся к ней, она медленно подалась, и Ли Юань увидел себя в безлюдном коридоре. Он сразу услышал далекие голоса, которые словно звали его. Казалось, он слышит шелест леса и задыхающийся щебет птишек, говорящий о том, что близко, совсем близко ждет его свобода.

И Ли Юань шел, настороженно прислушиваясь. Он открыл первую же дверь — и холодный пот, словно капли свинца, стал падать с его висков. Большой зал был пуст, а на стене он увидел изображение леса, созданное им самим...

Неумолчно били водяные часы, слышались бегущие шаги, которые становились все слышнее, приближались...

Слуги Хуан Цзиня во всех уголках замка разыскивали пропавшего художника. Но зал, куда незадолго до этого вошел вырвавшийся из заточения Ли Юань, сейчас был пуст. Внизу, под живым изображением ле-

са на стене, на мозаичном полу лежали сброшенные с ног сандалии...

А на картине по лесной тропе, даже не оглядываясь, шел Ли Юань, и солнце через просветы деревьев накидывало на его плечи золотополосую шкуру убитого тигра — властелина земли. Ли Юань мягко ступал под нарисованными деревьями, прошел по едва видимому вдали горбату мостику и пропал в лесной чаще...



БОГОМАТЕРЬ

1

Словно девушки на овадебном пиру, нарядились в золотые одежды сады обширного Араратского края. Под деревцами и в канавах вдоль дорог, ведущих от села к селу, от деревеньки к деревеньке, ветер собрал пылающие пурпуром и медью краски осени. На увядшие цветы и травы с тихим шелестом осыпали свой пожелтевший наряд стройные, похожие на пляшущих девушек, тополя. На небесном своде все больше собиралось по почам звезд, и все ярче светили они. Все больше становилось золотой листвы на земле, уже принесшей плоды. Усталым садовником, глубоко ушедшим в свои снежные думы, грузно сидел посреди равнины старик Арарат.

На полях, раскинувшихся между садами, шла осенняя пахота. Впрягались десятки пар волов. Пахарь брался за рукоять дедовской сохи, погонщики садились на ярмо передней упряжки. Страстной молитвой природе возникала в чистом воздухе песня пахаря. Налетал ветерок, подхватывал звуки этой вековой песни труда и, разрывая на лоскуты, разносил вокруг. Вместе с людьми трудились и волны, переступая медленно, словно в ритм монотонной песни.

Пахота продолжалась и в теплые, ясные ночи. Взрывающая комья земли, мягко звенела соха. Проведя бороз-

ду, пахари приподнимали сошник и покрикивали на медленно поворачивавшихся волов. Песня пахаря на мгновение обрывалась.

Голоса с поля доносились до окраины села. В стареньком домике на краю деревни удрученный бессонницей старик Аристакес, прислушиваясь к звукам на поле, думал: «Сошник повернули, помоги им, господи, во труде их...» И, устав от бессонницы и беспокойных мыслей, затеплял масляную лампадку, открывал древний, почерневший от копоти молитвенник и на последней странице его, свободной от текстов, кривыми, дрожащими буквами добавлял под старыми записями: «В этом году много скота от бескормицы полегло, телята в горах остались... Отец Симеон отдал богу душу. Армянского летоисчисления 630-й, ноября месяца. Кто прочтет, да помянет усопшего молитвой, и вам, помянувшим, да будет мир. И ныне, и присно, и во веки веков...» Потом, подумав, приписывал: «Осенью этой урожай богатый был и холода наступили поздно, и Нукэ мою повенчали. Да будет дано каждому...»

В час, когда на востоке начинали таять звезды и начиналась борьба между мглой и светом, пахари распрягали волов и садились отдыхать на борозде. Таяли и таяли звезды в тишине, и старик пахарь говорил, вспоминая обычаи отцов: «В этот час грешно заставлять животных работать...»

С расветом отдыха наступал конец, работа возобновлялась.

В полдень приходили девушки в пестрых, как поля вокруг, платках, приносили в узелках обед, в кувшинах — вино и воду. На тропинках колыхались их ситцевые платья, ветер взметал плети черных кос.

Пахари поднимали головы, заглядываясь на стройных девушек, и самый юный из них взволнованно повторял одно, только одно, звучащее в песне пахаря, но родное, все говорящее слово любви: «джан»...

— Анаит пришла, отдохнем, — останавливал волов старый пахарь.

Юноша нежно пел:

Дам я тебе поцелуй и получу от тебя.
И никто-никто не узнает о нашей любви.

Девушка подходила, подносила кувшин старейшему. Тот брал, принимал губами к горлышку и жадно глотал студеную воду.

— Ох, и сладка твоя вода, Анант. Будь же и ты такой сладостной, — говорил старик и, утолив жажду, передавал кувшин другим.

2

На дворе было солнечно, тепло. Утомился расцветчик Овнан от работы в уютной, тесной своей келье. Взял чашечки с красками, перья, писанное на пергаменте евангелие и вышел на солнце.

Там, где кончались деревенские сады, на берегу озера, образованного замкнувшимся тут ручейком, стояла древняя, полуразрушенная часовенка. Ее стены поросли мохом, из щелей между камнями пробивались сухие бессмертники. Но тысячи волшебных красок, в тонах и переливах, ласкающих глаз художника, наложивших тут на все осень. Столько багрянца, золота, лазурного неба, зеркальной воды!.. Окружающая природа казалась Овнану книгой, разузоренной каким-то неведомым, недостижимо великим художником... Но не для него было сейчас все это очарование. На страницах рукописи ему надлежало изобразить евангелиста Матвея с его поднятыми горе очами, благостным лицом и рукой с пером, застывшей над пергаментом. Благолепно, но серо, уныло... Бесконечно приятнее работать над обрамлениями канонов, затейливыми рисунками на полях. Возьми эти окружающие тебя краски и образы, перенеси их на пергамент, покрой листы его тонкой игрой пестрых, беглых, ласкающих линий!..

Овнан смотрел на воду озера. В ее зеркальной глади он видел отражение своего лица. Взяв горстку камешков, кидал один за другим в водоем, и лицо его в нем морщилось, разбивалось на круги. Расплываясь кольцами, они мелкими волнами неслись к берегу.

Задумавшись, долго играл так Овнан, и внезапно озарила его мысль: «Почему бы вместо евангелиста Матвея, такого, каким его изображают всегда, не нарисовать... самого себя?.. Как бы это было интересно!..»

Подумав так Овнан, но сейчас же точно оборвалось в нем что-то, и сердце кольнула боязнь. Не потребует ли у него бог ответа за эту святотатственную мысль?.. Всевидящий, праведный, несповедимый бог? Но Ари-стакес говорит, что бог и добрее всех и всепрощающ!

Нет, за стремление к красоте бог не покарает!

Так решил Овнан и, преисполненный несказанного волнения, решил написать в виде евангелиста себя.

Удобно расположившись, он начал работать. Красивый широкий лоб, черные волосы, небольшая борода, огненные глаза смотрели на него из озера.

Художник с головой погрузился в свою работу.

Восхищаясь ею, он, копируя свое отражение, все время играл с ним. Кидая камешками, изгонял его, но вода быстро успокаивалась, и с ее сверкающего зеркала вновь глядело на него все то же умное, обожженное солнцем лицо.

И еще раз бросил он камешек, и опять взволновалась чистая гладь воды, и лицо его слилось в ней с венком желтых листьев нависшей над озерком яблони.

Вода успокоилась, но художник не отрывал от нее удивленного взора. Зажмурил глаза, открыл... Как будто ничего и не изменилось. Нет, рядом с его лицом, почти прильнув к нему, к его всклокоченным волосам, возникло и другое — нежное лицо молоденькой девушки. Одной рукой прижав к груди хлеб, завернутый в пестрый платок, другой она поддерживала кувшин с водой, стоявший у нее на плече. Удивленным, колеблющимся в зарябившей воде взглядом смотрела она на рисунок в книге, лежащей на коленях Овнана. Его сходство с лицом художника поразило ее, и какой-то смешанный с удивлением страх загорелся в глазах. Священная книга — и в ней образ близкого ей чело-века...

Овнан пришел в себя и поднял голову. У него за спиной стояла Анаит.

Бережно опустив книгу на землю, он встал. На одно мгновение присутствие девушки вызвало в нем раздражение. Анаит оторвала его от творческого порыва, от мира красок, и кто знает — удастся ли ему снова с тем же увлечением продолжить свою работу...

- Зачем пришла?
- А что тебе?
- Я — рисую. А ты?
- А я смотрю, как ты рисуешь.
- Уйди!

Анант изумленно посмотрела на него. Улыбка сбежала с ее вдруг потемневшего нежного лица.

— Уйду, — вспыхнула она и оскорбленно удалилась.

Овнан смотрел ей вслед и сердился на себя. Никогда еще он не был так груб с Анант. Ну, да ведь она сама виновата — помешала так редко посещавшему его вдохновению!

— Вернешься? — крикнул он вдогонку торопливо уходившей девушке.

— Нет!

— Приходи, я буду ждать!

— Нет!

— Придешь?

Но Анант была уже далеко.

— Эй! — окликнул он ее еще раз и сделал несколько шагов вперед. — Придешь?

Анант скрылась за деревьями.

Овнан вернулся и снова сел на берегу озера.

«А если не вернется? — подумал он. — Но все равно больше работать не буду, подожду».

И он стал ждать. Лег в тени под яблоней. Пытался думать, но мысли ускользали, казалось — погружались в водоем и расплывались вместе с возникавшими на нем кругами.

«Посватаюсь к ней в этом году, а не то узнает кто про нашу любовь, встречи... все прахом пойдет, все мои надежды, — думал он. — Что если вдруг прослышит отец игумен? Он запретит мне расцвечивать священные книги, скажет — оскверняешь!.. Но понапрасну хочет он, чтобы я постригся. Нет, не пойду в монахи. Лучше так: садовник и художник! С меня хватит...»

Время проходило. Обычным своим осенним путем склонялось на запад солнце. А девушки все не было.

«Если придет, больше не буду груб с нею», — сказал себе Овнан.

Поток его мыслей внезапно прервался. Родилась и глубоко взволновала новая мечта.

«Пусть придет. Она так похожа на мать Божию... Так я ее и напишу... Анаит моя, бесценная, для бога в любви нет греха!...» Кровь кинулась в лицо ему от пламенных мыслей, вспыхнула в глазах любовная тоска.

Зашумела трава под чьими-то шагами. Овнан оглянулся. По тропинке, смеясь, шли две девушки. Они не заметили художника.

«Почему же не пришла Анаит?»

В сердце Овнана бушевала неумемная жажда любви, а минуты, казалось, текли как часы...

Мысленно он уже намечал, как лягут на пергамент черты Анаит в задуманном им образе богоматери, а девушка все не шла, не шла...

Но вот снова послышались шаги и из-за деревьев показалась Анаит. Она робко подошла к Овнану.

Он улыбнулся, схватил ее за руку.

— Иди, я знал, что ты придешь, — сказал и раскрыл ей объятия.

— Увидят...

— Ничего!..

Он обнял девушку и прижался к ее горячим губам.

Дам тебе поцелуй и получу от тебя.

И никто-никто не узнает о нашей любви, —

донеслась до них с поля любовная песня молодого пахаря.

Они сели на берегу озера.

— Дай поглядеть в глаза твои... — говорил Овнан. — Я изобразю твою голову в этой книге... Изобразю... Книга эта будет жить долго, очень долго, дольше меня, тебя, наших внучат... А с книгой будут жить и наши образы, дорогая...

— Грешно, Овнан, не надо. Узнает игумен, проклянет нас...

— Нет, не проклянет, не бойся, только не говори никому.

Овнан лег на спину, положил голову на колени девушке и говорил с нею нежно. Его внимание привлекли чулки Анаит.

— Красная, голубая, желтая... — считал он шерстинки. — Кто тебе их связал?

— Сама.

— Красивые узоры.

— Я и для тебя связала... Лучше этих.

— Для меня всего лучше — ты сама...

На берегу озера, среди пышных, ярко горящих в лучах осеннего солнца красок Араратской долины, начал Овнан переносить на пергамент черты любимой девушки. Так рождался среди текстов евангелия образ девы божией...

3

Дни бежали. Наступили холода. Полевые работы заканчивались.

Каждый день, относя обед отцу на пашню, Анаит приходила к старой часовенке, и Овнан рисовал ее.

Когда пахота пришла к концу, была готова и его работа: разузорена и украшена ликами святых вся рукопись. Переплетя ее, Овнан однажды утром собрался отнести ее игумену. Шел с ним и переписчик — старик Аристакеc.

Переписчик восхищенно рассматривал рукопись. Красочные миниатюры, тончайшие украшения на полях и углах страниц уносили его в волшебные, сказочные миры. Анаит и Овнана в образах девы Марии и евангелиста Матвея он не узнал. И до самой кельи игумена — пока они шли — старик не переставал хвалить молодого художника.

— На этот раз, сын мой, разукрасил ты рукопись дивно. Велик дар твой, велик... Юн ты, но велик, очень велик дар твой...

Овнан слушал, молча. Он был доволен, что переписчик не узнал ни его, ни Анаит, несмотря на то, что они были так похожи, так похожи!.. Он думал только о том, что скажет игумен. Может быть, посмотрит невнимательно и не заметит? А если заметит?..

Они вошли в келью игумена, преклонили головы.

— Благослови, владыка.

— Господь благослови вас, дети мои. Что, принес ли евангелие?

Игумен взял рукопись, начал листать.

Изумительны, чудесны были обрамления и заставки. Казалось, сама природа с ее изысканнейшими тонами ожила тут, на девственных листах пергамента, сама тысячецветная осень щедро рассыпала на них свои богатые краски, расцветила ярчайшими радугами. Грациозно изгибались павлины на полях рукописи, пестрыми переливами тонов светились лепестки цветов. Но всего прекраснее были образы богоматери и евангелиста, в ликах которых, казалось, пульсировала живая, горячая кровь...

Игумен перелистал всю рукопись. Закрыв, по сей час же перелистал еще и еще раз, надолго задержавшись взглядом на волшебных ликах. Его обычно мрачное лицо стало еще мрачнее. Черные густые брови упали снопам и закрыли глаза.

Овнану стало страшно. Сердце билось бурно-бурно, и он никак не мог унять его.

— Овнан, — поднял глаза игумен, — вот ты какой, какую красоту создал!.. Нарисовал, позолотил, раскрасил — хорошо, чудесно расцветил священную книгу. Очень хорошо, но...

Старец на мгновение задумался, точно взвешивая то, что собирался сказать.

— Очень хорошо, но... ты должен послушаться моего совета: должен постричься, принять сан монашеский. Да снизойдет дар небесный на слугу храма божьего, и да будет приятен он господу!..

«Не узнал, не понял ничего...» — обрадовался художник и уже почти не слышал того, о чем говорил игумен. А тот все восхвалял, восхвалял блага жизни монастырской.

Наконец он умолк и посмотрел на Овнана, ожидая ответа, но тот был погружен в свои думы.

— Подумай, хорошо подумай, сын мой, и да очистит всемогущий мысли твои и поможет стать смиренным его слугой.

— Подумаю, владыка, — ответил Овнан и, приложившись к руке игумена, выбежал из кельи.

Ветерок нежно играл его черными, падавшими на лоб кудрями. Полный теплого чувства, Овнан ласково поглядывал на шедшего с ним рядом истомленного, усталого старика переписчика. Ему хотелось сказать Аристакесу что-нибудь доброе, мягкое, но он не находил слов. Да и что мог сказать он этому согбенному старцу, такому же, как сам, несчастному, нищему человеку?.. Такой же неимущий, чем мог помочь он старику? Только любовь да рисунки и были всем его богатством — самым дорогим, что было у него в жизни, но этим богатством он не мог поделиться ни с кем...

Они незаметно подошли к убогой келье переписчика, и у ее дверей Овнан, сам не зная как, заговорил с Анаит.

— Пойди, Аристакес, пойди от меня сватом, попроси отдать за меня Анаит...

— Что ты говоришь? — изумился старик. — Разве же ты не пойдешь в монастырь?

— Нет, не могу... Мои цветы засохнут в стенах монастыря. Им пужно солнце. Солнце и свет. Они должны расти на воздухе, получать тепло. Тогда они станут еще более красочными, яркими, восхитительными...

4

В конце зимы старик, уставший от бессонницы, взял свое истрепанное, почерневшее евангелие, зажег лампадку и на последней странице книги, полной старых записей, добавил несколько новых строк:

«Да будет благословенно имя твое, боже милостивый, — записал он, — господь мой, господь... Молю тебя, выслушай слугу своего смиренного, будь милостив к нему — числа... нарекли Анаит женой Овнана...»

А что же случилось с той полной ярких осенних цветов рукописью?

Столетия подряд прожила и все еще живет она с печатью вечности на своем челе и, словно тайну, которую никогда и никто не постигнет, сберегает на страницах своих два нежных, живых человеческих образа...



ВАХТАНГ АНАНЯН

ОЛЕНИ

1

Как-то дошел до нас слух, что стадо оленей, покинув лорийские вершины, перешло через гору Хал-Халлу и обосновалось в лесах на одном из притоков реки Делижан.

Дед Шакар, прославленный охотник из Казаха, собрал своих приятелей — Артэма, Ато и Кочара — и по левому берегу реки Акстэф поспешил к подножию горы Халав. Здесь солнечные балки были богаты кормом — желудями, буковыми орешками и другими дикими плодами. Настоящий рай для оленей!

Увязался и я за охотниками.

У каждого из нас по фужью за плечами и по башлыкку на шее — с хлебом и сыром. Артэм и Ато побогаче — у них была и хурма, а у меня и у дяди Кочара — вареная картошка. Настроение у всех у нас было приподнятое, и мы просто сгорали от нетерпения.

До тех пор оленя я встречал только в книжках, да еще видел оленью голову с огромными рогами, прибитую над входом в дом деда Шакара. Всегда глядел на нее, разинув рот...

К вечеру дошли мы до одного из зимовьев, расположенного на берегу реки Делижан. В этом месте река становится узенькой: не река, а ручей.

Навстречу нам из зимовья с лаем выбежали собаки. Из землянки вышел краснолицый, в огромной папахе старик и позвал нас к себе.

Дед Шакар присел на камень и отер папахой струившийся с лица пот.

— Нет, кум Гукас, спасибо, спешим, — сказал он.

— Ах, так я для вас не человек?.. Мимо дверей моих можно пройти и хлеб со мной не преломить? — обиделся старик.

— Зачем ты так говоришь, кум Гукас? Мы ведь на охоту пришли, не в гости...

— Не бойтесь, с пустыми руками не уйдете, леса полны оленей. Передохните, а утром я дам каждому из вас по оседланной лошади — за полчаса на месте будете.

Услышав о лошадях, дед Шакар смягчился, и мы остались в гостях у кума Гукаса.

Пастухи зарезали барашка, разожгли огонь в бухаре¹ и угостили нас на славу — так, как велит старый обычай.

2

Когда мы поднялись, на дворе было еще темно. Поглядываем на кума Гукаса, а он ни с места. Лошадей и в помине нет...

— Где же твои лошади, кум Гукас? Запаздываем...

— Лошадей сейчас подам, — спокойно ответил старик. Он подошел к погребцу, достал пузатую бутылку и налил каждому из нас по чайному стакану кизиловой водки. — Вот вам и лошади, садитесь и поезжайте, — улыбаясь, сказал кум Гукас.

Мы выпили. Огнем разлилась водка по нашим жилам, и ноги стали такими легкими, что мы понеслись быстрее коней.

Вот о каких «оседланных лошадях» говорил кум Гукас!

¹ Бухара — печка.

День мы провели в другом зимовье, а вечером, когда начало смеркаться и пастухи пригнали стада домой, пошли дальше — вверх по реке, к горам.

Вскоре мы были у ручья, дающего начало реке Делижан. Он течет в густо заросшей лесом балке. Один из склонов балки глядит на север. Лес здесь мрачный, девственный. Сюда нет доступа солнцу, и исполинские деревья мирно гниют и порастают грибами. Днем в этом лесу убежище оленей и косуль.

По другую сторону ручья, на южной стороне балки, — редкий дубняк, травянистые лужайки. Здесь тепло и обильный корм. По ночам олени перебираются через ручей, с северного склона балки на южный, и пасутся на его лужайках. На заре они пьют воду из ручья и снова уходят на свои твердыни.

Дед Шакар остановился и показал на тропинку у себя под ногами. На сырой земле — десятки следов, оставленных оленьими матками, оленятами и самцами. Целое стадо оленей прошло здесь к воде и вернулось обратно... Между следами тут и там круглые рыжие шарики помета, — вслед за оленями к ручью бежали и косули.

Солнце закатилось. Сейчас олени снова придут к воде.

Дед Шакар расставил нас вдоль ручья в ста шагах друг от друга и сказал, чтобы мы спрятались за пнями или стволами деревьев и замерли — ни одного движения, ни звука!

Так мы и стали — цепью, и цепь наша пересекла путь оленьему стаду. Ни одно животное, спускаясь к воде, не уйдет от наших выстрелов.

Был сентябрьский вечер, теплый и тихий. Взошла луна и осветила и золотистый осенний лес, и желто-зеленые лужайки на южном склоне балки. Мягкие лунные лучи проникли между стволами деревьев и живым, дрожащим, узорным ковром легли на ручей и тропинки, бегущие к его берегам.

Природа понемногу погрузилась в сладкий сон. Лишь ручей шумел однозвучно да изредка вскрикивала во сне какая-то птица.

Ожидание было долгим, томительным.

Наконец откуда-то сверху донесся глухой, но мощный звук, похожий на густой рев быка: бу-у... бу-у... бу-у...

Мы затаили дыхание; звук повторился, стал ближе. Под ногами животного, спускавшегося вниз по склону, захрустели сухие ветви. Олень!..

Недалеке от меня, несколько повыше, олень остановился. В темноте я не вижу его, но слышу тяжелое, прерывистое дыхание.

Неожиданно где-то вдали раздается ответный рев: ма... ма... ма...

Голос более тонкий и резкий: это другой, молодой олень.

Сосед мой, старый олень, услышав ответ, возбужденно зафыркал, засопел, хрипло взревел и, выбежав на берег ручья, начал бешено рыть землю рогами и копытами.

Окаменело глядел я на это громадное животное. В его голосах страсть, ненависть, гнев. Кто посмеет, — казалось, слышалось в нем, — помешать его счастью?

В ярости метался олень у ручья. Часто и жадно пил воду, но она не погашала жара его сердца. В гигантских рогах оленя запутались сухие ветви, пучки вырванных с корнями трав, желтые листья. Он бил копытами землю, и от его рева, хриплого, угрожающего, полного гнева, дрожал лес, и волнение, переживаемое оленем, передавалось окружающей природе.

— Ма... ма... ма... — вновь послышалось вдали. В этом голосе, тонком, пронзительном, я почувствовал пыл молодости, отвагу, самоуверенность.

Вскоре молодой олень тоже прошел мимо меня, едва не задев в темноте. От него шел тот особый тяжелый запах, который издают олени-самцы в сентябре, в дни своих любовных встреч. Его услышишь и за двести шагов.

Поразительно, как ослепляет страсть этих животных, как сердечное волнение затуманивает им глаза, гасит все иные чувства! В такие минуты олень за десять шагов не отличает человека от пня.

В состоянии любовного угара олень бывает только раз в году. Ведь только раз в году он имеет право на

встречу с самкой. Инстинкт сохранения потомства заставляет самок во все другие периоды уходить от самца, не подпускать его к себе. Мудрые и непреложные законы создала природа. Представьте, что бы произошло, если бы олени встречались не осенью, а весной или в начале лета. Большую беду принесло бы это всему оленьему роду, — ведь тогда олениата появлялись бы на свет в зимние морозы и гибли. Теперь же они рождаются в теплые дни — весной или в первые дни лета, среди пышной, расцветающей природы. Боясь потерять детеныша, мать-олениха ведет до осени строгую, монашескую жизнь.

Стою я под деревом, думаю обо всем этом, а молодой олень уже перешел через ручей. Новые чувства охватывают меня.

Какое же бесстрашное должно быть у него сердце, если он решается выйти на борьбу с таким ужасным зверем, как этот старый олень!

В свете луны я увидел между стволами деревьев голову молодого оленя с ее ровными и острыми, без разветвлений рогами.

«Вот он, тот юный храбрец, о котором рассказывал дедушка Шакар», — пробежало у меня в голове.

Ему всего полтора года, и он впервые принимает участие в любовной борьбе самцов. И так же, как возмужавший подросток, горячий, несдержанный, презирающий опасность, как юноша, отважный и сумасбродный, без колебания готов отдать свою жизнь за любимую и этот молодой олень. Иногда благодаря своей ловкости и острым рогам молодой олень побеждает старых и сильных и овладевает самкой хотя бы ненадолго. Тупые, ветвистые рога стариков грозят ему смертью, но достаточно проворный молодой самец успевает увернуться от удара и вонзает свои, как вилы, острые и ровные рога в пах или в сердце противника.

Вот и сейчас я вижу такую схватку. Старый олень спрятал свое грузное тело в тени дерева, уперся задними ногами в дно ручья и ждет юного соперника. Вид у него угрожающий, страшный. Лунный свет, проникая сквозь листву деревьев, падает на гигантские рога и большой, окруженный морщинами глаз.

Я поднял ружье, но то направляю его на оленя, то говорю себе: «Подожди, погляди, чем кончится эта схватка».

Молодой олень смело подошел к большому, но когда старик ринулся вперед, чтобы смять и уничтожить наглого бычка, тот проворно отскочил назад, обежал дерево и, прежде чем отяжелевший старик успел повернуться, вонзил свои рога-вилы ему в живот... Протяжный, дикий рев огласил лес.

В это мгновение под ухом у меня прозвучал выстрел, и старый олень тяжело упал в ручей. Стрелял Артэм.

Молодой олень подскочил и с легкостью косули исчез в зарослях.

С радостными криками окружили мы убитого оленя.

Сейчас же развели костер, освежевали оленя и начали жарить шашлык.

— Этой ночью олени сюда уже не придут, можете быть уверены, — сказал дед Шакар и, постлав на земле у костра свой тулуп, прилег.

Спал в эту ночь я очень беспокойно — все время чудился и тревожил меня голос оленя, призывающего свою возлюбленную.

3

Утром Артэм сказал:

— Дедушка Шакар, нам и этого оленя девать некуда — такая громадина. Хватит с нас, идем домой.

Дедушка Шакар косо поглядел на Артэма.

— И-и!.. Полюбуйтесь на охотничков: пять душ одного бычка убили!.. Да разве у охотника Шакара хватит совести на такое дело?

Конечно, убитый олень не был бычком. Громадина, вол целый. Но все равно для деда Шакара он был бычком, потому что не он его убил. И я знал, что у дедушки Шакара «не хватит совести» вернуться домой, если он сам не убьет оленя.

Послали в зимовье за подмогой. Оттуда привели ослов и увезли оленя, а мы провели целый день в лесу, собирая малину. Да какую малину! Лес казался крас-

ным — так много ее было. Нет в лесу зверя, который не пользовался бы благодатными дарами природы. Все они пировали здесь — медведь, лиса, олени, заяц, вволю полакомились птицы, но все тем же красным морем разливалась по лесу и не посякала малина. У нас, в горах, она поздно поспевает.

До отвала наелись малины и мы, а в полдень, когда потеплело, улеглись в душистой траве и крепко заснули.

Поднялись вечером. Там стояло дерево — груша медовая. Я забрался на него, натряс груш. Плотнo послн и пошли дальше, все так же вверх по ручью.

— После вчерашнего выстрела, — сказал дед Шакар, — олени не придут сюда и этой ночью. Надо уйти подальше.

Мы и ушли вперед еще на пять-шесть километров.

На южном склоне балки есть лужайка. Она окружена лесом, трава на ней густая и волнуется, как море.

Дед Шакар приказал нам стать под деревьями на верхнем конце лужайки и не шуметь.

Оленье убежище было как раз напротив нас, на другом склоне балки, а лужайка — между ним и нами. Было ясно, что олени, спустившись к воде, выйдут затем и на лужайку — погастись. Вот и стреляй тогда в свое удовольствие.

Снова мягкий и ароматный осенний вечер опустился на мир. Снова, тихо шелестя листьями, уснул лес, утихли посвисты ветра, дувшего с гор, а из-за деревьев лукаво выглянула луна и медленно поплыла по небу.

Нежно колыхалась желтеющая трава, один за другим падали на землю отмирающие осенние листья, по-прежнему вскрикивала во сне неведомая птица. Мы стояли, замерев в ожидании, и каждый звук, каждый шорох заставляли нас напрягать слух и сдерживать дыхание.

Ручей на этот раз был от нас далеко, и его журчанье глухо-глухо доносилось до нас.

Околдованный таинственным шепотом природы, ее нежными голосами, я дремлю и, кажется мне, слышу во сне знакомый мне теперь рев оленя: бу... бу-у... бу!..

Но это и на самом деле кричит олень в лесу, на том склоне. Голос резкий, то угрожающий, то безнадежно грустный, но одинаково настойчивый, зовущий.

Слабое мычание отвечает ему. Это голос самки. И сейчас же лес наполняется звуками — шорохом, шелестом. Охотники знают: это собираются олени-самцы и сейчас вступят в жестокую борьбу за обладание самкой.

И на самом деле, не прошло и нескольких минут, как из-за ручья вышли на лужайку пять-шесть оленей. Они бегали, нанося друг другу ужасающие удары... Слышны глухой стук рогов и возбужденное дыхание животных.

Мы скрываемся в тени деревьев, в темноте, но лужайка освещена луной, и мы отлично видим все, что происходит. Молодую самку нагоняли три крупных самца — два старика и один молодой. Не отставая, преследовали ее и два совсем еще юных оленя-бычка. По глупости или избегая ударов старших, они бросались на самку то спереди, то сбоку. Их прыжки были забавны и нелепы.

Но наблюдать было некогда. Я схватил ружье и выстрелил в середину бегущих. Почти в одно время грянули выстрелы и других охотников.

Только дед Шакар, казалось задремавший, вдруг вскочил и закричал спросонья:

— Эй, кто там?.. Что там?

И совсем уже неожиданно повернулся и суматошно выстрелил в совершенно противоположную сторону.

Мы засмеялись и выбежали из своих засад на лужайку, где в судорогах, взрывая землю рогами и копытами, бились два оленя.

Быстро разожгли костер, свежем оленей. Мало нам нашего веселья, начали над дедом Шакаром подшучивать.

— Эй, хозяин, ты зачем в тот бугор стрелял? — спросил деда Шакара Артэм.

Дед Шакар сидел мрачный, не отводя глаз от огня.

— Дед Шакар, ты куда метил — в глаз или...

Молчит дед Шакар.

Нам понятно его состояние. Знатный охотник, с ка-

жим лицом он после этого случая в селе покажется? Женщинам на глаза?.. Засмеют.

— Вы мою честь в грязь втоптали... Охотник Шакар такого позора еще никогда не сносил, — горько сказал он наконец. — Завтра этот слюнтяй Артэм посреди села похваляться будет, что он убил, а я, охотник Шакар, нес за ним его добычу. Стоит ли мне после этого жить?

Мы перестали смеяться и начали утешать деда Шакара: мало ли что бывает, все дело случая, счастья.

— Э, не говорите, в жизни у меня такой напасти не было... Чтобы я, охотник Шакар, отвернулся от стада да в дерево пулю всадил?.. Чтобы я так ослеп?..

— Какему это ты дереву лоб разбил? — фыркнув, спросил Артэм.

— Да вои тому пузатенькому дубу, — огорченно сказал дед Шакар и показал на росший в отдалении толстый и низкий дубок.

Мы поглядели в ту сторону. Под деревом, казалось, лежало что-то промоздкое.

— Послушай, да там будто рога оленьи... — вдруг посерьезнев, сказал Артэм.

— Да полно вам надо мной измываться! — плаксиво отозвался дед Шакар.

Мы побежали к толстенькому дубку. И что же вы думаете? Под деревом лежит громадный олень. Мы онемели от изумления. Обернулись, смотрим на деда Шакара, а он держится за живот и хохочет. Да как еще хохочет.

— Ах ты, сосунок слюнявый! — говорит он Артэму. — Чем твоя голова соломенная набита? Умишком своим ты как раскидываешь? Охотник Шакар на охоте уснуть может, охотник Шакар зря пулю выпустит, на землю уронит?.. Ах ты, молокосос несчастный!

Посмеялись мы вдоволь. Потом поели оленьего шашлыка, запили водкой кизиловой и, оглашая ущелья веселыми криками и песнями, радостные и довольные отправились домой...



БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Я выстрелил, и камыши зашумели. Стаи диких уток взлетели на воздух, а неуклюжие водяные курочки торопливо попрятались в тростниках.

На краю болота бились в судорогах подстреленные мною птички: одна темносерая, величиною с голубя, две другие поменьше, посветлее, едва оперившиеся.

Одна из них уцелела. Выстрел только оглушил ее, и у меня в ладони она ожила, открыла мутные, полные боязни глаза и слабо, жалобно пискнула.

Как бы в ответ на этот писк в воздухе послышался шелест крыльев, какая-то птица мягко ударилась о мое плечо, крыльями коснулась щеки и упала на землю. Забилась, затрепетала, затем, собрав силы, побежала, села недалеко на камень и закричала жалобно-жалобно. У нее были длинные ноги, длинный клюв и серое тело. Должно быть, мать птичек.

Птенец, оставшийся в живых, вытянул шею и снова запищал жалким, тоненьким голоском.

Мать отозвалась таким полным отчаяния криком, что я, «жестокосердый охотник», окаменел.

Не передашь словами этого крика птицы, потерявшей своих детей. Столько тоски в нем было, столько скорби.

Позади зашуршала трава. Я пришел в себя и огля-

Нулся. Ко мне приближался крестьянин. В граблях, которые он нес на плече, было выбито несколько зубьев.

Крестьянин остановился, прислушался к крику птицы и спросил меня:

— Не убил ли ты ее птенцов, братец горожанин?

— Как ты это узнал?

— Да по голосу... Разве ты не слышишь, как она кричит, как стонет?..

Он присел возле меня, шершавыми пальцами скрутил цыгарку и спокойно сказал:

— Издохнет бедная птица, обязательно издохнет. Она не забудет своих птенцов — у нее особенное сердце, особенное... Настоящее материнское.

Неторопливо покуривая, крестьянин рассказал мне любопытную историю:

— В прошлом году пришли мы сюда с женой собирать скошенное сено. За нами приплелась и наша кошка. Ну, кошка как кошка. Целый день охотится за птичками. Прячется в камышах, за камнями, выслеживает... Наконец попадает ей в когти еще не оперившийся птенец, неосторожно вышедший из камышей. Мать-птичка камнем упала на кошку с воздуха. Отец вцепился кошке в шею, старается выклевать ей глаза. Кошка разъярилась, лапкой разодрала птенцу крыло. Отец и мать отчаянно закричали. Бьются, клюют кошку, да как сбросят в озеро!.. Кошка так и ушла на дно — свои грехи замаливать, а птенец уцелел и колыхается на воде, как в люльке.

Рассказчик мягко улыбнулся и добавил:

— Ты бы только поглядел, как бережно подхватили родители своего детеныша за крылышки и увели в камыши...

Он сделал паузу, несколько раз затянулся едким дымом и продолжал:

— И еще раз я видел этих птиц. Опять мы косили здесь траву. Сын нашего соседа забрался в камыши и поймал одного птенца. Мать птички такой крик подняла, что всех нас, косарей, слеза прошибла...

Пришли мы на следующий день. Слышим, опять эта птица — не то кричит, не то поет что-то жалобное. Пря-

мо за сердце хватает. Ну чисто мать, потерявшая ребенка. Было это в большую войну, до революции. У нас кто сына потерял, кто мужа, кто отца... И всем эта птица о близких напомнила. Слушали ее и плакали...

Крестьянин рассказывал, а птица все сидела на камне и кричала — с той же болью и горечью.

— Ну, а потом? — спросил я.

— Поплакала она так два дня и две ночи, а потом кинулась в воду... Да, братец горожанин, не говори, что птичка-невеличка, — погляди, какое у нее сердце!.. И эта не вытерпит — обязательно подойдет...

Я простился с крестьянином, повесил убитых птиц на пояс, а живого птенца положил в сумку и побрел по песчаному берегу озера. Вслед мне звучал печальный, разрывающий сердце крик.

На закате, возвращаясь с охоты, я зашел поглядеть, что случилось с осиротевшей матерью.

Горное озеро мирно плескалось в лучах заходящего солнца, в камышах, мягко посвистывая, засыпали птицы. Голоса их постепенно замирали, и озеро словно дремало под лаковыми порывами горного ветра.

Царившая вокруг безмятежность нарушалась лишь одним тоскливым вскрикиванием бедной птицы. В этой пустынной дали, под таинственный плеск воды озера и шелест камышей, ее печальные стоны глубоко потрясли меня.

Я быстро подошел к знакомому камню, вынул из сумки оставшегося в живых птенца, положил перед матерью и так же быстро ушел.

Потом, оглянувшись, я увидел, как птица ласкала птенца, приглаживала его растрепавшиеся перышки. Умолкла ее щемящая сердце песня. Озеро и камыши погрузились в вечерний покой...



ГАРЕГИН СЕВУНЦ

РОДНИК АШУГА

Как сейчас вижу старый дедовский сад на берегу прозрачной, вечно журчащей речки. Здесь исполинский орех, там склоняются над водой ива и груша, деревья будто заигрывают с бегущим под их ветвями говорливым ручейком, смело обнажившим корни ореха. Но орех это не пугает, так глубоко ушли в землю его корни; спокойно покачиваясь, он дремлет, свысока поглядывая на неугомонную речку. Ее безудержные струи проносят мимо него то листья, слетевшие с дерева, то перышки жаворонка, то цветок или травку. Мы, дети, тоже многое бросали в речку, чтобы она унесла все это, а куда — мы не знали.

По-настоящему знали мы только сад и земляную «тахту» на берегу — то место, где на ровной площадке растут белая и красная тута, яблоня, груша, кизил... Тотчас за «тахтой» начинался горный склон; здесь, когда ручейка и в помине еще не было (его провел своими руками мой дед), росли вишня и черешня, а выше, до самой вершины, разрастались земляника, клубника, дикий кизил, кусты крыжовника... Кое-какие из этих кустов дед мой выкорчевал, и место это превратилось

в поляну, где густо разрослись цветы — пышные цветы моей чудесной родины.

Бывало не успеет ли сбегать с горы в сад, как уже всевозможные цветы и яркокрасная спелая земляника, нежно покачиваясь, приветствуют нас. Приветствовали нас и бабочки, мелькавшие перед глазами и едва не садившиеся нам на плечи... Отсюда мы почти скатывались к дедовскому ручейку, у которого начинались ряды плодовых деревьев. Взорвавшись на первое попавшееся тутовое дерево, мы вволю наедались туты и жадно смотрели вдаль. Обширный сад казался нам целым миром, а мы были хозяевами его. Этот мир для нас создал наш дедушка. О, сколько здесь милых воспоминаний!

По рассказам бабушки, прежде на месте сада была каменистая почва, скудно заросшая диким кустарником. Это дедушка посадил деревья на берегу. Его пример увлек и соседей; из них уже многие давно скончались, увековечив свои имена садами. Возделывая древнюю землю, очищая ее от камней, они превратили горные склоны в огромные плодовые сады.

И каждый день мы, сытые, с полными корзинами плодов на плечах, возвращались домой, с трудом переводя дух. Вот мы на гребне; там дедушка садился в тени утеса и орлиным взором всматривался в окружающую нас панораму. Вдали в заходящих лучах солнца сияли жемчужные переливы реки Баргушат; справа и слева от нас золотились пышные колосья; казалось, это молодницы идут в родительский дом, плавно колыхаясь и низко кланяясь тихому ветерку, что мчит на них с величавых гор Сюникской земли. В наших горах по широкому ущелью раскинулись сады; над садами высятся несчетные стаи птиц...

Из соседних садов бежали тропинки, присоединяясь к нашей, что взбиралась от дедовского сада на горный хребет. Дедушка присаживался в тени и поджидал соседей, чтобы вместе отправиться домой. И соседи приходили вместе с детишками, покрытые потом, уставшие от ходьбы по горам. Они подсаживались к нам отдохнуть, и дедушка говорил:

— Ведь это место ашуга, то есть влюбленного. Ко-

гда истомится человек, как только глянет сюда — сразу успокоится его сердце.

Соседи, посмеиваясь, дивились:

— Сто лет тебе стукнуло, а ты все про любовь; ты, знать, все молодеешь, дед Акопджан.

И дедушка всякий раз отвечал:

— Как ни сушит землю солнце, а все в ней влагу отыщет, вот так и сердце: как оно ни старится, а все в нем любовь не гаснет.

Не раз бабушка шутливо укоряла его:

— Опять ты на самую вершину забрался и любовь свою вспомнил? Дети пить хотят, вставай, пойдем!

— Ну, коли пора, вставайте, айда!

И мы шли в село.

2

Однажды, собравшись в сад, дедушка привязал к спине мула лопату и лом и сказал бабушке:

— Сдается мне, Арутюна дочь, что на горной вершине за нашим садом скрыт под камнем большой родник.

— А хоть бы и так, — отвечала бабушка, — ведь камень-то здесь твердый, не справиться тебе с ним.

— Эка важность, — задумчиво сказал старик, — была бы только вода!

После этой беседы прошло много времени, а дедушка, кончив садовую работу, неизменно взбирался на гору и ломом пробивал твердую породу. Трудился он до изнеможения, пока его старческие руки не начинали дрожать. Прохожие спрашивали:

— Что ты мастеришь такое, дед Акопджан?

И дедушка выпрямлялся.

— Ищу родник ашуга, то есть влюбленного. Полюбуйтесь, какая красота! Кто увидит — сразу влюбится. Пусть сидит здесь и дивится. А если выпьет воды, утолит жажду сердца.

Большинство принимало эти слова за шутку. Сосед наш Енгибар раз спросил:

— Ты это шутишь, дед Акопджан, или действительно хочешь здесь путь воде пробить?

Дедушка удивленно взглянул на него.

— Бог свидетель, Енгибар, другой цели я не знаю. Все мы взбираемся на эту гору, изнемогаем, томимся жаждой и мечтаем о воде. Я и подумал как-то: «Вот мы спешим, а ведь кому-нибудь, быть может, захочется подольше полюбоваться этой красотой, — куда же ему спешить? Значит, только из-за воды придется торопиться. А ведь это местечко у самой дороги, пускай пьют на здоровье. Вспомнят меня — слава богу, нет — бог им простит».

Трудно было пробивать скалу. Нередко из-под лома сыпались искры, но дедушка все работал. Сводчатый проход, выдолбленный им, все больше углублялся. Наконец проступила сырость — точно кряж начал потеть от непрерывных ударов. Но дедушка, мой 105-летний дедушка не смог закончить работы. Он заболел и слег. Лежал он под ердиком на войлоке. Первое время дедушка отмахивался от мух воловьим хвостом. Седая, как лунь, борода закрывала ему всю грудь. Но вот он до того ослабел, что и воловьего хвоста не мог приподнять. Бессильно лежал старик и видел через ердик лоскуток неба.

— Эх, Арутюна дочь, все мои желанья на этом свете сбывались, жаль только — родник ашуга я не открыл.

— Ты бы о себе лучше подумал, — попрекала бабушка.

— А чего мне думать? Хотел родник ашуга отыскать, да сил не хватило. Жалы!

В последний день, когда смерть стояла на пороге, дедушка произнес мое имя. Меня за руку подвели к нему. Глаза бабушки ласково остановились на мне; он с трудом прошептал:

— Я умираю, внучек, а ты не забывай родник ашуга.

Я расплакался, он продолжал, закрыв глаза:

— Родник, родник ашуга не забывай...

Это были его последние слова.

Оставшись сиротами, мы разбредлись кто куда. Где только я не бывал, чего только не видел, но от деревни оторвался: близких у меня там не было. Однако всюду и всегда я помнил слова бабушки. И я винил себя: ведь бегут годы, волосы белеют, а дедовского завета я так и не исполнил. Совесть меня мучила.

Только три года назад, в дни войны, отлежавшись в госпитале и получив отпуск на пятнадцать дней, я решил наконец исполнить предсмертную просьбу бабушки.

И вот через двадцать пять лет я попал в село. Там меня встретили радушно. Я рассказал обо всем председателю сельсовета. Он расхохотался:

— Ах, милый друг, да ведь всего три месяца назад мы бабушкин родник превратили в такой источник, что все дивятся.

В тот же день мы отправились туда.

Я увидел: вместо прежней тропинки, огибавшей родник, ширилась просторная автомобильная дорога. Против скалы — красивое сводчатое сооружение, памятник, из синеватого камня бьет четырем струям родник. Сверху сияет надпись:

«Родник ашуга.

Открыт для влюбленных Аюпджаном Элибаряном в 19... году.

Расширили его и воздвигли памятник колхозники в 1943 году».

Нагнувшись, я отведал воды, поцеловал камень и оглянулся на величественные горы; пышно зеленели густые сады, вдали искрилась река Баргушат, и вдруг в ушах моих зазвенели предсмертные слова бабушки:

«Родник ашуга не забывай!»



СЕРО ХАНЗАДЯН

ПАСТУХ АСРАТ

1

Стадо овец расположилось на склонах горы Тахтун, по которым полз легкий ветерок поздней осени. В родник, вытекающий из-под замшелого камня, иногда падал высохший стебелек травы и ломал его прозрачное зеркало.

Плоскогорье было окрашено золотистыми красками. Вдали, в синем и прозрачном озере, похожем на глаз ягненка, плавали дикие утки, а внизу лежало село с разбросанными домами, с ореховыми, без листьев, деревьями, с электрическими столбами, на проводах которых выстроились воробьи, насытившиеся осенним добром, издали похожие на дождевые капельки.

Тени коз, стоявших у камней, удлинялись. Козы недружелюбно косились на свои тени и чего-то пугались.

Пастух Асрат, прислонившись к камню и слегка согнувшись, читал полученное вчера письмо от сына.

«Я жив и здоров, апер-джан, этим летом я опять не смог приехать к вам: работал, не хотел стеснять тебя. Очень, очень соскучился по тебе, матери, Арташу, Мушегу, Азату, Нунуфар; но больше всего соскучился по тебе, апер-джан».

— Умереть бы мне за тебя, — пробормотал Асрат и посмотрел на присевшего рядом с ним пса Чамбара. — Эй, Чамбар, слышишь, мой Арсен больше всех скучает по мне. Ты тоже скучаешь по моему Арсену, а?

Чамбар облизнул розовым языком мордочку и начал подметать хвостом землю. Асрат достал из сумки кусок лаваша и дал собаке.

— Кушай, Чамбар, считай, что это тебе дал Арсен. Когда он уехал, тебе было два года.

Он снова нагнулся над письмом, которое перечитал несколько раз, пытаясь понять таинственный смысл непонятных ему слов.

Темнело. Асрат погнал стадо в село. Легкий ветерок, дувший с горы Тахтун, усилился и трепал шерсть овец, распахивал полы старой чохи пастуха. «Нет, надо просить председателя, чтобы он на несколько дней разрешил поехать в город, повидать моего Арсена. Как же я могу допустить, чтобы мой ребенок тосковал? Это повредит его урокам, он от тоски может заболеть; я должен ехать». В пути к дому Асрат окончательно утвердился в своем решении.

Разместив стадо в хлевах, он вошел в дом и еще с порога весело крикнул:

— Жена, все, что у тебя есть готового, доставай, еду повидать Арсена.



Асрату было шестьдесят пять лет. Среднего роста, с загорелым приятным лицом, с еле поседевшими усами, он носил старомодную чоху и архалук, пестрые носки, которые доходили до колен, лапти, сшитые из буйволиной толстой кожи.

Всю свою жизнь старик провел у подножия горы Тахтун. Поэтому, когда он сошел с автобуса на площади города, то не смог скрыть своего восхищения и воскликнул:

— Ва, бывают ли такие большие города?!

Приехавшая вместе с Асратом девушка показала ему здание университета.

С тяжелым хурджином на плече Асрат вошел в ши-

рокий коридор здания и снова с восхищением воскликнул:

— В каком удивительном месте учится мой сын, чтоб твердым держался твой фундамент, советская власть, какие ты соорудила дворцы для наших детей!

Хурджин старик поставил у стены и снял папаху. Дверь коридора непрерывно раскрывалась и закрывалась, группами входили и выходили веселые юноши и девушки. Старик внимательно глядел им вслед, думая о том, что за прошедшие три года Арсен мог так измениться, что он сразу его и не узнает.

К нему подошла группа студентов.

— Апер-джан, кто тебе нужен? — спросил худенький юноша.

— Кто мне нужен? Я, милые мои, ищу Арсена Тарунца, это мой сын. Я приехал из колхоза и хочу видеть моего мальчика. Вы знаете Арсена?

Молодые люди переглянулись.

— Арсена мы знаем, отец, — без большого удовольствия ответил худой юноша. — Он твой единственный сын?

— Нет, у меня дома еще трое, а младшая — дочь.

— Все трое похожи на Арсена?

— Как вам сказать, они же братья. Но ни один из моих сыновей не может догнать Арсена. Арсен ведь выучится и будет иметь диплом. Если вы знаете, где он живет, покажите.

Студенты поговорили между собою, но Асрат ничего не понял; они разговаривали по-русски. Затем попросили старика немного подождать их и поднялись наверх. Вскоре вернулся только один худой юноша, уже в пальто и в широкополой шляпе.

Асрат взял на плечо хурджин и вышел вместе с юношей. На улице тот остановил проезжавшее мимо такси и пригласил старика сесть в машину.

— Пошли бы пешком, сын мой, зачем ты беспокошь шофера, — попытался отказаться пастух. Но студент взял его за руку и посадил на мягкое сиденье. Затем сказал шоферу, куда ехать, сел сам, и они поехали.

Асрат глядел на незнакомого юношу и думал, что

хорошо было бы, если бы у его Арсена был такой же синий костюм, такое же красное пальто и широкополая шляпа.

— Как тебя зовут, сын мой? — спросил он своего спутника.

— Гегам.

— Дай бог тебе здоровья. Ты не товарищ ли моего Арсена?

— Как сказать, — замялся Гегам, — как хочешь считать.

Скоро машина остановилась у широкого ручья, через который был перекинут деревянный мостик. На том берегу стояли небольшие домики.

Гегам взял хурджин, помог пастуху выйти из машины и показал на одноэтажный домик на берегу ручья.

— Твой сын живет здесь, отец. Пройди мостик, постучись, кажется, он дома.

— А ты уходишь? — беспокойно спросил старик.

— Да.

— Почему?

— У меня лекции...

— В моем хурджине пирог и мед, сын мой, пойдем, вместе с Арсеном покушаешь гостинцев, ведь ты тоже свет для твоей матери, — попросил старик. Но Гегам отказался и ушел.

2

Асрат подошел к указанному Гегамом домику и постучал в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге показался его сын, которого Асрат едва узнал. Вместо худого, тощего Арсена он увидел высокого юношу с круглым лицом, широкой грудью и черными красивыми усиками. На нем был новый, дорогой костюм.

— Апер-джан! — воскликнул Арсен и вместе с хурджином обнял старика. — Вах, апер-джан, неужели это ты?

Старик снял с плеча хурджин и, обняв сына, крепко поцеловал его, затем папайкой вытер от радости увлажнившиеся глаза. Арсен, одной рукой обнимая

отца, поднял хурджин, и они вошли в довольно просторную комнату, два окна которой выходили в сторону ручья.

Арсен опять воскликнул:

— Апер-джан, неужели это ты? Я совершенно не ожидал.

— Это я, сын мой, чтобы долгой была твоя жизнь, из-за тебя я увидел город. Мне кажется, ты очень изменился, похорошел, чтоб ухо дьявола не слышало этого.

Сын снова обнял отца и ласково спросил:

— А почему ты не привез с собой маму?

— Маму? Хоть она и очень убивается, но, Арсен-джан, ты ведь знаешь, здоровье твоей матери неважное, боялся — простудится в пути и заболит, ведь в горах уже выпал снег.

Они сели друг против друга. Отец восхищался ростом и одеждой сына, а тот расспрашивал о родных, интересовался сельскими новостями и не знал, как высказать овою радость. Вдруг что-то вспомнив, он вышел из дому и вскоре вернулся, неся с собой вино, пиво, колбасу, виноград и другие продукты.

Старик достал из хурджина вареных кур, лаваш, сыр, масло, мед, фрукты, положил на стол и раскрыл вторую часть хурджина.

— Эти носки, Арсен, твоя сестра Нунуфар связала. Пух для этих варежек я начесал с коз на горе Тахтун. Этот шерстяной свитер связала твоя мама. Зимнюю наденешь, чтобы не простудиться.

Старик доставал еще и другие вещи из хурджина, но, посмотрев на сына, обиделся. Сын снисходительно улыбался.

— Почему ты смеешься, Арсен-джан? — спросил он.

— Напрасно ты беспокоился. Такую тяжесть привез с собою, апер. Неужели я такой бедный, что не могу купить себе носки и перчатки? А ну-ка, встань, погляди, какие у меня костюмы. — Он открыл дверцы платяного шкафа. — Видишь, у меня четыре костюма, все четыре лучшего качества, три пальто. Вот как...

Глаза отца разбежались. Шкаф был набит костюмами, пальто, бельем, носками, различными шляпами

и обувью. Отец ошупал все это и, когда сел на свое место, спросил:

— Арсен, ты этот дом нанимаешь?

— Нет, отец, это мой дом, я купил его нынче летом. А все то, что видишь внутри, — это все мое.

— Умереть бы отцу за тебя, Арсен, ты правду говоришь? — обрадовался отец. — Ведь ты имеешь настоящий дом; это добро ты приобрел на свою стипендию?

Арсен усмехнулся.

— Что такое стипендия?.. Стипендии не хватило бы на эти покупки. Работаю.

Лицо старика просветлело. Он поднял стакан с вином и, чокаясь с Арсеном, от всей души сказал:

— Умереть бы отцу за тебя, Арсен, за твое здоровье! Ты столп моего сердца.

С большим удовольствием он начал слушать сына, который рассказывал, как он, заработав деньги, купил этот дом, одежду, вещи. Оказалось, что сын теперь имеет много денег.

— Где ты работаешь, Арсен? — выпив еще стакан, спросил отец.

— В хорошем месте, в центре города. Завтра или послезавтра я тебе покажу. Хорошо, что ты приехал, аперджан. Если чего у нас дома не хватает, скажешь мне, я куплю, увезешь с собой.

— Умереть бы отцу за тебя, — с восторгом повторял старик, — ты можешь быть спокойным, у нас и хлеба и продуктов хватит. Но бывает ли дом без какого-нибудь недостатка? Нуждаемся в материи.

Арсен снова вышел и на этот раз принес пудовый арбуз, разрезал его и самые лучшие куски дал отцу.

После обеда он повел старика в парикмахерскую, потом в баню, с помощью банщика выкупал отца, одел в новое белье и на машине привез домой.

Весь вечер они беседовали, потом сын уложил старика в свою кровать, сам же устроился на мягком диване. Лежа в постели, отец внимательно рассматривал имущество сына, и его отцовское сердце трепетало. Ведь это все принадлежит его сыну Арсену, заработано честным трудом. Арсену принадлежат вот этот дом, двор,

два ковра на стене, шкаф с зеркалом, стол, вот эта замечательная кровать.

«Ведь он учится только три года, а заработал столько денег, создал такое богатство. А если он будет учиться пять лет, окончит университет, получит диплом, чего только у него не будет... Чтoб умереть отцу за тебя, Арсен; пусть теперь мои враги лопнут».

* * *

Асрат раскрыл глаза и удивился, почему петухи не поют и не лают Чамбар. Но когда в полутьме комнаты он заметил платяной шкаф, вспомнил, что находится в городе. «Я в доме моего Арсена», — с глубоким удовлетворением подумал он.

— Как ты спал, апер-джан? — услышал он голос Арсена.

— Хорошо спал, Арсен. Но воздух здесь как будто тяжелый... Вот если бы воздух нашей горы Тахтун был здесь, тогда...

Оба встали, после завтрака Арсен попросил отца остаться дома, а если кто-либо его будет спрашивать, сказать, что он на работе.

— Захочешь спать, закрой дверь изнутри и ложись, я приду поздно, — сказал сын и ушел.

После его ухода Асрат помыл посуду, поставил в шкаф и снова начал рассматривать богатство сына. Он осмотрел все и всем остался доволен. Думая о том, как он расскажет жене обо всем, что он здесь видел, старик вышел погулять. Улица была залита солнцем. Перед соседним домом две женщины стирали. Мимо непрерывно шли автомашины, ехали подводы. Мужчины, неся на плече колесо для точки ножей, певучим голосом кричал:

— Точить ножи, ножницы!

По ту сторону улицы дети гримасничали, повторяя слова точильщика.

Город раскинулся вдаль, и не было видно ни начала его, ни конца. Старик восхищался большими домами, построенными из разноцветного камня. Больше всего ему понравилась школа, куда спешили чисто одетые школьники с сумками в руках.

Припекало. По крыше прошла какая-то черная кошка. Через мост пробежал щенок и, глядя на старика, присел рядом. «Голоден», — заключил Асрат и вспомнил своего Чамбара. Он поднялся, вошел в дом, принес остатки курятины, хлеба, кусок сыру и бросил щенку. Тот начал жадно есть, но появились откуда-то еще две собаки и, не обращая внимания на старика, бросились на щенка. Началась драка, поднялась пыль. Асрату стало жалко щенка, и, подняв камень, он бросился на собак. Они убежали.

Старик вернулся, сел на камень у ворот и впал в раздумье. Скоро ему надоело безделье, он взял ведро, принес воды из ручья и начал поливать двор и тротуар. Заметив, что стена, отделяющая их двор от соседнего, местами разрушена, он попросил у соседа лопату и, заложив концы своей чохи за пояс, приготовил раствор. Не спеша он восстановил разрушенную стену.

В полдень какая-то машина остановилась у ручья и оттуда крикнули:

— Дядя, ты отец Арсена?

— Да, я, — ответил Асрат, обрадованный, что к нему пришли гости.

Незнакомец со свертком в руках прошел через мостик и поздоровался со стариком.

— Дядя, Арсен тебе прислал обед, — сказал он.

Они вошли в дом. Незнакомец положил сверток на стол и раскрыл.

— Вот это люля-кебаб, наш мастер Наво специально для тебя приготовил. Как масло можно глотать. Это коньяк. Это шашлык, это лимонад, это мороженое, здесь хлеб и зелень. Раз ты имеешь такого сына, как Арсен, кути, дядя-джан. Таш, туш... а это виноград жариджи. В вашем селе есть виноград?

— Нет, наше село горное, — ответил старик, — но из ущелья нам привозят его и меняют на сыр и масло. Как тебя зовут, милый?

— Саак. Но здесь меня зовут Красавец Саак. — Он достал пачку папирос и положил на стол. — А это я тебе принес подарок. Арсен говорит, что ты не куришь, но — кто знает — вдруг тебе захочется курить.

— Ты товарищ моего Арсена? — спросил пастух.

— А как же, мы — как родные братья.

— Вместе работаете?

— Нет, я шофер, но, дорогой мой, весь город знает твоего сына, кто его не знает! Арсена почитают больше, чем министра.

— Ва...

— Да, да, — Саак подмигнул Асрату. — Ну, дядя, кушай, кушай, пока еда не остыла, а я поеду.

Шофер ушел. Старик сел за стол и пожалел, что здесь нет никого из пастухов их фермы, которые могли бы слышать, что говорят о его Арсене, и видеть, как живет его сын. «Арсена почитают больше, чем министра, — повторил он слова шофера и гордо выпрямился. — Где ты, жена? Видела бы, какой у тебя сын!»

3

На следующее утро шофер Саак опять приехал, шутил со стариком, пока Арсен брился, умывался и надевал костюм. Асрат посмотрел на сына, и глаза его заблестели. Он видел только одного человека в таком нарядном костюме: это был министр, приезжавший однажды в их село. После вкусного завтрака Арсен и Саак посадили старика в машину и поехали. Вскоре они вошли в большой магазин.

— Арсен, что за магазин? — спросил старик.

— Универмаг.

— Ну... Разве бывают такие большие магазины? Здесь можно поместить все сено и отруби нашего колхоза, да еще останется пустое место.

— Таких вещей не говори здесь, отец, — засмеялся сын.

Арсен купил отцу ботинки, брюки из шевииота, костюм, пальто на вате, остроконечную каракулеву шапку, пояс, несколько смен белья и еще кое-что из мелочей.

Покупки внесли в машину и вернулись домой.

— Ну, отец, меняй одежду, — сказал Арсен. — Хватит жить в нужде. Теперь наступили дни твоего благополучия.

Старик снял чоху, архалук, старомодные брюки, надел новую одежду, купленную сыном, и, глядя в большое зеркало, удивился. Каракулевая шапка была так легка, будто на голове ничего не было, ботинки же скрипели, как больной ягненок, а костюм шуршал.

Арсен собрал старые вещи своего отца, и хотел выбросить, но старик категорически запротестовал:

— Нет, нет, Арсен, умереть бы отцу за тебя, почему выбрасываешь мои вещи, пусть останутся, повезу домой, дам моему товарищу Сайи, он одинокий человек, у него нет сына. Пусть наденет и порадуетя.

И, завернув свои вещи, он положил их в хурджин.

До вечера отец и сын беседовали, а вечером сын оставил отца дома, а сам ушел, сказав, что у него очень важное дело и он поздно вернется домой. Отец проводил его до улицы и вернулся обратно.

* * *

Утром Асрат проснулся поздно и сейчас же беспокойно посмотрел на диван. Там нераздетый и в туфлях спал сын. Ночью он вернулся пьяным, и отец не смог снять с него одежду.

Старик вышел во двор, умылся из ручья и сел на камень у ворот. Несколько раз он входил в дом, но, увидев, что сын опит, снова бесшумно выходил и, прислонившись к стене, начинал с любопытством осматриваться.

Арсен проснулся в полдень, протер глаза, аппетитно зевнул и тревожно спросил:

— Апер-джан, ты что-нибудь ел?

— Эх... чтоб умереть отцу за тебя, я не голоден. Того, что я вчера ел, вполне достаточно. Но то, что ты выпивши был и в одежде спал, это нехорошо Арсен. Я хотел снять с тебя одежду, но ты не разрешил.

— Ничего, апер-джан, я был немного пьян, все пройдет.

— Арсен,— после завтрака спокойно начал отец,— если ты так много работаешь, когда же ты ходишь в университет, когда ты учишься?

Сын взял кисть винограда и, по ягодке отправляя в рот, ответил:

— Хожу тогда, когда мне хочется. — Он замолчал и вдруг, подняв голову, спросил: — Апер, зачем люди учатся, получают образование?

— Как зачем? — ответил старик. — По-моему, получают образование, чтобы стать хорошими людьми, приносить другим пользу и самим жить лучше.

— Совершенно правильно, — согласился Арсен. — Человек получает образование, чтобы жить хорошо, быть полезным своим родным. Но ведь не всякий образованный человек может жить хорошо. Правильно?

— Да, правильно, но откуда мне знать...

Арсен прервал отца.

— Вот, к примеру, директор средней школы нашего села Аветис сколько получает в месяц?

— Аветис? — повторил Асрат. — Мать говорит — тысячу пятьсот рублей.

Арсен усмехнулся.

— Тысячу пятьсот рублей, — с иронией повторил он.

— Да, тысячу пятьсот рублей, человек живет в достатке.

— Я понимаю, апер, но что за мужчина тот, кто такие деньги не сумеет заработать за два дня!

— За два дня?

— Да.

— Да разве есть такие люди?

— А как же. — Арсен улыбнулся и придвинулся к отцу. — Я за месяц зарабатываю десять—пятнадцать тысяч рублей.

Отец вздрогнул, ему показалось, что сын шутит, но тот совершенно серьезно продолжал:

— Зарабатываю, а как же! Ты думал меня одной рукой поднять? Я тебя так нагрузжу в дорогу, что все село будет удивлено.

Старик гордо откинулся, покрутил усы, но вдруг у него мелькнуло какое-то подозрение.

— А как же ты успеваешь заработать эти деньги, если ты еще и учишься? — осторожно спросил отец.

— Учусь? — засмеялся сын. — Я нигде не учусь.

— Э... Арсен, шутки в сторону, отвечай правду.

— Я не шучу, апер.

Старик поперхнулся. Вытянув шею, он с трудом проглотил виноградину и заморгал глазами.

— Правда, Арсен, ты не учишься?

— А что я получу, если буду учиться? Проучиться пять лет — и получать потом в месяц полторы тысячи? — совершенно спокойно заговорил Арсен. — Этот дом, все вещи приобретены мною за два года. Знай, отец, я нигде не учусь, зачем скрывать!

— Как же так? — нагнулся к нему бледный старик. — Как так не учишься? Значит, ты не получишь диплома?

Сын рассмеялся и снова объяснил отцу, что если он окончит три университета, не сможет заработать столько денег, сколько зарабатывает сейчас, и, чтобы больше не продолжать этот неприятный для него разговор, предложил поехать в гости.

Отец категорически отказался, мотивируя тем, что сердце у него большое и ноги болят. Арсен не заметил, что своими словами нанес отцу тяжелый удар. Он ушел.

Долго старик сидел на диване, не двигаясь. Вдруг он поднял голову, подумал: «Что ж получится, если Арсен не кончит университета, не будет иметь диплома? А? Это же очень плохо».

Он встал и беспокойно начал расхаживать по комнате. Он не поверил сыну. Потом вдруг почувствовал, что у него и в самом деле болят ноги, и ощутил уколы в сердце. Обессиленный, он сел на тахту и остался в таком положении до возвращения сына.

— Почему ты не спишь, апер? — еще с порога весело спросил сын.

— Не спится, — не сразу ответил старик.

— Почему?

— Так.

— Может быть, ты болен? Я схожу за врачом, — с беспокойством сказал сын.

— Не надо. Мне шестьдесят пять лет, и я ни разу не был у врача.

— Но что с тобою случилось?

— Ничего.

Арсен принес отцу персики, но тот не стал их есть,

не спеша разделся и лег. Старику не спалось. Новость, которую он услышал от сына, угнетала его, щемило сердце. Молча пролежав часа два, он повернулся к сыну и грустно заговорил:

— Арсен, как же это может быть?

— Что «как же это может быть»?

— Что ты не учишься, — застонал старик.

— Э... отец, не горюй. Зачем учиться, теперь не только студенты, но и профессора, наверно, завидуют мне. Что ты печалишься? Тебе хочется хорошо жить, не так ли? Я все для этого сделаю. Вот весною продам этот дом, прибавлю тысяч сто, куплю большой дом, дачу, перевезу моих братьев, тебя и маму в город, тогда ты будешь лежать на спине и наслаждаться жизнью.

«Сто тысяч, — подумал старик и удивился, — это же доход нашей фермы за целый год. Сто тысяч!» Он побоялся вслух назвать эту большую сумму. Асрат сел, хотел еще что-то спросить у сына, но тот уже храпел.

Старик окончательно потерял сон. Конечно, он слышал, что есть люди, зарабатывающие сто тысяч рублей, но это крупные ученые, это те, кто пишет хорошие книги, но его сын не крупный ученый и не писатель. Его отцовское самолюбие было удовлетворено, когда он узнал, что его сын, как и другие знатные люди, зарабатывает такие большие деньги. Но этой радости было ему недостаточно. Он не мог примириться с мыслью, что его старший сын, его любимец, избалованный с детства Арсен, не окончит университета, как многие юноши из их села. Для него диплом университета был таинственной святыней, мечтою. Всю свою жизнь он стремился к тому, чтобы его старший сын окончил университет и получил диплом.

Он не мог примириться с мыслью, что сын не учится. Он всегда говорил своим односельчанам: «Продам папаху, но дам моему Арсену образование, доведу его до диплома».

А теперь?

Теперь эту заветную мечту Арсен посыпал пеплом. Старик, который в жизни никогда не курил и чувствовал отвращение к запаху табака, встал, ощупью

нашел на столе пачку папирос, подаренную шофером Сааком, нашел спички и положил в рот папиросу. Свет электрической лампочки с улицы освещал комнату, были видны здоровая, сильная грудь Арсена, его широкий и красивый лоб. Впервые отец почувствовал к сыну странное безразличие.

Старик закурил, закашлялся, погасил папиросу и лег, но уснуть не мог. На какой бок он ни поворачивался, не мог успокоиться. Болела спина, кололо сердце. «А с каким лицом мне вернуться обратно в село? — горько думал он. — Если люди спросят у меня, когда твой сын получит диплом, что мне ответить?» Только к утру он сомкнул глаза.

Он проснулся и сейчас же сел в постели, услышав шаги сына. Тот был уже одет и перед зеркалом расчесывал волосы. Старик увидел, что большие глаза и круглое красивое лицо Арсена в большом зеркале напоминают черты покойного дяди.

— Ты хорошо спал, отец? — спросил сын.

— Спал, — грустно ответил старик и оделся.

Сын приготовил чай, вместе с закуской поставил на стол, надел шляпу и сказал:

— Апер, покушай, выпей чаю, отдохни, я пойду по своим делам. Днем пришло тебе обед.

Но отец не подошел к столу, он сказал, что у него нет аппетита и что он хочет видеть место, где работает сын. Хотя Арсену не хотелось, чтобы отец шел с ним, но, чтобы не обидеть старика, согласился. По мрачному лицу, беспокойным движениям и тону отца он понял, что старик недоволен. «Ничего, в первые дни будет недоволен, поворчит, а потом согласится с тем, что я прав», — думал он.

4

Дверь заперли и вышли на улицу. Арсен остановил такси, и они поехали.

Было раннее осеннее утро. Ночью шел проливной дождь, и сейчас асфальт блестел, как река. В его зеркале отражались горевшие еще кое-где огни. До начала работы было еще довольно много времени.

Арсен попросил шофера ехать медленно и показать им город. Он рассказывал отцу о памятниках и выдающихся зданиях города.

Хотя отец каждый раз поворачивался в указанную сыном сторону, он не проявлял интереса к его объяснениям. Он думал о другом, другие заботы мучили его.

Долго ездил он по городу, наконец остановились перед четырехэтажным домом и вышли из машины. Арсен расплатился с шофером и, взяв отца под руку, повел к большому красноватому зданию.

У дверей стоял юноша, который взял у Арсена ключи и открыл помещение.

— Ну, отец, войди, — оказал Арсен, — вот место моей работы. Посмотрим — понравится ли тебе?

Они вошли в довольно большую комнату. Старик почувствовал запах вина, водки и солений. Ему бросился в глаза огромный шкаф, за стеклами которого виднелись разноцветные бутылки с напитками. Старика удивил странной формы стол, на котором во всю длину возвышался стеклянный полукруглый колпак. Под стеклом на этом столе старик увидел вареных кур, уток и рыбу; рядом с курами лежала грудa колбас. Каких только кушаний не было на этом странном столе!

У стен комнаты были поставлены несколько столиков с солонками и перечницами.

Арсен подошел к небольшому квадратному окошечку на внутренней стене и громко поздоровался:

— Доброе утро, мастер Наво!

Асрат, вытянув шею, посмотрел в это окошечко и увидел кухню. Высокого роста молодой парень ножом разрезал мясо.

— Кто он такой? — тихо спросил старик сына.

Арсен объяснил, что мастер Наво их повар, и прибавил:

— Он делает такие шашлыки, что пальчики оближешь, во всем городе не найдешь такого повара.

«Не стыдно ему, этому молодому человеку? Пришел сюда и занимается женским делом. Какой из него получился бы косарь!» — подумал старик о поваре.

Другой молодой человек мокрой тряпкой стирал со

столов пыль, насыпал соль в солонки, приводил в порядок стаканы. Арсен надел белый халат и белую полотняную шапочку.

— Это что такое, Арсен? Ты здесь работаешь? — с сомнением спросил старик.

— Да, отец.

— Вах... ты шутишь, это же кабак.

— Закусочная, — поправил сын, приготавливая колбасу.

— Неужели ты здесь работаешь?

— Ну да.

— А... — застонал старик и сел на высокий стул у окна. Его лицо омрачилось.

До этой минуты он был убежден, что сын работает в каком-нибудь высоком государственном учреждении, имеет кабинет и письменный стол, на котором стоит телефон, как у председателя райисполкома или у заведующего сельхозотделом. Он был убежден, что в этом учреждении сидят образованные, умные люди, которые заботятся о людях и стране, пишут бумаги, говорят по телефону, читают заявления и письма людей, отвечают на них.

Асрат готов был уже примириться с мыслью, что его сын не учится, так как он думал, что можно хорошо работать и без образования. Но теперь, находясь среди бутылок вина, водки и пива, в этой комнате, пропахшей запахом спирта, он окончательно упал духом.

Начали приходить посетители. Они шумно раскрывали дверь, подходили к стойке, требовали водку, коньяк или вино. Некоторые из них с почтением глядели на Арсена, другие же, наоборот, обращались к нему грубо.

Арсен с удивительной быстротой разливал вина в стаканы, брал колбасу, курятину, пол-огурца или пучок редиски и подавал посетителю. Посетители пили стоя, платили и сейчас же выходили.

Асрат с отвращением глядел на приходивших, число которых все увеличивалось.

Люди, не здороваясь, подходили к стойке и просили:

— Стакан водки, Арсен-джан!

Немногие не называли его по имени или не добавляли слово «джан». Но Арсен со всеми был одинаково любезен, всем улыбался и говорил:

— Сию минуту, дорогой мой, пей на здоровье. Не хочешь курятины? Свежая. Может быть, угодно шашлык или люля-кебаб из баранины, с помидорами и перцем?

Охотников шашлыка и люля-кебаба стало больше к полудню. Комната была переполнена людьми. Некоторые ели стоя, другие, теснясь, устраивались за столиками. Из окошечка в стене часто показывалась голова мастера Наво.

— Три шашлыка готово, бери, Арсен, — кричал он.

Арсен еле успевал раскрывать бутылки пива, нарезать хлеб, огурцы, брать шашлык у мастера Наво и передавать заказчикам. Он удивительно быстро считал деньги. Косточки счетов бегали под его опытными пальцами и сейчас же смешивались. Иногда посетитель долго ждал, пока получал сдачу. Асрат заметил, что Арсен нехотя возвращает владельцу сдачу.

«Откуда у людей столько денег? — покачивая головой, думал старик. — Падают, как осенние листья».

У ближайшего стола сидели восемь человек, все они были пьяны. Среди них выделялся один. Он был без головного убора, с отрезанным ухом, в гимнастерке с раскрытым воротом, из-под которого видна была сильная грудь.

«Какой из него вышел бы тракторист! — глядя на одноухого, думал старик. — Интересно, за что ему отрезали ухо».

Одноухий подошел к стойке и, положив кулак на стекло, сказал:

— Умираю от жажды, Арсен-джан, дай сорок бутылок пива, восемь порций люля-кебаба.

Он вдруг увидел старика и улыбнулся.

— Дорогой дядя, молодым быть лучше или старым? — спросил он. Потом снова обратился к Арсену: — Дай скорее пива, Арсен, все равно мы должны когда-нибудь умереть. Сорок бутылок пива, восемь порций люля-кебаба, зелень, хлеба. стакан водки выпей за мой счет, выпей, говорю тебе.

— Могу ли я тебя обидеть, — весело ответил Арсен, — выпью, Абет-джан, если даже будет горько, не обижу тебя. Ты садись, садись с ребятами, я сейчас все сделаю. — Он обратился к своему помощнику: — Миша, отнеси ребятам пиво, быстро. — Затем налил стакан водки и поставил в сторону.

Миша отнес раскрытые бутылки с пивом и поставил на стол Абету с его приятелями.

— Сколько бутылок отнес? — тихо спросил Арсен у своего помощника.

— Тридцать три, — так же тихо ответил тот.

— Хватит, теперь отнеси хлеб и зелень.

Миша отнес хлеб и зелень, поставил перед Абетом и побежал к другим столам, чтобы убрать пустые бутылки.

Асрат боязливо посмотрел на стакан с водкой, который Абет приказал выпить Арсену. «Если каждый проходящий будет угощать его стаканом водки, он не выдержит», — думал он. Но его беспокойство было напрасно. Арсен водку дал другому посетителю и получил за это деньги.

Потная голова мастера Наво снова показалась в окошке.

— Арсен, бери шесть люля-кебаб, — сказал он своим хриплым голосом.

Арсен взял тарелку и поставил перед Абетом. «Но ведь Абет попросил восемь порций. Почему же им дали только шесть?» — подумал старик и, нагнувшись к Мише, резавшему хлеб, сказал:

— Ты отнес этим людям пива на семь бутылок меньше, отнеси и остальные.

Парень удивленно посмотрел на старика, хотел ему что-то сказать, но только улыбнулся и разрезанный им хлеб отнес на другие столы.

Число посетителей в закусочной увеличилось. Дверь уже больше не закрывалась.

Закусочная произвела на старика тяжелое впечатление. Он неотрывно глядел на сына, который одну за другой раскрывал бутылки водки, вина, коньяка, разливал в стаканы, щелкал на счетах и получал деньги.

Коробки под столом были полны денег. Абет и его товарищи пели, но на них никто не обращал внимания. Миша, который помогал Арсену, уже собрал с их стола пустые бутылки. Наконец Абет, покачиваясь, подошел к Арсену.

— Арсен, подсчитай, — еле выговорил он.

— Сию минуту, Абет-джан, — сказал Арсен и придвинул к себе счеты. — Восемь люля-кебаб, одна водка, сорок бутылок пива, хлеб, зелень, — быстро подсчитал он и назвал сумму.

— Сколько? — переспросил Абет.

Арсен повторил сумму. Абет пошарил в карманах и достал две смятые сторублевки. Арсен взял деньги, разглядел их и бросил в ящик.

— Абет, семь рублей будет за мной, нет мелочи.

— Ничего... будь здоров, — пробормотал Абет и, покачиваясь, вышел.

Старик видел все это, и его будто окатили холодной водой. Он поднялся. «Как же это так, — думал он, — ведь вон есть же мелочь, почему же Арсен обманул его, почему вместо шести порций он взял деньги за восемь, почему он присчитал семь бутылок пива, почему...»

Старик был потрясен. Он понял, на какой путь встал его сын, и глубоко вздохнул. Теперь он уже гневно смотрел на сына. Днем у него на глазах его сын обманывает людей, лжет, льстит.

Он закрыл глаза, чтобы не видеть проделок сына.

«Перебить бы тебе хребет, Арсен, разве твой отец когда-нибудь брал в рот нечестно заработанный кусок? Что ты делаешь?» — вздыхая, думал он и тихо, но сердито подозвал сына:

— Арсен!

— Что, апер? — отозвался тот. — Ты устал? Ничего, подожди немного, вот скоро кончу, уйдем.

Асрат еле сдержал себя, чтобы не схватить сына за рукав, в присутствии людей не крикнуть: «Свернешь шею, сын мой! Что ты делаешь?»

Больше теперь его ничто здесь не интересовало. В горле у него пересохло, и ему захотелось выпить ключевой воды из родника горы Тахтун. Он застонал.

Была полночь, когда Арсен попросил всех покинуть закусочную, запер дверь, сел в машину и вместе с отцом вернулся домой.

Ни по дороге, ни дома старик не заговаривал с сыном, даже не глядел на него. Дом сына для него стал чужим. Костюм, который ему купил дня два тому назад Арсен и который он с любовью и гордостью носил, теперь ему казался сшитым из шипов.

Легли спать. В комнате воцарилась глубокая тишина.

— Арсен, не спишь? — осторожно спросил старик.

— Нет, не сплю, — лениво ответил сын.

— Раз не спишь, я хочу спросить: сколько денег ты сегодня заработал?

Арсен закурил и в полутьме улыбнулся. «Хочет узнать, действительно ли я зарабатываю много денег», — подумал он и не без хвастовства ответил, что от сегодняшней выручки ему осталось пятьсот рублей.

— Пятьсот? — удивился старик.

— Да, апер, сегодняшняя торговля была неважной. Я решил сегодняшний заработок дать тебе, чтобы ты мог тратить эти деньги по своему усмотрению.

— Не хочу! — неожиданно сурово крикнул старик. — Я не пользуюсь нечестными деньгами, нет.

— Что? — поднялся сын и наклонился к кровати отца. — Что ты сказал, апер?

— Ты оглох, что ли? Я говорю: не беру нечестные деньги. Понял? Деньги заработаны тобою нечестным путем, я своими глазами видел. Да разве можно так делать? Ты же этому одноухому Абету дал пива на семь бутылок меньше, люля-кебаба на две порции меньше, а деньги получил полностью. Я уже не говорю о семи рублях и стакане водки. Ты обманул людей на моих глазах.

Арсен громко засмеялся.

— Апер, в какие глубины ты спускаешься, здесь же торговля.

— Торговля, — зафыркал старик. — Разве это тор-

говля? Такую торговлю раньше вел в нашем селе ростовщик Осеп.

Сын с удивлением смотрел на отца и молча курил.

— Твой заработок нечестный, Арсен, — повысив голос, продолжал старик. — Я этого не люблю. Нечестным путем заработанный хлеб свернет шею человеку; нечестное дело не может остаться безнаказанным в наше время. Стыдно, Арсен. — Голос старика дрожал. — Если ты меня хоть немного уважаешь, не делай этого больше.

Арсен, сердито махнув рукой, прервал отца:

— Спи, не морочь мне голову. Петя знает, на какую гору погнать свое стадо, — зло сказал он.

Старик замолчал и уставился глазами в потолок. Он вспомнил закусочную, полную дыма, удивительную ловкость сына, обманным путем присвоенные деньги и круглое потное лицо мастера Наво.

«Нет, у него будет плохой конец, — с горечью думал Асрат о своем сыне. — Диплом — бог с ним, — он глубоко вздохнул, — лишь бы у него была честная работа, а то ведь его могут арестовать. Нет, он должен либо здесь поступить на другую работу, либо я его заберу с собой в колхоз, буду держать при себе. Я не могу допустить, чтобы он окончательно погиб».

* * *

На следующее утро отец категорически предложил Арсену оставить работу в закусочной и идти учиться какому-нибудь ремеслу. Но сын то смеялся над стариком, то сердито останавливал его. Наконец Арсен оставил отца дома и ушел на работу. В полдень он послал ему обед с Красавцем Сааком, но старик до обеда не дотронулся.

Когда Асрат почувствовал, что проголодался, он достал из-под кровати свой хурджин, порылся в нем, нашел высохшие куски лаваша, сыр и начал есть и запивать водой.

Ночью сын домой не вернулся. Это сильно обеспокоило старика. О чем он только не думал. Кто его знает, может быть, кто-либо из пьяных посетителей

сделал что-нибудь с сыном или его арестовали. Он несколько раз выходил во двор, долго стоял на берегу ручья. Улицы были пусты; отдельные прохожие спешили к себе домой, но Арсена не было...

Старик не спал всю ночь; сидя на тахте, он думал. Сын вернулся на рассвете сильно пьяный и, пошатываясь, упал на диван.

«Нет, его надо сбить с этого пути или увезти в село», — наконец твердо решил Асрат.

Когда Арсен проснулся, уже стемнело и кое-где зажглись огни; несколько минут он опухшими глазами смотрел на стены, на отца, потом лениво спросил:

— Апер, я долго спал?

— Ты спал семикратно сну медведя.

— Когда я вернулся?

— Ты говоришь «вернулся»? — вздохнул старик.

Арсен отвернулся и долго молчал. Потом умылся, пригласил отца за стол. Оба ели молча. Арсен выпил стакан водки, чтобы смягчить головную боль. Глаза у него были мутные, руки заметно дрожали, иногда он рукой хватался за грудь и стонал.

Когда они поужинали, старик поднял голову и, в упор глядя на сына, сказал:

— Арсен, послушай меня, брось эту проклятую работу.

— Зачем бросать, отец? Чем мешает тебе моя работа? — раздраженно крикнул сын.

— Арсен, возмись за ум. Ты не учишься — не учишься; потом будешь жалеть... Но уйди из закуской. Ты молодой человек, начини работать в другом месте. Стань каменщиком, землекопом, кем хочешь, только, ради бога, оставь это грязное дело. Баладжан, когда-нибудь тебя арестуют, перед всем миром оскандальимся.

Арсен слушал отца нахмурившись, иногда кусал губы, как это делают ученики, слушая нравоучения нелюбимого учителя. Когда отец кончил говорить, он закурил, бросил спичку к двери и, поднявшись, сказал:

— Знаешь что, апер, ты хорошо сделал, что приехал сюда. Ты всегда у меня будешь в почете, можешь пить, есть, веселиться; делай все, что тебе хочется,

скажи, и я куплю тебе все, что тебе нужно, не пожалю денег, но немедленно прекрати свои нравоучения. Я их не хочу слушать. Неужели ты принимаешь меня за ребенка? Прекрати разговор на эту тему, все равно я не брошу свою работу.

— Стало быть, так? — застонал отец.

— Да, так.

— Стало быть, ты мою мечту оставляешь несбыточной?

— Почему? Не все ли равно тебе, как я зарабатываю деньги? Разве я тебе не помогаю? Чем ты недоволен? — возмущенно крикнул Арсен.

— Стало быть, ты не хочешь стать честным человеком? — снова спросил отец.

— Нет, говорю я, разве ты не слышишь? — злобно кричал сын. — Неужели ты не понимаешь, что за другую работу я не возьмусь? Кончено!

— Раз так, Арсен, поедem домой, теперь многие возвращаются в колхоз, там нужны люди. В ущелье у нас должен строиться новый канал, мы должны поднять новые земли у подножия горы Тахтун. Поедем, поработай в колхозе. Заживешь хорошо, — настаивал отец.

— Я не поеду в колхоз, — махнув рукою, сказал сын.

— Почему не поедешь? Разве там люди хуже других? Смотрите-ка на него, — развел руками старик. — Вырос в деревне, а теперь ему не нравится там. В старину говорили: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. А ты знаешь, что только в одном нашем колхозе двадцать человек с высшим образованием: учителя, агроном, врач, наш председатель, зоотехник. Чем эти люди хуже тебя?

— Хорошо, апер, кончай, — решительно сказал Арсен, — прекрати разговор о моем возвращении в село.

— Тогда оставайся в городе, но меняй работу.

— Этого еще не хватало, — иронизировал сын, — моя работа для меня хороша.

Пастух окончательно расстроился. Все его надежды были разбиты, как разбивается кувшин с водой, упав на камень. Он пристально глядел на сына, из его груди вырвался тяжелый вздох.

Три дня отец умолял сына оставить работу в кусочной, научиться какому-нибудь ремеслу или вместе с ним вернуться в село. Он обещал высватать ему самую лучшую девушку, подыскать в колхозе удобное и почетное занятие, даже обещал построить новый, отдельный дом на приусадебном участке, но сын упорствовал.

Когда Арсен уходил на работу, старик садился во дворе на камень и часами думал. Часто он глубоко вздыхал. Он осунулся, казалось, седина на его голове стала заметней. Старик тосковал по дому, по лугам горы Тахтун, по овцам своего стада. Он жалел, что отправил сына в город, не научил его унаследованному от отцов пастушескому делу.

Старик вспоминал односельчан, живущих в городе, и еще больше страдал. «Вон Антон, сын Бахши, стал здесь большим ученым. Сын Осёпа Елунца стал профессором-врачом, его имя известно всему свету. Внук Цатура Джабаза выучился на инженера и теперь назначен директором большого завода. Раз два в газетах был напечатан его портрет, а в прошлом году его выдвинули в депутаты». Кого только Асрат не вспомнил. Кто из их села ни приезжал сюда учиться, все, закончив образование, становились известными людьми. Только его сын гонится за легкой жизнью. Отец больше не надеялся, что сын его послушает. Его горю не было предела. Он мечтал видеть сына с высоким образованием, на хорошей должности, среди людей, пользующихся почетом и уважением. Получилось как раз наоборот.

— Арсен-джан, пусть отец будет твоей жертвой, поедет домой, — настойчиво повторял он.

Но сын даже не хотел его слушать.

6

Вечером Асрат сказал сыну:

— Завтра отправь меня домой.

— Почему так скоро, апер, на зиму останься у меня, будешь жить припеваючи, а весной отправлю тебя.

— Гм... припеваючи, — усмехнулся старик. — Ты вонзил мне нож в сердце, Арсен, нож...

Глаза его наполнились слезами.

Хоть сын и рад был тому, что отец уезжает, но только после настойчивого требования его обещал отправить в деревню. На следующий день он привез домой два больших чемодана. Когда шофер ушел, Арсен, показав на чемоданы, сказал:

— Это возмешь с собой, отец.

— Зачем?

— Для домашних, — объяснил Арсен, — я положил туда кое-что детям и маме.

— Не повезу, — решительно отрезал Асрат.

— Почему? — спросил сын.

— Ты еще спрашиваешь? Сколько раз я тебе говорил, что я не ем нечестным путем заработанный хлеб. В мой дом никогда еще не попадал товар, приобретенный воровским путем. Не повезу — и кончено.

— Стало быть, я вор, отец? — зло спросил сын.

— Да, да, от головы до пяток вор! — яростно крикнул старый пастух.

Сын замолчал.

* * *

В эту ночь Асрат безвозвратно потерял источник радости, о которой он так мечтал. Он не мог спать, тогда как Арсен уснул сразу.

Старый пастух начал вспоминать, как он отправлял сына в город, чтобы тот учился, стал бы настоящим человеком, чтобы слава рода Тарунц стала известна всему свету. Но сын оказался недостойным доверия отца и растоптал его мечты.

«Чтоб сломалась твоя спина, Арсен, — застонал он, — чтоб провалиться тебе, раз ты бросил мою шапку на землю. Тысячи, которые ты зарабатываешь, превратились бы в яд змеиный».

Ночь была тяжелая и мрачная. Асрат ворочался в своей постели, мысленно ругал сына, свою судьбу, когда пришел какой-то человек и сказал, что Арсена срочно вызывают.

Арсен оделся и вышел. У старика в сердце запала тревога. Он больше не мог лежать, встал и с нетерпением начал ждать возвращения сына.

На рассвете снова пришел тот же человек, который приходил ночью, и сказал, что Арсена арестовали.

Как будто пол провалился под стариком; он упал на диван и безутешно зарыдал...

• • •

Опомнившись, он поднялся, запер дверь на замок и вышел. Проходя через мостик, он в воде увидел свое отражение и ужаснулся. Он еле узнал себя в костюме, купленном сыном, и, как ужаленный, бросился в воду, снял с себя новый костюм, брюки, гимнастерку, ботинки, каракулевую шапку.

— Нечестный, нечестный труд! — задыхаясь от злости, кричал он и всю свою ярость изливал на одежду. — То, что приносит ветер, ветер и уносит, не хочу, я ни разу не пользовался ворованными вещами.

Взяв хурджин, он дрожащими руками достал свою одежду и надел ее. Его возбуждение несколько улеглось, когда он почувствовал аромат земли от своей одежды.

Выходя из дому, он пошел в закусочную сына, но дверь ее оказалась закрытой. Не было ни мастера Наво, ни Миши.

— Чтоб никогда тебе не раскрываться! — глядя на запечатанную дверь, пробормотал старик и быстро ушел.

Надо было узнать, где сын. Старик обратился к прохожим и попросил показать ему какое-нибудь отделение милиции. Ему показали. В трамвае случайно он увидел знакомого студента и от радости во весь голос крикнул:

— Гегам, Гегам, иди-ка сюда, сын мой.

Гегам узнал старика и подошел к нему.

— Что случилось, отец? — спросил студент, который вез на машине Асрата в день его приезда в город.

Асрат обстоятельно рассказал ему о том, что произошло с Арсеном, и почувствовал некоторое облегчение. Гегам до конца выслушал старика и сказал, что Арсен еще с первого курса ушел из университета, рассказал все, что ему было известно об Арсене, и наконец заявил, что его непременно строго накажут.

Гегам повез старика в отделение милиции, в котором, по его мнению, должен был находиться Арсен.

Капитан приветливо принял старика и начал с ним беседовать. Выяснилось, что он хорошо знает многих односельчан Асрата, является близким другом председателя их колхоза, с которым вместе воевал в годы Отечественной войны. Это все ободрило старика.

— Скажи теперь, бала-джан: что будет с моим сыном? — спросил он.

Капитан заглянул в какие-то бумаги, сочувственно посмотрел на старика и ответил:

— Если правду хочешь знать, отец, сына твоего осудят.

— Да? — взволнованно произнес старик.

— Да, отец, он теперь находится на предварительном следствии, потом будет суд. Его осудят. Сын твой совершил большие злоупотребления, он обманывал не только посетителей, но и грабил государственные средства.

Асрат снова почувствовал потребность закурить и попросил капитана дать ему папиросу. Долго он не мог говорить, словно у него отнялся язык. От стыда он не знал, куда деться, будто не сын, а он сам совершил большое преступление. Он еле сдерживал рыдания.

— А что мне теперь делать, бала-джан? — наконец спросил он.

— Советую вернуться в село, отец, — видя горе старика, сочувственно ответил капитан, — все равно твой сын будет осужден, преступление его большое. Пусть посидит, может, исправится и для тебя и для народа станет нужным человеком.

Асрат порывлся в карманах своего архалука достал оттуда сторублевку и, протягивая капитану, сказал:

— Возьми, бала-джан, эти деньги я привез с собою из дому, сделай одолжение, купи мне билет и отправь домой, здесь я ничего не знаю, ни улиц, ни дороги.

* * *

Через два дня он уже был недалеко от своего села.

Глубокая осень наступала на нагорный край. На давно скошенных полях не осталось ни одного стебля. Снег с горы Тахтун спустился до краев поля. Солнце уже садилось. Асрат с тоскою смотрел на родные горы, на село, окутанное синим дымом, и впервые в жизни ему было стыдно показаться людям на глаза. Он свернул с дороги, пошел к пещерам, что недалеко от села, и остался там до тех пор, пока не ушел с поля последний человек и пока ночь не опустилась над миром. Только тогда он незаметно вошел в село и осторожно, как беглец, подошел к своему дому.

Малыши спали. Старшие дети сидели за столом, учили уроки. Жена вязала носки. Увидев старика, все оставили свои дела и окружили его.

Старик снял с плеча пустой хурджин, не сказав обычного «добрый вечер», и упал на тахту.

— Асрат! — испуганно крикнула жена. — Ты болен, Асрат?

Старик застонал.

— Асрат, — придушенным голосом снова крикнула она, — что случилось с Арсеном?

Старик ударил кулаком по столу.

— Арсен! — придушенным голосом крикнул он. — Не называйте этого имени, у нас нет Арсена, Арсен умер... — и он несвязно рассказал о происшедшем.

Во дворе выл Чамбар. С горы Тахтун сорвался холодный ветер и со свистом и стоном мчался над селом.



СЕДЬМОЙ РОДНИК

1

Холодный ветер сдувает с деревьев листья и гонит их по улицам маленького городка, затерявшегося в горах. На берегу реки горделиво возвышается крытый железом домик каменотеса Маргара.

Полдень. У ворот на каменной скамье сам мастер Маргар, погруженный в думы. Кажется, он прислушивается к шелесту листьев, гонимых ветром. Но ни шорох листьев, ни плеск реки, извивающейся по долине, не привлекают внимания старика. Уставясь полузакрытыми глазами в землю, он ушел в себя.

...В начале Великой Отечественной войны в числе других отправился на фронт и сын Маргара, архитектор Арам. В первое время старик часто получал от сына письма. Всякий раз, получив письмо, усаживался он на покрытой ковром тахте, осторожно вскрывал конверт и долго молча читал... В эти торжественные минуты жена мастера, старая Манушак, становилась перед мужем, скрестив на груди руки, и старалась по лицу его угадать содержание письма. Маргар читал письмо, жена — выражение его лица. Прочитав и уразумев содержание письма, мастер promptly прочитывал

его вслух, обстоятельно поясняя жене смысл каждой фразы и каждого слова.

Но письма Арама вдруг иссякли, как источник в зной. Сперва мастер Маргар видел в этом только обычный перерыв, но когда этот перерыв затянулся, в сердце старика вкралось мрачное подозрение: «Неужели с ним что-нибудь случилось?» И эта мысль пугала его. Он никому не говорил о своей тревоге, бодрился, подбадривал старуху и подолгу заслушивался радио, точно оно могло сообщить, где его сын.

2

Время шло, но от Арама писем не было. И вот однажды Маргар услышал по радио желанную весть: «Победа!» Он вскочил, бойко, точно юноша, запрыгал и крикнул жене:

— Победа, женушка, радуйся!

Старуха ласково улыбнулась, но эта улыбка скоро исчезла. Старуха застонала:

— От Арама, от Арама моего нет весточки!..

Ее слова, как нож, вонзились в сердце Маргара. Он ужаснулся, взглянув на жену.

— Вернется, женушка, вернется, — проговорил старик, с трудом сдерживая волнение.

И, выйдя на балкон, он долго всматривался в шоссе, спускающееся с горы Ласт: по этому шоссе возвращались бойцы с фронта.

* * *

Утром Маргар отправился на шестой родник, построенный им. Женщины, пришедшие по воду, молча поздоровались и ушли. Обыкновенно всякий раз, когда он останавливался перед тем или иным родником, женщины, обступая старика, заводили с ним долгую беседу. А теперь они точно избегали его. Почему бы это? «Да, да, все знают, что моего Арама нет. Знают, но не говорят, жалеют меня», — подумал мастер.

Каждый родник, построенный мастером Маргаром, имел свою историю. Но шестой, перед которым он теперь стоял, был заветным. Он заложен был в тот самый день, когда приехал из Еревана Арам, успешно окончивший свои занятия по архитектуре. Вместе с сыном Маргар достроил шестой родник. Надо было заложить еще один, седьмой по счету. Маргар это дело поручил сыну. Но мечта старика не осуществилась: Арам отправился на фронт.

И вот однажды, когда Маргар сидел на своем излюбленном месте, на каменной скамье у ворот, он вдруг заметил, что прямо к его дому подходят районный военный комиссар и секретарь райкома. Когда они приблизились, мастер Маргар подметил в их глазах затаенную скорбь и весь затрясся: такое лицо бывает у людей при посещении родных покойника.

— А мы к тебе, мастер, — заговорил военком, избегая глядеть старику в глаза.

Маргар пригласил гостей к себе. На стене, против двери, висел большой портрет Арама. Старик заметил, с каким сожалением взоры гостей скользнули по портрету сына.

— Присядьте, — через силу молвил он.

Но гости не сели. Военком достал из портфеля красную подушечку и положил на стол. К ней был прикреплен орден Отечественной войны первой степени. Маргар взглянул на орден, взглянул на красную подушечку, и ему все стало ясно. Комната закружилась перед ним, в горле стало сухо, ноги подкосились, однако и теперь у него хватило сил овладеть собою.

— Орден Арама, — сказал военком.

— Понимаю, сынок, и без того понимаю, — ответил Маргар и склонился над подушечкой.

Когда он прижал губы к ордену, ему почудилось, будто он целует лоб сына. В глазах у старика защемил, на подушечку закапали слезы. Потом он выпрямился, вытер глаза и тяжело вздохнул.

— Так я и знал, дети мои, сердце не ошибается. Дверь открылась, вошла Манушак. Гости переглянулись: «Как быть со старухой?»

При виде таких почтенных гостей старуха растерялась.

— Подойди, Манушак, — обратился к ней Маргар, скрывая волнение, — подойди, вот орден Арама.

Старуха быстро подошла к столу. Разглядев блестящий орден, она улыбнулась и вопросительно посмотрела на мужа.

— Поцелуй его, Манушак, — продолжал старик.

Старуха нагнулась и трижды припала к ордену горячими губами.

— Но где же мой Арам, скоро ли приедет?

— Приедет, — глядя жене в глаза, твердо ответил Маргар.

— Да когда же?

— Когда? — повторил старик и, помолчав с минутой, отчеканил: — Когда построим седьмой родник, в тот день и Арам приедет.

Старуха поверила. Уже полвека живут они с Маргаром спокойно и мирно. За эти пятьдесят лет Манушак ни разу не слышала от мужа неправды. Поверила она и теперь и облегченно вздохнула.

Всю эту ночь мастер Маргар не мог сомкнуть глаз. Он разбирал бумаги сына, хранившиеся в большом сундуке. И вдруг попался ему проект седьмого родника.

Сердце старика забилося. Проект был составлен Арамом незадолго до отправления на фронт. Это был его первый зодческий опыт.

Долго рассматривал Маргар чертеж. С каким жаром, с каким увлечением сын создавал свой проект! Да, это будет красивейший из городских родников!

Глаза старика налились слезами.

Положив на место проект, Маргар сел на тахту, устремил в потолок неподвижный взор и отдался думам.

«Надо строить седьмой родник», — повторил он про себя. И эти слова точно облегчили его горе. «Построю, чтобы заветная мечта моего Арама не осталась тщетной».

На другой день мастер с проектом седьмого родника отправился к секретарю райкома.

Секретарь принял его у себя в кабинете. Солнце заливало лучами всю комнату. Секретарь поспешно подошел к старику.

— Пожалуйста, мастер, присаживайтесь.

Маргар уселся и, сдержав глубокий вздох, молвил:

— Я хочу построить седьмой родник, товарищ секретарь. — Потом, как бы про себя, продолжал: — Этот родник будет вечным памятником нашим погибшим сыновьям.

Секретарь внимательно слушал его.

— Седьмой родник станет лучшим украшением нашего города и будет памятником героям.

— Мысль отличная, мастер Маргар. На этот счет имеются указания правительства. Получим проект и построим.

Старик протянул ему проект.

— Вот чертеж седьмого родника, товарищ секретарь. Это — работа моего сына, первый его архитектурный труд.

Секретарь пообещал всяческое свое содействие.

Прощаясь с секретарем, Маргар сказал со вздохом:

— Тяжелые потери мы понесли.

— Да, тяжелые! Но эти жертвы дали нам свободу, счастливую жизнь и мир. Пусть же отныне ни один отец не потеряет сына, пусть больше не будет войны, мастер. Маргар.

Спускаясь по лестнице, старик в уме повторил слова секретаря: «Пусть же отныне ни один отец не потеряет сына, пусть больше не будет войны». Потом громко сказал:

— Умные слова, которые у всех нас в сердце!

* * *

Дня через три на ранней зорьке мастер Маргар, захватив мешок с каменотесными орудиями, вышел из дому.

На краю города, над рекой, изгибался дугой каменный мост, построенный им и его отцом, тоже мастером, полвека назад. Старик поднялся на мост и взглянул на солнце, выходившее из-за горы Ласт.

Сколько раз он любовался отсюда солнечным восходом! Как он верил, что вот-вот придет победа и с нею вернется Арам!

Победа пришла и озарила душу ярче солнца. Но Арама нет. Он не вернется...

Пройдя вдоль широкого шоссе, старик остановился. Здесь колхозники расчищали место для родника-памятника. Одни свозили на подводах камень, другие просеивали песок. Все работали с жаром, дружно.

— Ах, ты пришел, мастер Маргар, добро пожаловать! Построим седьмой родник, — заговорили колхозники.

— Построим, — отозвался мастер, — воздвигнем нашим погибшим героям памятник-родник. Родник мира.

У края шоссе, в густой зелени, пробивался студеный ключ. Его струями Маргар освежил лицо и присел у родника. Это и есть то самое место, где Арам собирался создать седьмой родник.

Оторвавшись от дум, Маргар поднялся, взялся за тесло и начал обтесывать первый камень.

Едкая пыль ложилась на его седые волосы, на лицо; смешиваясь с пылью, пот капал на камни. Но старик продолжал тесать и тесать...

3

Камни оживали под ударами мастера; камням старик отдавал свое искусство, сердце, жизнь, камням он поверял свои надежды, несбывшиеся мечты... В мыслях он то носился по бранному полю и вместе с сыном вступал в бой, то стонал, как раненый, уронивший голову на колени медсестры, то вспоминал невозвратное детство Арама и погружался в думы, потом тесал, снова задумывался и снова тесал...

Тучи мчались над головой Маргара. Ему хотелось задержать их, приковать к камням. Но не остановишь тучи. В мыслях его проносились картины боев, а рука высекала на камнях орнаменты из цветов, вечно зеленых, мирных цветов. Цветами были украшены его шесть родников в городе.

...Прошло лето, настала осень. Яркий пурпур ее, отливая золотом, расстилался в долине Варарака и на горе Ласт. Когда были уже возведены своды седьмого родника, Маргар над самым высоким — средним сводом изваял голубя мира. Голубь реял с распростертыми крыльями, с веткой мира в клюве — реял, как мысли в голове Маргара.

Под изваянием голубя мира высечена короткая надпись:

«Да будет долгим и прочным мир во всем мире!»

Перечитав эту надпись, мастер Маргар присел на пьедестал родника, прислушиваясь к мирной песенке воды, струившейся по всем семи желобкам.

Седьмой родник обступили люди. Гладко обтесанные камни, высеченные на них цветы и голубь мира привлекали взоры и сердца всех. Люди читали надпись и говорили улыбаясь:

— Да проживет голубь мира тысячи лет, мастер Маргар!

Мастер смотрел на собравшихся, и ему казалось, что они явились сюда с поздравлением по случаю возвращения Арама живым и здоровым с поля битвы. Он хотел поделиться своими чувствами и мыслями с Манушак и, увидев ее на шоссе, поднялся ей навстречу...

Взволнованная, она шла быстро. Старуха торопилась. Люди, расступаясь, давали ей дорогу. Было тихо. Слышалось только, как журчали струйки родника. Манушак подошла к мужу. Она заглянула ему в глаза глубоким взором и сразу все поняла...

Манушак долго стояла перед родником, потом, обернувшись, промолвила:

— Вот он, седьмой родник — мой Арам.

Потом она долго всматривалась в изваяние голубя мира и заметила высеченные под ним слова.

И старик Маргар, как бывало читал ей письма от сына, прочел эти простые слова:

«Да будет долгим и прочным мир во всем мире!»



МИХАИЛ ШАТИРЯН

МАРО

Стемнело, и Шушанник-майрик снова охватила тревога. Маро опять опаздывала. Она опаздала и вчера, как и предыдущие дни. Это превратилось за последнее время в привычку.

На улице уже раздавались веселые песни и громкий смех: это девушки и юноши возвращались с поля. Кто-то крикнул:

— Девушки, сегодня в клубе будет кино! — И сейчас же в ответ послышалось дружное «ура».

Шушан напряженно прислушивалась — может быть, здесь и Маро? Но нет, Маро теперь уходит в поле одна, раньше всех и возвращается позже всех, тоже одна. Она больше не поет, не смеется.

Чем все это кончится? Чего добивается дочь, почему она взялась за такое неосуществимое дело?..

Щелкнула калитка.

Это была Маро. В сумерках не было видно ее лица, но по походке ясно было, что она устала, очень устала. Она подошла к двери и бросила на тахту белый фартук-мешок и несколько пустых чувалов. Мать подошла к ней, предварительно накрыв на стол и приготовив чистое полотенце.

Маро сняла белый платок и кофточку и осталась в

майке. Вместе с матерью она направилась вглубь двора, где под тутовым деревом поставлен был умывальник, и начала умываться.

— Мама, приготовь воду, перед сном я вымою голову, — сказала она громко.

— Я же знаю, бала-джан. Приготовлю, как всегда...

Шушан подумала: почему дочь ежедневно повторяет одно и то же, когда она сама делала это без напоминания? Мать не понимала, что это новая черта в характере дочери, черта руководителя, командира. Маро была звеньевой, у нее стало привычкой ежедневно напоминать подругам о том, что они должны сделать завтра, независимо от того, знают ли они свои обязанности.

Когда дочь умылась, мать подала ей полотенце, а сама пошла к столу. Было очень темно, стол стоял во дворе, у окна. Мать протянула через окно электрическую лампочку и осветила стол. Вокруг лампочки немедленно начали кружиться бабочки и комары.

— Иди, Маро-джан, — позвала мать девушку. — Иди кушать.

Когда дочь села за стол и пододвинула к себе тарелку, Шушан снова с беспокойством заметила, что Маро ест без всякого аппетита. Она была задумчива, ее мысли блуждали где-то.

— Кушай, бала-джан, кушай, — проговорила мать.

— Я же ем. Что еще я делаю? — рассеянно ответила дочь.

Вскоре она отодвинула от себя почти полную тарелку и протянула руку к винограду в плетенке. Мать раскрыла рот, чтобы убедить дочь съесть приготовленный ей обед, иначе она погубит себя, но вместо этого неожиданно для себя спросила:

— Ну, сколько сегодня?

Рука Маро осталась висеть в воздухе. Она посмотрела на мать и пробормотала:

— Двести десять.

— Очень хорошо, — обрадовалась Шушан. — Хотя бы все собирали столько.

Это было материнской хитростью. Правда, не мало в один день собрать двести десять килограммов хлопка, но до трехсот еще было далеко.

— Виноград помыт? — спросила Маро сердито.

— Доченька, — наклоняясь вперед, проговорила Шушан, — пожалей себя, умереть бы мне за тебя...

— Ах, мама, оставь, — сказала Маро, отвернувшись.

— Если ты не жалеешь меня, пожалей себя, что ты делаешь! — продолжала мать. — Лучше бы ты не читала ту газету...

— Мама, оставь! — снова проговорила Маро и вдруг отвернулась, пряча дрожащие губы.

Она сильно взволновалась. Мать растерянно побежала к ней, обняла и начала целовать ее голову, волосы.

— Бала-джан, успокойся, — повторяла она, чувствуя, что дочь, как ребенок, может расплакаться.

Кое-как Маро успокоилась.

— Что случилось, доченька? — снова ласково спросила мать, глядя голову дочери. — Кто тебя обидел?

— Ах, мама, ну почему так получается? — воскликнула Маро. — Видишь, я тружусь изо всех сил, мучаюсь — и ничего не выходит... — Она замолчала, задумалась. — Вот она может, а я не могу... Почему?

— Враки, Маро-джан, поверь мне, — убежденно ответила Шушан. — Нельзя столько хлопка собирать в один день... Ах, попался бы в мои руки тот, кто написал об этом, я бы с ним расправилась...

— Ну что ты говоришь, мама, — раздраженно проговорила Маро. — Нет, не враки, она действительно собирает столько; напрасно не написали бы в газете, не поместили бы ее портрета... Но почему она может, а я не могу?.. Я комсомолка, мама, я не хочу отставать от других... А выходит, что я отстаю, что я не способна сделать то, что делают другие.

Губы Маро снова задрожали, но она сдержала себя.

— Вай, чтоб мне ослепнуть, это ты неспособная? — ударив по коленям руками, произнесла

мать. — Так кто же тогда способный?.. Все село от мала до велика только о тебе и говорит, клянутся твоим именем, а ты говоришь, что не способная...

Опять калитка стукнула, и они прервали разговор. Маро поправила волосы, выпрямилась. Мать выжидалительно смотрела в сторону калитки, так как в темноте нельзя было определить, кто идет.

— Сестрица Шушан, Маро, вы дома? — послышался знакомый голос, и к столу подошли двое мужчин.

Один был Даниел, бригадир Маро, другой — незнакомый человек.

— Добрый вечер! — поздоровался Даниел. Кивнув в сторону Маро, он сказал своему спутнику: — Знакомьтесь, вот наша звеньевая Маро. А это сестрица Шушан, мать звеньевой.

Пришедший пожал руки Маро и Шушан и назвал-ся Симоняном.

— Вот что, Маро-джан, — сказал Даниел, — товарищ Симонян, корреспондент республиканской газеты, должен написать статью о передовиках нашего колхоза. Ну, мы в первую очередь пришли к тебе.

Шушан предложила гостям стулья. Они сели.

— Я знаю, — сказал корреспондент, — что вы только что вернулись с поля, видимо устали, поэтому не хочу сейчас отнимать у вас много времени... Задам только один вопрос...

— Не надо, — вдруг прервала его Маро. Она ни разу не посмотрела в сторону Симоняна с того момента, как узнала, кто он такой.

— Как? — не понял Симонян, но продолжал: — Я завтра побываю в поле и на месте изучу методы вашей работы. Но я пока хотел бы узнать некоторые биографические данные...

— Нет надобности, товарищ корреспондент, — сухо проговорила Маро. Она заметила, что Даниел делает ей какие-то знаки, но от этого ее лицо стало еще более суровым. — Какой метод, какое геройство? Нет никакого геройства, ничего не надо обо мне писать...

— Вай, как ничего? — удивился Даниел. Он чув-

ствовал, что Маро поступает неприлично, и пытался поправить дело. — Ты сегодня собрала двести десять килограммов хлопка, триста процентов нормы. Разве этого мало?

— Это ничего не значит. — Маро поднялась со своего места. — Есть люди, собирающие больше.

— Маро!.. — Даниел укоризненно посмотрел на девушку. В его взгляде можно было прочесть: «Что ты делаешь, ты позоришь нас,веди себя прилично, говори с человеком учтиво...»

Но Маро ничего не хотела понимать. Она быстро вышла из-за стола и сухо проговорила:

— Ты как хочешь, товарищ Даниел, но я не согласна, чтобы обо мне писали в газете. Ничего я рассказывать не буду.

Она резко повернулась и быстро пошла со двора, на ходу бросив матери:

— Я иду к девушкам, мама.

Гости удивленно посмотрели друг на друга. Но когда захлопнулась калитка, Даниел наконец пришел в себя.

— Что с нею стало? — сердито спросил он Шушан. — Головокружение от успехов? Хвалили, хвалили, вот она и разошлась.

Но Шушан, нахмурившись, молчала.

— Что случилось, сестрица Шушан? — удивленный ее молчанием, снова спросил Даниел.

— То, что и должно было случиться, — ответила наконец Шушан. — Мы же сказали — не надо ничего писать.

Даниел недоумевал, он не знал, что делать. «Нет, видимо, и дочь и мать с ума сошли, — подумал бригадир. — Человек приехал, чтобы написать о ее работе, а они болтают неизвестно что».

— Пойдем, — проговорил он тихо, взяв гостя под руку. — Что-то случилось с этими людьми.

Но Симонян молча освободил свою руку.

— Подождите, давайте узнаем, что случилось.

Они подождали, пока мать немного успокоилась. Тогда корреспондент снова заговорил:

— Я вижу, мамаша, что в вашей семье произошла

какая-то неприятность. Расскажите нам — что случилось?

Шушан некоторое время колебалась. Потом вошла в дом, порывшись в столе дочери, достала газету и молча положила ее перед гостем. На первой странице помещен был портрет молодой девушки, а под ним небольшая информация о том, что звеньевая колхоза «Новая жизнь» Сатеник Барсегян ежедневно собирает триста килограммов хлопка. И только.

— Невероятно, — пожал плечами Даниел, когда Симонян показал ему заметку. — Дневная норма семьдесят килограммов, а самая лучшая наша звеньевая Маро дает в день двести десять. Но триста — немыслимо...

— Вот видите, а вы пишете, — заговорила Шушан, будто автором материала был именно Симонян. — Если бы вы знали, что такое килограмм хлопка, сколько раз надо нагнуться и подняться, околько раз протянуть руку к кусту и положить снятый хлопок в мешок, чтобы набрать килограмм, вы бы так не писали...

Шушан рассказала, что Маро, прочитав эту заметку, потеряла сон и покой, день и ночь работает, чтоб достичь того же результата. Вначале она собирала сто килограммов, потом сто двадцать, сто пятьдесят, сто семьдесят пять. Наконец наступил тот день, когда она начала собирать по двести килограммов и даже больше, превзошла самых лучших сборщиц своего колхоза. И, несмотря на это, она не могла собирать столько, околько собирала Сатеник Барсегян, которую она называла теперь Сатик.

— Она страшно опечалена. «Какая я комсомолка, если не могу этого добиться?» — говорит она...

Симонян внимательно слушал. Когда старая женщина кончила свой рассказ, он долго еще молчал, погруженный в свои мысли. Потом сказал:

— Не знаю. Конечно, случается, что и газеты ошибаются. Но у нас, как правило, проверяют все имена, каждую цифру, по всей вероятности эта девушка в самом деле собирает триста килограммов.

— Нет, товарищ Симонян, немыслимо, — повто-

какая-то неприятность. Расскажите нам — что случилось?

Шушан некоторое время колебалась. Потом вошла в дом, порывшись в столе дочери, достала газету и молча положила ее перед гостем. На первой странице помещен был портрет молодой девушки, а под ним небольшая информация о том, что звеньевая колхоза «Новая жизнь» Сатеник Барсегян ежедневно собирает триста килограммов хлопка. И только.

— Невероятно, — пожал плечами Даниел, когда Симонян показал ему заметку. — Дневная норма семьдесят килограммов, а самая лучшая наша звеньевая Маро дает в день двести десять. Но триста — немыслимо...

— Вот видите, а вы пишете, — заговорила Шушан, будто автором материала был именно Симонян. — Если бы вы знали, что такое килограмм хлопка, сколько раз надо нагнуться и подняться, околько раз протянуть руку к кусту и положить снятый хлопок в мешок, чтобы набрать килограмм, вы бы так не писали...

Шушан рассказала, что Маро, прочитав эту заметку, потеряла сон и покой, день и ночь работает, чтоб достичь того же результата. Вначале она собирала сто килограммов, потом сто двадцать, сто пятьдесят, сто семьдесят пять. Наконец наступил тот день, когда она начала собирать по двести килограммов и даже больше, превзошла самых лучших сборщиц своего колхоза. И, несмотря на это, она не могла собирать столько, околько собирала Сатеник Барсегян, которую она называла теперь Сатик.

— Она страшно опечалена. «Какая я комсомолка, если не могу этого добиться?» — говорит она...

Симонян внимательно слушал. Когда старая женщина кончила свой рассказ, он долго еще молчал, погруженный в свои мысли. Потом сказал:

— Не знаю. Конечно, случается, что и газеты ошибаются. Но у нас, как правило, проверяют все имена, каждую цифру, по всей вероятности эта девушка в самом деле собирает триста килограммов.

— Нет, товарищ Симонян, немыслимо, — повто-

рил Даниел. — Надо быть машиной, чтобы успевать собирать столько.

— Не знаю. Ну, хорошо. — Симонян встал. — Простите, мамаша, что причинили вам беспокойство. От моего имени принесите Маро извинения. Скажите, что я ее понимаю, если она не хочет — ничего не напишу... До свидания.

И они зашагали к калитке.

* * *

Прошло несколько дней. Маро и девушки ее звена работали на своем участке.

Этот участок представлял собою прямоугольник около полукилометра длиною и шириною в двести метров — восемь гектаров, на каждом из которых росло до девяноста — ста тысяч кустов хлопка. Восемь девушек в течение всего года внимательно следили за каждым кустом, поливали, пололи, удобряли хлопок. Маро и девушки самоотверженно работали на участке, потому что от этих коробочек зависело не только их материальное благополучие, но и их общественное положение, их честь.

И вот наступил последний этап этого кропотливого труда. По ночам часть коробочек раскрывалась и выбрасывала белые, как снег, хлопья. Ежедневно по утрам девушки приходили и собирали хлопок. Они так ловко очищали коробочки, что в них не оставалось ни одной ниточки. Когда мешок наполнялся хлопком, они относили его к поставленным на краю поля чувалам. Затем эти чувалы отправляли на хлопкоочистительные заводы, откуда хлопок, очищенный от семян, поступал на прядильную фабрику, потом на трикотажной и текстильной фабриках он превращался в материю и рассылался по всей стране.

Маро шагала по своему ряду, быстро и ловко собирая хлопок. Каждое ее движение было рассчитано, продумано. Выбрав из коробочки хлопок, она не спешила опустить его в мешок, а продолжала собирать дальше, до тех пор, пока ее ладони не заполнялись целиком. Таким образом она экономила время, избе-

гая излишних движений. Левая рука у нее работала наравне с правой; Маро привыкла следить за движениями обеих рук.

После того вечера, когда ее навестили Даниел и Симонян, Маро как будто успокоилась. Но это не был покой удовлетворения. «Не получилось, из этого ничего больше не получится, — думала она. — Я дошла до предела и преодолеть его не смогу».

Горькие думы не мешали ей работать. Быстрыми движениями собирала она хлопок вначале с правого куста, потом с левого, передвигалась вперед и потом снова поворачивалась то вправо, то влево.

— Маро! — услышала она чей-то голос и подняла голову.

Около участка на берегу ручья стояли трое, но среди них Маро первым увидела Симоняна. Остальные двое — Даниел и какая-то незнакомая девушка — ее не интересовали, так как после того памятного вечера Маро имела неприятную беседу с Даниелом на тему «Комсомолец должен быть скромным». Она стеснялась корреспондента и сердилась на него. «Опять пришел, — думала она, — не дает мне покоя».

— Ну, что снова помрачнела? — засмеялся Даниел. — Подойди-ка сюда...

Маро направилась к ним. На замечание Даниела она не улыбнулась.

— Здравствуйте, Маро, — улыбаясь, поздоровался Симонян.

— Здравствуйте, — пробормотала Маро. И сейчас же повернулась к Даниелу: — Скорее говорите, в чем дело, а то я отстану от девушек...

Она чувствовала, что снова ведет себя не так, как надо, и Даниел опять может рассердиться. Но Даниел продолжал улыбаться.

— Посмотри, какую гостью привел товарищ Симонян, — он показал на девушку, пришедшую с ними. — Познакомься...

Маро посмотрела на девушку. «Гостья? — подумала она. — Симонян? Где-то я видела ее...»

— Здравствуйте, Маро, — улыбаясь, подошла к ней девушка.

Она была худа, с загорелым от солнца лицом, на котором блестели два больших, выразительных глаза. И эти глаза и улыбка были удивительно знакомы! И вдруг Маро узнала гостью.

Сатик!.. Девушка, портрет которой был напечатан в газете! Незнакомка, с которой она соревновалась!

— Узнала? — спросила Сатик, продолжая улыбаться, отчего на ее щеках образовались две ямочки. — Дай мне твою руку.

Маро молча протянула руку и почувствовала, как теплая рука девушки крепко сжала ее руку.

— Товарищ корреспондент мне рассказал о тебе. — Сатик обратилась к Маро на «ты», как к старой подруге. — Вначале я хотела написать тебе письмо, но потом решила непременно повидать тебя, поговорить с тобою...

Маро продолжала молчать. Она сама не понимала чувства, которое охватило ее. Сколько раз она сама хотела написать Сатик, но боялась, что встретит гордое высокомерие. И вот теперь эта девушка сама пришла к ней, — говорит с нею как равная с равной.

Сатик как будто догадалась о причине ее молчания.

— Мы немного отойдем. Можно, не правда ли? — обратилась она к Даниелу и Симоняну.

Даниел и Симонян кивнули в ответ и зашагали на другой конец поля, к чувалам. Сатик же, обняв Маро за плечи, повела ее в другую сторону.

— Ну, рассказывай, — начала Сатик, когда они немного отошли и сели на бугорок.

— Что мне рассказывать? — голос у Маро от волнения был хриплый. — Прочла заметку о тебе, попыталась сделать тоже — и ничего не получилось.

— Это я знаю, потому я и приехала сюда. Расскажи, как вы работаете?

— Работаем, как все.

— Нет, ты мне Расскажи подробно, — настаивала Сатик, незаметно для Маро внимательно поглядывая на работавших в поле девушек.

Маро коротко рассказала о том, как они собирают хлопок.

— Стало быть, вы работаете отдельно друг от друга? Каждая в одиночку? — удивилась Сатик, все еще глядя на подруг Маро.

— Как так в одиночку? — не поняла Маро. — Вот видишь, все звено здесь.

— Нет, не об этом речь; каждая из вас сама собирает и сама относит хлопок к чувалам?

— А как же? — в свою очередь удивилась Маро.

— Я так и знала, — задумчиво проговорила Сатик. — И таким способом ты в день собираешь двести десять килограммов хлопка?

— Да, — опустила голову Маро, — больше не выходит.

— А ты хотела еще большего? — воскликнула Сатик. — Ведь мы, когда работали поодиночке, собирали не более ста пятидесяти килограммов.

— Как поодиночке? — Маро быстро подняла голову. — А эти триста килограммов?..

— Мы начали собирать триста килограммов, только когда перешли к совместному сбору.

— Совместному? — Сердце Маро екнуло, она боялась разочароваться. — Стало быть, ты не одна собираешь триста килограммов?

— Да нет же, — засмеялась Сатик, поняв ее мысль. — Мы, четыре человека, собираем тысячу двести килограммов... Значит, на каждого приходится по триста килограммов... Поняла?

— Не понимаю.

— Ну-ка, встань, — попросила Сатик и сама быстро вскочила на ноги. — Посмотри на поле.

Они поднялись на бугорок и теперь обе стали глядеть на работающих девушек. Три из них, нагнувшись, собирали хлопок, две бегом относили к чувалам полный фартук-мешок, а две возвращались с пустыми мешками.

— Видишь? — сказала Сатик. — Видишь, что происходит?.. Ведь вы полдня только и бегаете туда и сюда, устаете, потеете, и поэтому работаете медлен-

нее, хуже... Я представляю, как вы к концу дня устаете...

— Ладно. А как же надо? — спросила Маро.

Но спросила она больше для формы, ибо уже начинала понимать свою ошибку. Она все предусмотрела, все высчитала, но одно, самое главное, не учла. Ведь если каждая из них ежедневно бегаёт километров десять по участку...

— Кроме того, — продолжала Сатик, — мы не все чувалы ставим в одном месте, а распределяем их на равном друг от друга расстоянии. Затем делим звено на две группы, по четыре человека в каждой. Трое собирают хлопок, а четвертая ходит за нами. Когда мешок у какой-либо из трех девушек наполняется, она берет пустой и продолжает работать, а идущая за ней складывает хлопок в ближайший чувал. Затем идет за второй сборщицей, потом за третьей. К этому времени у первой снова набирается полный мешок хлопка... — Сатик говорила внятно и спокойно. Видно было, что она это делает не впервые. — Таким образом, трое заняты сбором хлопка, а одна наполняет чувалы. Представляешь, как много времени можно сэкономить, как поднимается производительность труда...

Маро молчала. Она страдала от сознания, что не понимала такой простой вещи. Она старалась напряженнее работать, но не меняла технологию труда. «Я не разрешала девушкам даже пошутить, отдохнуть, хотела сэкономить минуты, а теряла часы».

— Вот так, Маро-джан! Потому и говорят: коллектив, — назидательно закончила Сатик. — Один человек, как бы ни напрягал свои силы, на какой-то точке должен остановиться... А коллектив все время движется вперед, нет предела его силам, только думай больше, находи новые формы, новые способы... Э, так нельзя, — она заметила в глазах Маро слезы, — оставь, ты же не ребенок... То, что вы до сих пор не правильно работали, еще ничего не значит... Ведь ты и сама не знаешь, какая ты замечательная!

Она обняла Маро и улыбнулась.

— Знаешь, я теперь просто боюсь тебя... Если ты

одна собирала двести десять килограммов, что сможешь сделать теперь!

— Ну, о чем ты говоришь! — улыбнулась ей в ответ Маро.

— Я знаю, ты многого добьешься, — серьезно повторила Сатик. — Я тоже должна серьезно подумать о своей работе. До сих пор мы ни с кем не соревновались и несколько успокоились. Теперь другое дело. Из твоего рассказа видно, что вы умеете экономить каждое свое движение. Нам надо у вас поучиться... Ну, как, соревнуемся?..

— Ну, товарищ Симонян, в следующий раз, когда вы придете к нам, будет о чем писать, никто с вами не поссорится, — сказал Даниел.

Они шагали в сторону села. Симонян, задумавшись, улыбался и помахивал блокнотом в руке.

— Почему же в следующий раз? — сказал он. — у меня и сейчас имеется материал для статьи, много материала...

Даниел удивленно посмотрел на блокнот корреспондента. Он знал, что там нет ни единой записи, ни одной цифры. Но, подумав немного, он понял, что Симонян прав. Не цифры важны. Важно то, что произошло тут, на хлопковом поле. То, что произошло в сознании Маро. И оно, как пламя пожара, распространится по всем звеньям, бригадам, поднимет колхоз на высшую ступень.



НОРА АДАМЯН

СУДЬБА АНУШ

Рассказ

Возле чайной машина затормозила. Андро сразу вышел из кабинки и деловито направился к дверям, а Симон засуетился, для чего-то стал перекладывать связки книг, пока Ануш не сказала ему:

— Об одном прошу — не засиживайтесь долго.

— А в чем дело, Ануш? Пойдем с нами, а? Ничего такого нет — колхозная чайная!

На витрине чайной были красочно изображены два перекрещенных вертела с дымящимся шашлыком и бутыл с надписью «Лучшее красное».

Ануш только махнула рукой: все мужчины на один лад. Она сложила в угол болты, железки, куски резины, которые всегда валяются в машинах, постлала на скамейку газеты и села, поставив рядом с собой маленький чемоданчик. В чемоданчике были гостинцы: широкая красная лента дочке, автомобиль Ашоту и конфеты для бабки. Собственно, конфеты для всех, но если их не поднести бабушке, то она обидится и дня два будет ходить сердитая на весь мир.

Бедный Армен знал характер матери. Он всегда ей первой доставал подарок, а если привозил для жены

что-нибудь дорогое, то показывал, когда они оставались одни.

Теперь никто не делает Ануш подарков.

Ануш сидела прямо, сложив на коленях руки, и большими светлокaрими глазами смотрела на залитую солнцем улицу. Ей вспоминался тот счастливый день, когда она вот так же сидела в машине и горько плакала. А плакала она потому, что забыла в поезде новые туфли. Армен сам выбирал эти туфли — серые с красной отделкой.

«Это на память об олимпиаде», — говорил он.

Ведь было же так! Ездили на олимпиаду, выступали в театре. Представляли колхозную свадьбу со всеми обрядами и обычаями. Армен играл на таре, Ануш танцевала. Танцевала! Как давно это было! А когда возвращались домой, сошли с поезда и сели в машину, Ануш спохватилась, что туфель нет, и заплакала. А мужу сказала — голова болит. Только перед самым домом призналась, что потеряла обновку. Как он обрадовался!

— О чем ты плачешь, жена, милая моя! Была бы ты здорова! Что нам туфли? Совсем некрасивые, серые какие-то. Да мы тебе две пары купим!

Когда он умер, Ануш казалось, что все радости навсегда кончились. Впереди одно горе. Но, наверно, жизнь сильнее людей. Ануш радостей не искала, а все-таки они есть. Хорошо сейчас, после толчеи по неуютным комнатам райсовета, где у нее были всякие депутатские дела, после хлопот в коллекторе вернуться домой, увидеть детей. Хорошо вечером открыть свою библиотеку, разобрать новые книги...

Ануш приготовилась долго ждать своих спутников. Поэтому она очень удивилась, когда из двери чайной выскочил красный и нахмуренный Андро и стал заводить мотор. Потом появился Симон, улыбающийся растерянной, заискивающей улыбкой. За ним вышли трое сильно потыптивших людей. Одного из них Ануш знал: это был бригадир колхоза соседнего села. Он кричал вслед Симону:

— Эй, земляк! Почему бежишь? Почему угостить не хочешь? Вы богатые, за вас Кубань отвечает...

— Ай, нехорошо! Ну, что тебе надо? — увещевал Симон. — Мы трогали? В чем дело?

— Вы нас не трогали, а мы вас затронем! Ну, ты, партийный секретарь, поделись опытом — как вы картошку в городе по пять рублей за килограмм продаете, а на Кубани пшеницу по десять рублей за пуд покупаете! Ваш колхоз — спекулянт-колхоз!

— Вот видишь, — примирительно заговорил Симон, — ты совсем не в курсе. Я уже четыре месяца не секретарь. Так что эти дела меня теперь совершенно не касаются. Ты понял?

Машина зафыркала и тронулась. Симон на ходу перевалился в кузов, вытащил папиросы и стал чиркать спичкой.

— Что это он? — спросила Ануш.

Но Симон, продолжая терзать коробку незажигавшейся спичкой, отвечал не ей, а своим мыслям:

— Я при чем? Я теперь завклубом.

Ануш замолчала. Двадцать километров — невеликое расстояние, можно проехать и не разговаривая. Андро гнал машину вволю. Когда въехали в село, Симон подхватил пачку книг и прыгнул у своего переулка. Грузовик поехал дальше, к библиотеке.

Возле маленького домика Андро откинул борт, и Ануш передала ему связки книг. Отказавшись от помощи парня, она осторожно спрыгнула на землю.

— Ты мне скажи — что там у вас получилось?

— А что? — сразу обозлился Андро. — Он правильно ругал нас. «Вам, говорит, выпивать рано, вам долги платить надо!» Симон спрашивает: «Твоему отцу, что ли, должны? Что ты больше всех беспокоишься? Ваш колхоз богатый, выдержит!» А он осрамил нас. «Вы, говорит, только на богатые колхозы и надеетесь...» Что делать? Нечего нам ответить... Ну, да я здесь не останусь. На дорогу пойду работать.

— Вот правильно! Работники разбегутся — колхозу легче будет.

— Тебе что? Ты всего этого не видишь. Вот весной картошку сажали — гнилую, мороженую в землю покидали. И не возшло ничего. Так, кое-где зеленеет. Моя мать сажала эту картошку — плакала даже.

— Плакала! — раздраженно сказала Ануш. — Над своим огородом небось не плакала! Вон ботва у вас на участке стеной стоит, а земля одна и та же.

— Не в земле дело. И у «Красной зари» земля такая — а как живут? Хлеб сдавать едут — словно на свадьбу: праздники устраивают, артистов приглашают. Председатель у нас плохой.

— Председатель один, а колхозников сотни.

Ануш повторила слова, которые часто слышала от своего покойного мужа. Она привыкла к тому, что при ней часто ругали нового председателя. Люди говорили: «При Армене мы разве так жили?» И Ануш было приятно, что люди о нем не забывают.

Новый председатель, Саро Чупикян, Армена не знал: он приехал в колхоз уже после его смерти. На первом же собрании уверенно пообещал: «Весь район пшеницей засыплем!» Тогда ему осторожно возразили: «Пшеница — пшеницей, а главная наша сила в картофеле да в животноводстве...»

Но инструктор райкома, который рекомендовал Чупикяна, сказал, что в районе уж как-нибудь знают, что здесь главное, а что не главное.

Случилось, что в этом же году поля побил град. В ту зиму колхозу помогли и государство и соседи. На другой год пришлось долги отдавать, а работали не в полную силу, опять понадеялись: «Помогут!» Люди похитрее продали в городе картошку и съездили на Кубань за дешевым хлебом. А за ними и все село поднялось. Ануш и сама радовалась, когда колхоз выхлопотал вагоны для перевозки зерна.

А что получилось? Уже третий год в каждом доме полные сучавы пшеницы, картошка во дворах посажена вплоть до крыльца — ноги ступить некуда, а работать стали с прохладцей. От трудодня ничего не ждут. Колхоз не выбрался из долгов.

Ануш шла домой усталая и грустная. До сих пор была надежда: может, один хороший, урожайный год поправит все дела. Но урожаи сами по себе не приходят. Чего ждать от земли, если нет настоящей заботы о ней? Чего ждать, если в солнечный летний день колхозник сидит у своего дворика, свесив с колен

праздные руки? Да еще какой колхозник — Минас Терзян, один из лучших работников артели!

Ануш остановилась.

— Здравствуй, Минас! Ты что, больной?

Минас привстал.

— Э, как тебе сказать, Ануш? Не здоров, не болен. Сижу жду. Сам не знаю, чего жду.

Из-за сливовых деревьев садика выскочила его жена Асмик.

— Сидим! — крикнула она. — Сердце мое кипит — сидим! На работу не идем и дело не двигаем...

Минас pokrutil головой.

— Молчи, жена, хватит! Устроила сегодня шум, хватит...

— Подожди, я еще не то устрою! Послушай меня, Ануш, я уже на него не надеюсь, — она презрительно кивнула в сторону мужа, — сама утром пошла. Говорю этому Чупикяну: «Долго мне под открытым небом спать? Одну машину прошу на час, камень привезти. Человек ты или нет?» Он отвечает: «Не имеешь права в мой кабинет входить и требовать». — «Кто? Я не имею права?! Ошибаешься! И дети мои сюда войдут — имеют право, — и внуки, и правнуки!»

— И чего добились? Что вышло? — безнадежно спрашивал Минас. — То он обещал дать машину, а теперь говорит: «Не мое дело. Нет вам машины». Вот сижу, смотрю на шоссе: может, какой шофер согласится...

Ануш, не слушая больше, пошла обратно к библиотеке. Андро еще не уехал. Насвистывая сквозь зубы какой-то веселый мотив, он сосредоточенно ковырялся в моторе.

— Андраник, у тебя сейчас время есть? Съезди с Минасом на карьер, привези ему камень.

Это предложение не вызвало у Андро восторга.

— Откуда у меня время есть? — недовольно сказал он.

— Ну, если б не эта история, вы бы еще долго в закускойной просидели. А тут часа за полтора упрямисься... — Она видела, что парню очень не хочется

ехать за камнем. — Я тебе как депутат райсовета говорю!

Ануш в эту минуту не задумывалась, как далеко распространяются права депутата райсовета. Она поднялась в кабину.

Минас, завидя грузовик, деловито забегал, таская веревки, мешки, инструменты. Асминк проворно влезла в кузов и оттуда подгоняла мужа.

— Спасибо, Ануш, дай тебе бог здоровья! — крикнула она.

Ануш отмахнулась и пошла по улице. В воздухе заманчиво пахло печеным хлебом. Во дворике у соседей молодая женщина пекла пшеничные лепешки.

— Какие новости в городе, Ануш? — крикнула она, подняв от очага румяное лицо.

— Есть новости. Не будут больше кубанские колхозы нам хлеб продавать! — зло ответила Ануш и, не останавливаясь, прошла к себе домой.

Бабка сидела на каменной приступочке возле дома. Дворик был освещен солнцем, куда ни глянь — желто. У бабки текли слезы, она вытирала их толстым, будто обрубленным пальцем и тяжело вздыхала. Конечно, она сразу поняла, что у этой Вартуш на уме. Но бабку голыми руками не возьмешь! Сперва разговор шел вокруг да около. Вартуш все выпытывала: помогает ли колхоз семье бывшего председателя? Бабка жаловалась: плохо помогает. У этого председателя не допросишься, чтобы дров привезли. Вот послала детей в лес за хворостом, а у самой сердце за них болит.

— Конечно, дом без мужчины — разрушенный очаг, — подхватила гостя. — Что сделаешь? Ушедших не вернешь. А женщине трудно одной жить. Да и мужчине одному плохо. Есть один человек; и не потому хвалю его, что родственник, — нельзя не похвалить: золотой человек! И при хорошем деле — начальник животноводческой фермы. Галуст Качинян! За него, конечно, любая девушка пойдет, но ему нужно, чтобы женщина была серьезная, культурная.

Он не посмотрит, что вдова. Детей за своих посчитает. В дом войти соглашается. Старшего почитать будет.

Соседка ушла ни с чем: бабка то ли недослышала, то ли не поняла. Она сидела, медленно покачиваясь, потом хлопнула себя по коленям и стала выговаривать свое горе тонким, певучим голосом, обрывая длинные фразы жалобным всхлипом.

Она оплакивала покойного сына. Горько упрекала его: ушел, не пожалел детей, покинул мать... Кто вырастит ребят? Кто похоронит старуху? Передохнув, бабка начинала снова:

— Как гора ты стоял за нашими плечами. Что мы теперь? Ветер дунет — унесет...

Потом она сразу оборвала причитания, вздохнула, перевязала на голове косынку и совсем другим голосом закричала на пеструю курицу, которая забралась в огород.

С трудом оторвавшись от приступочки, бабка вошла в прохладную комнату и, шуря покрасневшие глаза, встала у шкафа. Она не сразу увидела невестку. Ануш пришла со стороны улицы и сидела на тахте.

— Где дети? — спросила она.

— Конечно, — обиженно сказала бабка, — я последняя собака в доме. Мне не надо сказать «здравствуй», «прощай»! У меня даже имени нет: «мать» или там «сатана»... Вот по старому закону...

Ануш знала, что теперь ей лучше молчать. В гнев бабка часто грозила: «Уйду жить к Цовик!» А Ануш было бы стыдно, если бы старуха действительно ушла из дома своего сына, где ей положено доживать дни, в дом замужней дочери.

— Законы меняются, мама. — Ануш сказала это очень тихо, скорее, чтобы облегчить свое сердце, чем убедить свекровь.

Но тут подтвердилось ее давнее предположение, что старуха не слышит только того, что не хочет слышать.

— Правильно, дочка, правильно! Законы меняются. Я когда вошла в дом к своей свекрови, так даже с кошкой боялась говорить. Я на мужа остерегалась

лишний раз взглянуть. А ты вот очень смело со мной разговариваешь. И что ж? Я молчу. Я всегда молчу!

Чтоб не поддаться раздражению, Ануш старалась вспомнить все самое хорошее о своей свекрови. Она так много работает по дому, так любит детей, выходила их...

Ануш стояла перед свекровью молча, наклонив голову, как подобает послушной невестке, и, только заслышав голоса детей, выскочила на крыльцо.

— Пришли, дорогие, самые хорошие в мире дети! Какую кучу хвороста притащили! Три раза можно будет истопить печку.

Ашотик в своей новой машине отвез бабушке конфеты. Подарок был принят, но бабка не смягчилась. Суровая, стуча тарелками, она накрывала на стол и разлила спас — суп из молочной сыворотки, пшеницы и душистых трав.

Ануш переделалась и перед тем, как идти на работу, присела у письменного стола и открыла ящик, забитый бумагами покойного мужа. Она редко заглядывала в этот ящик. Очень больно бывало видеть листки, исписанные разборчивым, крупным почерком Армена. Давно, в первые дни после его смерти, Ануш вынула отсюда и отнесла новому председателю записную книжку Армена с деловыми заметками, планами. Чупикян тут же, при ней, сунул тетрадь в самый нижний ящик своего письменного стола. Верно, там она и лежит до сих пор. Только одну страничку Ануш вынула и оставила себе. На ней было написано: «Надо учить Ануш на агронома...» Тогда она посмеялась над мужем: «Какой из меня агроном?» — «Из тебя хороший агроном будет, — уверенно сказал Армен, — ты землю понимаешь». Целый год тогда Ануш готовилась стать агрономом. Совсем иначе, по-хозяйски научилась она думать о колхозе.

Ведь был день, когда Армен вбежал в дом радостный, потрясая над головой чековой книжкой. «Пятьсот тысяч на нашем счету! А через три года пять миллионов будет!» И Ануш знала, из чего они складывались.

Теперь Ануш сидела и подсчитывала на листе бумаги доходы и убытки колхоза. «Что у нас могло бы

быть на сегодня? Парники. Почему нет парников? Не осушен болотистый участок, не используется торф, заглохли наши сады. Где пасеки колхоза и пятьсот тысяч прибыли от меда?»

В этот день она опоздала в библиотеку. И когда вышла из дому, за ней по улице бежала орава ребятишек с книгами в руках. Библиотека быстро наполнилась постоянными посетителями. Молодежь меняла книги. Старики от строчки до строчки прочитывали газеты.

Пришел Симон. Он каждый день являлся сюда просмотреть почту. Газет, которые получал клуб, Симон не читал, чтоб они не мялись. Он их аккуратно подшивал и складывал в огромный шкаф, где они исчезали навеки. В этот же шкаф Симон ставил книги — новенькие, блестящие, нетронутые.

— Ты глупая, — поучал он Ануш, глядя на разбухшие, истрепанные книги библиотеки. — Ты красивую, дорогую книгу припречь. В случае проверки или из города кто приедет — поставишь на видное место.

Ануш сидела, просматривая новые книги, немного усталая и грустная. К ее столику подсел дядя Якуб, уже немолодой колхозник, любитель исторических романов и книг о мироздании.

— Я слышал — ты сегодня из города новости привезла?

Ануш не поняла.

— Да насчет хлеба... — Дядя Якуб пошевелил коричневыми, огрубелыми пальцами. — Это, конечно, как я полагаю, глупость. Как это — не будут продавать? Кто запретит? Но все ж таки мне интересно — где ты это слышала?

— Слышала, — упрямо сказала Ануш. — Точно слышала! И еще слышала, как наш колхоз спекулянт-том называли.

— Это как «спекулянтом»? — В маленьких светлосерых глазах дяди Якуба была живая заинтересованность.

— Ну, какие спекулянты бывают... — немного растерялась Ануш. — Картошку продаем, хлеб покупаем.

— Тоже глупость. Этого умный человек не мог

сказать, — снисходительным тоном разъяснил дядя Якуб. — Свободная колхозная торговля советским правительством не возбраняется. И если один колхоз другому помог, тоже государству не убыток. На то и колхозный строй.

Люди с интересом прислушивались к разговору. Дядя Якуб говорил уверенно, неторопливо.

— Колхозный строй! — горячо сказала Ануш. — Вот он, колхозный строй. — Она вынула из старого портфелика листок со своими расчетами. — Вот мы как должны были жить в нашем колхозе!

Дядя Якуб полез в нагрудный карман гимнастерки, вынул очки, приладил их, потом осторожно взял листочек. Он читал громко, медленно, а когда запинался на каком-нибудь слове, Ануш, волнуясь, подсказывала.

— Эти сады можно было на восточном склоне Капут-горы разбить — там канал думали провести... К этому году поголовье у нас удвоилось бы...

— Так, — сказал дядя Якуб, окончив читать. — Это не Арменак составил. Тут предусмотрено долги заплатить. При Арменаке у колхоза долгов не было...

Кто-то вырвал у него листок и пустил по рукам.

— На бумаге все можно написать, — промолвил дядя Якуб. — Сто раз скажи «халва» — все равно во рту сладко не станет.

— А вот подожди, — раздался чей-то насмешливый мальчишеский голос, — как кубанские колхозники откажутся тебе хлеб продавать, а на трудодень у тебя нет ничего... вот тебе сладко и станет!

— Что значит «откажутся»? Никак этого не будет. К примеру, у меня там друг есть. Он мне как брат родной, Евдоким Федорович. Живет очень культурно: дома у него телефон, баня с водопроводом. Хлеба полные амбары. Разве он мне откажет? Да никогда! Наша страна горная, хлеб родит плохо, значит надо помощь оказать.

— Это своему Евдокиму заливай! — гневно перебила Якуба тетка Варсо. — С каких это пор наша страна хлеб не родит? С тех пор, как вы с председателем озимые по косогорам сеете, где весь снег ветром сдувает? Может, и картошку наша земля не родит?

Первые мы были по картошке, а где она сейчас в колхозе?

— Жадность, что ли, тебя одолела, Варсо? — ехидно спросил дядя Якуб. — Ведь я помню, как ты на земляном полу валялась. Теперь в новом доме живешь, дети у тебя в люди вышли, и все тебе мало!

— Не ты мне дом построил, не ты моим детям книгу в руки дал! — огрызнулась Варсо. — И я не с тебя спрашиваю, я с колхоза спрашиваю! Он — для меня, я — для него. Имею право спросить. А ты ездешь по людям, срамишь только нас.

— Это я, значит, плохо сделал, что вам на Кубань дорогу показал? Лучше было на работу без куска хлеба выходить?

— Может, и лучше! — не унималась Варсо. — Раньше бы за ум взялись. Вон у твоего Евдокима дома телефон, а ты, дурак, залепил себе глаза мешком чужой пшеницы и тому рад.

Якуб плюнул и ушел, хлопнув дверью, не взяв никакой книги.

Ануш унесла книги в хранилище. Там стоял Симон. Вид у него был недовольный.

— Ну для чего ты рассказываешь, как нас обозвали? — вполголоса, чтобы не услышали в читальне, заговорил он. — Мало ли что пьяный человек сболтнул! Не знаешь наших людей? Сейчас понесут из дома в дом...

— Пусть понесут, — ответила Ануш, — может, кому и стыдно станет.

— А тебе-то что? Ты свою работу делаешь, свою зарплату получаешь?

— Я здесь не чужая, — с сердцем сказала Ануш. — Мой муж за этот колхоз всю свою силу отдал. Моим детям здесь жить. А мы все, как слепые, ничего не видим и не видели.

— Кто это не видел? Очень даже видели. Я сколько добивался, чтоб меня с секретарства сняли! У меня это все вот где сидело. — Симон ребром ладони ударил себя по кадыку.

— Значит, ничего нельзя сделать? Так и будем жить?

— При Чупикяне так и будет. Ему дают план на всю землю, не смотрят — болото, не смотрят — глина. Он все молчит...

— Теперь этого не будет! Сами колхозы могут решать, что где сеять.

Симон твердил одно:

— Человек своим местом дорожит. У тебя тоже муж председателем был, должна понимать.

— Ну, ты Армена с Чупикяном не равняй! — сурово сказала Ануш. — При Армене наш колхоз на выставке участвовал.

Она больше не стала слушать, вернулась к своему столу. День кончался.

Дома дети и бабушка спали при свете маленькой лампочки. Ануш подошла к кровати и осторожно прижалась лицом к ручке Ашотика.

Бабка, не признававшая пружинных кроватей, спала на тахте под двумя толстыми шерстяными одеялами. Проходя мимо, Ануш, как всегда, подоткнула край одеяла бабке под спину. Обычно сон у старухи был крепкий, но тут она сразу открыла глаза и сказала непримиримо:

— Не старайся! Будто бы уж очень заботишься о свекрови. А что у самой на уме? Не беспокойся, ты еще и подумать не успела, а свекровь уже все знает!

— Спи, мать, — тихо сказала Ануш и быстренько влезла под одеяло.

Старуха села, свесив с тахты ноги.

— Ну, вот что: я свое согласие даю. Но вы должны помнить, кто старший в доме. Чтоб я уважение видела. А нет — уйду и детей заберу. Это мое последнее слово.

Ануш открыла глаза. О чем это она говорит?

— Что делать? — горестно вздохнула бабка. — Не дожить бы мне до этого дня! Пусть он войдет в дом, — продолжала она сурово, — я не протестую. Пусть станет опорой детям.

Старуха закряхтела, стаскивая шерстяные чулки, потом, наморщив брови, стала что-то считать, шевеля губами.

«Сватать меня приходили! — поняла Ануш. — Но кто?»

Эта догадка не вызвала в ней ничего, кроме грусти. Но все-таки было любопытно: кто же это решился посватать вдову Армена?

Бабка кончила свои беззвучные подсчеты.

— Этот... Галуст, что ли, на ферме работает... мо-
ложе тебя... Лет двадцать пять ему будет. Он в том
году родился, когда у нас большой амбар сгорел.
Ну, это ничего. Умная женщина так повернет, что
молодой муж во всем ее совета спросит. Человек на
такой работе, что сыром, маслом семью обеспечит.
Свадьбу справлять нечего. Ты не девушка. Распиши-
тесь — и все. Слышишь меня?

— Слышу, — тихо сказала Ануш.

— Все-таки мужчина в доме будет. Осенью кар-
тошку продадим — на Кубань за хлебом поедem. Еще
одну корову купим.

— Хватит тебе, мать. Спи лучше. Я замуж выхо-
дить не думаю.

Бабка отмахнулась. Конечно, Ануш так и должна
говорить. Какая женщина признается, что хочет за-
муж? Стыд ведь есть...

Старуха стала укладываться. Укуталась со всех
сторон одеялом и затихла.

Ануш лежала на спине, слезы текли по вискам,
щекотали уши, мочили волосы. Ей трудно было дви-
нуться, вытереть глаза, лечь удобнее.

«Ах, Армен, Армен! — все повторяла она про се-
бя. — Для большого дела ты жил. Как ты любил де-
тей! Что стало с этой любовью?»

Другой человек войдет в дом, твои дети скажут ему
«отец»... Как это можно, чтоб имя твое забылось?
Ведь ты мне такие слова говорил о своей любви. Как
мне теперь чужую любовь принять?»

— Мама, ты плачешь? — вдруг тихо спросил
Ашотик.

Ануш замерла, собрала все силы и сказала ласко-
вым шепотом:

— Что ты, родной мой, о чем маме плакать, когда
ты у нее есть? Спи, мой золотой сынок...

Многое создано на утешение и радость человеку — и, конечно, раннее летнее утро, когда на бесцветном небе лежат синие перышки облаков, воздух неподвижен и свеж, а земля теплая и сонная. Но как быстро летят утренние часы! Подоишь корову, выпустишь кур, разожжешь печку — и уже облака из синих стали золотыми, подул ветерок, зашумели деревья, взошло солнце.

— Не забудь, скажи, чтоб дров привезли! — распорядилась бабка. — Я больше детей в лес не пушу.

Встречаться с председателем Ануш не любила. В ее присутствии Саро Чупикян мрачнел, говорил односложно и никогда не смотрел ей в лицо. Она своим существованием напоминала людям другие времена и перемены, в которых, как казалось Чупикяну, он не был виноват. Но люди вокруг винили его, ставили ему в пример Армена. А самую большую неприязнь вызывает тот человек, которого нам постоянно ставят в пример.

Но что поделаешь, идти к нему надо. Покос начнется, тогда ни быков, ни лошадей не допросишься. И так уже на ближних лугах начали косить. Возле клуба собрался народ, у многих за плечами косы. Ануш взглянула на свои ручные часы — поздно колхозники выходят на работу, не спешат. И что их могло заинтересовать у фанерного щита, на котором висела пожелтевшая бумага?

Ануш подошла ближе. Возле стенгазеты стояли косари, колхозный конюх, бригадир-полевод Григор Даян...

— Все тут верно, — говорил Даян. — Все это могло у нас быть, все сами упустили...

Ануш с трудом протиснулась к газете. Конечно, это был старый, надорванный в нескольких местах первомайский номер, но в самой середине газеты висел листок, на котором она вчера вела свои подсчеты. Ануш оглянулась вокруг. Кто прикрепил сюда эту бумагу? Она сорвала листок и смяла его в кулаке.

— Ты писала? — спросил ее Даян. И добавил: — Правильно написала.

Не ответив ему, Ануш повернулась к парням:

— Вам давно пора в поле быть.

— Успеем! — весело крикнул один.

Но другой хлопнул его по спине и сказал извиняющимся голосом:

— Да что, тетя Ануш, косилки еще неисправные, а косой много ли наработаешь!

Ануш пошла к сельсовету.

У родника две девушки набирали в ведра воду. Ступая по камешкам, чтоб не запачкать грязью туфли, Ануш обошла деревянную колоду, в которую стекала прозрачная струйка воды, и стала подниматься на горку.

К роднику, разбрызгивая копытами грязь, подъехала лошадь. Ануш обернулась. На лошади сидел Саро Чупикян. Брюки его хорошего серого костюма были заправлены в сапоги, как всегда, он был при галстукке и в мягкой шляпе, которую мальчишки называли «цилиндром».

Чупикян стал говорить с девушками. Ануш не слышала его слов, но поняла, что он их бранил — сперва негромко, а под конец стал кричать хриплым, сорванным голосом.

Девушки стояли молча. Потом одна из них, Нуник, дочь кузнеца Маркара, засмеялась в лицо председателю, ухватила свои ведра и пошла прочь.

У сельсовета стояли несколько человек. Люди молча смотрели на председателя.

Он крикнул девчонкам:

— Вам было сказано: с утра выходить на работу! Вам было сказано, лодыри, бездельники бессовестные!..

Позади Ануш стояли два колхозника: Акоп Садоян и Самвел Будумян.

— Вот нажимает наш председатель! — сказал Самвел. — Теперь дело пойдет!

— Кошку быют — невестке наветки дают. Это он нам внушает, — отозвался Акоп.

Саро Чупикян, ни на кого не глядя, привязал лошадь к столбу, поднялся по ступенькам и хлопнул дверью.

Акоп перебирал персиковые косточки четок. Самвел сказал с оттенком восхищения в голосе:

— Ой, бедовая девка эта дочка Маркара! Отчаянная девка!

— Что ж, — с горечью отозвалась Ануш, — старшие не будут работать — с кого молодежи пример брать?

На крыльцо вышел Чупикян.

— Что это за базар? Собрание устроили? Нашли время болтовней заниматься! Разговаривать все научились, работать некому!

— Ох-хо-хо!.. — нарочито громко вздохнул кто-то в толпе.

— Я эти бабские сплетни прекращу! Ходят тут... Агитаторы!

Намек был так ясен, что все обернулись к Ануш. Ее будто облило чем-то горячим. Кровь прихлынула к лицу и к сердцу. Но Ануш не двинулась с места, стояла, глядя прямо в лицо Чупикяну. Тут и ему пришлось посмотреть на нее.

— Мне известно, кто под мое место подкапывается, кому я с первого дня поперек дороги стал! Уже за моей спиной распоряжения отдают, машину по своему усмотрению гоняют, листки расклеивают. Интересно — что бы тут при вашем руководстве было? Какие бы достижения имелись?

Больше Ануш не могла молчать.

— О достижениях сказать не могу. Одно знаю — не было бы у колхоза вечного долга, засоренных полей и позорной славы.

Она повернулась и пошла мимо расступившихся людей, больше всего стараясь не заплакать и не уронить своего достоинства.

Вечером в библиотеку примчался маленький Хечо.

— Ануш, тебя счетовод Петрос в сельсовет зовет, иди скорей!

Ануш посадила за столик девушку-книгоношу, одну из своих добровольных помощниц, и пошла в сельсовет.

Петрос Газарян был новый секретарь парторганизации, выбранный вместо Симона. Неразговорчивый,

недвигательно аккуратный, он работал счетоводом колхоза.

«Этот будет неспорный, да покорный», — посмеивались над ним колхозники.

Но Петрос оказался не таким уж покорным. Он с первых дней крепко повздорил с Чупикяном, и согласной работы у них не получалось.

По дороге в сельсовет Ануш пыталась угадать: для чего ее может звать Петрос? Уж не Чупикян ли пожаловался? И, внутренне ожесточаясь, она готовилась высказать все свои горькие мысли о колхозе, о жизни села, о Чупикяне.

Но в маленькой, пропыленной и неудобной комнате сельсовета, где обычно вечерами сидел секретарь, было много народу. Остановившись у дверей, Ануш увидела и Варсо, и Григора Даяна, и еще многих сельчан.

— Собрание будет? — удивилась она. — Почему раньше не известили?

— Сегодня у нас не собрание, — ответил Петрос. — Просто мы, коммунисты, хотим поговорить о своих делах. Проходи, садись!

Все провожали глазами Ануш, пока она шла через комнату. Ей стало неловко. Ануш показалось, что все от нее чего-то ждут. Раньше всех заговорила Варсо. Она сказала громко, уверенно:

— Значит, народ так надумал: хватит! Чупикяна гнать надо. Думаем тебя председателем посадить.

Этого Ануш никак не ожидала.

— Ты что, смеешься?

— Э-э, — протянул Григор Даян, — совсем не по порядку говоришь, Варсеник! Что значит «посадить»? Партийная организация есть, райком есть, общее собрание... Раз-два это не делается.

— В райкоме нам навстречу пойдут, — пообещал Петрос. — Очень много дела у нас, а руки связаны...

— Но почему я? Что у меня в руках? Разве нет других подходящих людей? — взволнованно спрашивала Ануш.

— Что тебе сказать? Ты человек справедливый, уважаемый. Тебе доверие есть. От Арменака тоже кое-чему выучилась, не без этого.

— Это Чупикян хорошо подсказал, — усмехаясь, говорил Даян. — Я сегодня, как от него это услышал, так себе палец и прикусил. Нет, Ануш, ты для нас подходящий человек! Нам с тобой много надо сделать.

— Мне помощь нужна, — прямо глядя на своих сельчан, сказала Ануш, — мне большая помощь нужна будет.

Она встала, прижав руки к груди, слишком потрясенная для того, чтобы обдумывать свои жесты и слова.

— Развалили мы свой дом, надо его сообщать строить! — сурово проговорила тетка Варсо.

И все, что долго лежало у каждого на душе, было высказано в эту короткую летнюю ночь...

Когда все вышли из прокуренной комнаты, небо на горизонте уже чуть светлело. Мужчины разошлись по домам, а Варсо и Ануш все стояли у темного переулка.

— Знаешь, что я вспомнила... — говорила Варсо. — Ведь мой Цолак уже после смерти отца родился. Двадцать пятый год ему теперь. И так я по мужу горевала, что совсем больная сделалась. В больницу меня отвезли. Иду я оттуда с ребенком на руках, думаю: что меня дома ждет? А мой старшенький, Ваган, слышал, что, когда ребенок появляется, для матери яичницу с медом жарят. Ну, масла у него нет, меду тоже нет, а две курицы неслись. Набил он в кастрюлю яиц, на огонь поставил, встречает меня. Яичница без масла горит, дым идет, дома грязь, развал. Села я, ем эту яичницу, слезами обливаюсь, а сама говорю себе: «Не пропаду, не пропаду!» И что ты думаешь — не пропала! За колхоз уцепилась, за народ уцепилась — и не пропала...

— Ты что, агитируешь меня? — усмехнулась Ануш.

— Подбодрить хочу тебя, — серьезно ответила Варсо.

Ануш не вошла в дом. Она стояла на деревянном балконе, прислонившись к столбу, и смотрела, как постепенно светлеет небо. Жизнь, которую она предназначала себе — размеренная, спокойная, — ушла. Тихий уют ее книжного мира, сознание честно выполненного долга предстояло сменить на ежедневную борьбу

с трудностями, с природой, с самой собой. Теперь никогда не скажешь: «Вот уже все выполнено, завершено, отдохну». Как дорога, которой нет конца...

Где-то скакала лошадь. В тишине четко было слышно, как цокали копыта. Всадник спрыгнул с седла, привязал поводья к дереву, перекинул через плечо козловую переметную сумку и вошел во двор.

— Галуст! — окликнула его Ануш.

Она вдруг вспомнила то, что с ним связано, вспомнила события вчерашнего дня и удивилась: ей показалось, будто все это было в далекой, другой жизни.

Галуст Кочиян посмотрел на нее радостным и немного растерянным взглядом. Он был в новом костюме. Пиджак, надетый на толстую рабочую рубашку, стеснял его большое тело. Легким движением он сбросил с плеча сумку и положил ее у дверей дома.

— Там две головки сыра. Для детей я привез. — Он близко подошел к Ануш и взял ее за руку. — Ну, здравствуй!

«Он уже себя хозяином чувствует», — подумала Ануш и усмехнулась.

Галуст на ее усмешку ответил счастливой улыбкой.

«Да не меня вовсе он любит, — вдруг поняла Ануш. — Когда это он успел полюбить? Он свою будущую жену любит...»

— Что ж ты молчишь, Ануш? Тебе нечего мне сказать?

— Не будет того, что ты ждешь, Галуст!

Он не сдвинулся с места, только выпустил ее руку.

— Понимаю: ты считаешь, я недостойн?

— Нет, — быстро ответила Ануш, — я тебя высоко ценю.

— Может, насчет детей сомневаешься? Как зеницу ока беречь буду!

Ануш гордо подняла голову.

— У меня такие дети, их каждый полюбит! Об этом я не думаю.

— О чем же ты думаешь? — с горечью спросил он. — Скажи, может, это и мне интересно.

Что ему сказать?

Он расстегнул пуговицы пиджака и расправил плечи. С его лица сошло выражение счастливой растерянности. Лицо стало упрямым.

— Эх, Ануш, Ануш! — Галуст резким движением заложил руки за пояс. — Я мечтал: брошу ферму, заберу тебя, уедем жить в город... Широкие планы у меня были для нашей жизни!

Ануш подняла на него светлокарие глаза.

— Мой дом здесь. Мне и здесь хорошо.

— Ничего здесь хорошего нет! — ответил он сердито. — Ты думаешь, я не знаю, как ты живешь? Тебе вон даже дров привезти не хотят. Какая здесь жизнь? Что я на ферме по ложкам накапливаю, то Чупикян ковшом выплескивает...

— А ты молчишь? Тебе все равно?

Галуст услышал осуждение в ее вопросе. Ему захотелось оправдаться перед этой женщиной, показать себя хорошим, с возвышенными мыслями, честными поступками, каким он чувствовал себя в душе.

— Ты пойми, Ануш, какой я человек! Другой, конечно, на моем месте с Чупикяном склоку заварил бы. Но во мне благородство есть. На ферме работаю, ферму поднял. Хочешь, в райкоме спроси, на каком я счету!

Он показал себя с лучшей стороны. Может быть, Ануш этого не знает? Может быть, она переменит свое решение?

Ануш ответила непонятно:

— Хорошие работники нам на ферме очень нужны.

— Ты мне ответа не дала...

— Все я тебе сказала, — вздохнула она.

Галуст с поникшей головой, теребя в руках фуражку, пошел по дворику, тяжело шаркая ногами.

— Подожди! — крикнула с крыльца Ануш. — Сумку свою возьми.

Он махнул рукой и стал отвязывать лошадь.

— Ступай сюда, — вторично позвала женщина.

Галуст послушно вернулся.

— Чтоб этого не было! — жестко сказала Ануш. — Отвезешь и сдашь в кладовую!

— Какие слова ты мне говоришь? — Галуст рванул сумку и выбежал на улицу.

Было совсем светло. Солнце уже вылезло на верхушки гор. Ануш вошла в дом.

— Никакой чести нет у людей! — ворчала бабка, возясь у шкафчика с едой. — Молодая ты, что ли, под окнами с самой зари любезничать? Хоть бы соседей постыдилась!.. Когда я была еще девушкой и жила в доме своего отца...

— Дай завтракать, мать! — коротко приказала Ануш, садясь за стол.

И бабка вдруг сразу замолчала, удивленно глядя на невестку старчески круглыми глазами...

1954



ЛЮСИ ТАРГЮЛЬ

ПОСЛЕ ГРАДА

Как чудесно начинается утро в долине Лори... Солнце поднимается из-за горы Лалвар, и его лучи, как приветствующие руки, обнимают ближайшие горы. Золотом покрываются макушки вековых сосен, как бесчисленные солнца, блестят капли росы, обильно упавшие на цветы и зелень. Птицы начинают свой гимн восходу солнца, то стремительно взмывая вверх, то падая вниз, к своим гнездам. Еще не растаявший туман, как дым тобира в богатом доме, поднимается вверх, и в чистом воздухе, как на картине, перед тобою встают освеженные ночным дождем покрытые лесами горы. Они кажутся сказочными гигантами с шапками на голове, которые, взявшись за руки, будто готовы начать хоровод. Между ними поднимают головы другие вершины, показывая свои лысые макушки... Посмотрите-ка на ту гору; там деревья будто соревнуются в беге; большой группой они стремятся от подножия к вершине; многие уже отстали, некоторые скупились в стороне и, дойдя до половины пути, остановились, будто испугались высоты, а более смелые парами и в одиночку уже подошли к вершине.

Розы и лилии в садах присоединяют свой аромат к запаху полевых цветов. Колышутся под легким вет-

ром посевы на полях, раскинувшихся вплоть до склона горы. Выше начинаются альпийские луга, где вместо травы как бы выставка цветов и такая причудливая игра красок. Кто дал этим диким цветам такой нежный запах?

Ранним утром тянутся на эти луга богатые стада породистых коров. Оставляя на земле следы маленьких копыт, вслед за ними пускаются в путь стада овец с шелковистой шерстью. С шумом выходят из дворов стаи гусей, которых пасут дети, и в шорохе тополей и шуме ручейков слышны их детские голоса. Юноши, проходя мимо девушек, подхватывают их песни, и мелодия постепенно уходит из села в поле, с поля — на луга. Иногда эта песня не имеет слов и мотив ее меняется, но это не так важно. Песня летит как крик радости, так как душа не может не петь, когда все кругом цветет и благоухает.

После утреннего оживления над селом опускается сравнительная тишина. Тут и там лают собаки, утки ведут своих утят купаться в ближайшем ручейке, однообразно жужжат пчелы, убаюкивая стариков, сидящих у ворот своих домов. Их сон нарушают дети, которые, как скворцы, шумят то у одного куста, то у другого.

— Завидую детям, что они еще увидят!.. А наши дни уже сочтены, Месроп, — с сожалением качает головой Саак, седые брови которого и длинная борода делают его похожим на деда-мороза. — Прежде, когда нам рассказывали о волшебном ковре, мы от удивления раскрывали рты, а теперь наши ученые свернули волшебный ковер и бросили в сторону, потому что жизнь опередила сказку.

— Как же, как же... — с удовлетворением подтверждает Месроп, более твердо опираясь на свою палку.

— Утром проснешься в Ереване, победоешь в Ростове, а вечером можешь гулять в Москве... Это ли не чудо! — снова говорит Саак. — Будь благословен, человек, ты ходил по земле, а теперь построил самолет и стал крылатым, путь многих дней сократился до часов.

— Раньше всякое чудо приписывалось небу, теперь

мы видим, что чудотворцем является сам человек, — закуривая старомодную трубку, говорит Месроп. — Пожалуйста, не чудо ли — в Москве поют, а мы здесь, за семью горами, слушаем.

— Когда я говорю «лампа», мои внуки смеются надо мною...

— Конечно, будут смеяться, Саак, — улыбнулся Месроп. — Ведь их носы не чернели от копоти этой лампы... Повернул выключатель — и твоя комната освещена электрическим светом, как солнцем.

— Когда я говорю «соха» и «гумно», молодежь смотрит на меня свысока, — продолжал жаловаться Саак.

— Конечно, будут задирать носы, — снова улыбнулся Месроп. — Если человек привык к трактору и комбайну, зачем ему вспоминать о сохе и гумне: это было вчера, когда осел был хромым... Ты разве не видишь, что делают теперь люди? Пустыню, которая никогда не знала, что такое зеленая трава, теперь превращают в рай... Люди куда хотят, туда и переносят русло реки... Они даже лезут под океан, а сушу превращают в море.

— Вот я об этом и говорю, дорогой мой, — хриплым голосом кричит Саак. — Да что там говорить. Взять хоть для примера наши сады. Прежде у нас росли только дикая груша и дикая яблоня, а теперь у каждого дома стоят разукрашенные плодами деревья, как невесты, готовые идти под венец. Не хватает только персиков и винограда, но говорят, что эти плоды встали на ноги и пробираются из Араратской долины в наши горы...

— Дойдут, непременно дойдут... — убежденно утверждает Месроп. — Говорят, председатель нашего колхоза на своем приусадебном участке в Аштараке вырастил дерево, на котором растут груша, яблоко, персик и айва.

— Ну понятно, он агроном, и деревья ему подчиняются, — с уважением отозвался Саак. — Если бы он не любил свое дело, он не посадил бы в нашем селе столько плодовых деревьев. Пожалуйста, все есть, что

твоей душе угодно. Месяца через два можешь сорвать и отведать.

— Прежде у нас были зубы, но нечего было жевать, а теперь есть пища, да нет зубов, — сокрушается Месроп.

Саак сочувственно посмотрел на друга и проговорил:

— Слушай: чем мы хуже нашего возчика Галуста, что не обновляем наши рты?.. Видел, как он украсил рот острыми зубами и теперь дробит ими даже орехи... А потом — если выпадают зубы, меняется и речь... Сноха и сын советуют мне вставить зубы; в этом году, слава нашим колхозникам, ожидается хороший урожай, будет много фруктов и овощей.

И две седые головы, медленно поворачиваясь, смотрят на приусадебные участки села. Правильными рядами растет картофель, он уже цветет. Фасоль поднялась вверх, капуста разостлала под солнцем широкие листья. Груши и яблони осыпаны бесчисленным количеством плодов. Легкий ветерок покачивает их зеленые ветви. Вишня и слива уже покраснели, будто кто-то шепнул им на ухо волнующее слово.

— В этом году и погода стоит хорошая, — сказал Саак. — Дожди идут часто. Поднялась уже трава, колхозники приводят в порядок сенокосилки.

— Созреют хлеба, плоды и овощи, и наша молодежь начнет готовиться к свадьбам, — с удовольствием заметил Месроп.

— Счастливой им жизни! — пожелал Саак. — Работают, как великаны, пусть живут на славу. То, что получим из колхоза, оставим на жизнь, а урожай с приусадебного участка отвезем на рынок. Хочу, Месроп-джан, в этом году построить второй этаж в нашем доме и женить младшего сына. Пусть в доме будут дети. Мы же в прошлом росли в хлевах.

— Я и говорю, Саак-джан, что только сейчас начинается наша жизнь, а мы уже уходим.

— Никуда я не пойду, — понимая намек соседа, возражает Саак. — Помнишь, как я в лесу однажды поймал волка? Свернул ему хвост, сунул в пасть и сбросил с утеса вниз... И мы были молоды... — покачи-

вает головою Саак и, оторвавшись от своих воспоминаний, торопит: — Вставай, вставай, накрапывает дождь, не вымокнуть бы... Подожди, кто-то ходит под деревьями, — услышав шорох в саду, повысил голос старик и, напрягая свои еще острые глаза, кричит: — Это ты, Шушик?

— Это я, дедушка, смотрю посаженное мною дерево, — звонко отвечает Шушик. — Погляди-ка, сколько на нем яблок. А ведь ему только три года.

— Если тебя оставить здесь, ты весь день будешь смотреть, как дерево цветет и плодоносит, — заметил Саак.

— Значит, твоя внучка станет человеком, — говорит Месроп и, обращаясь к школьнице, продолжает: — Учись, девочка, учись, теперь век ученых.

Дождь, который сначала только слегка накрапывал, теперь уже превратился в проливной. Около горы скопились черные тучи, и небо с угрозой повисло над землей. Острыми огненными кинжалами била молния по горам. От грохота грома ущелье стонало. Громкое эхо отдавалось в горах; казалось, стреляли из многочисленных пушек или с титанической силой поднимались горы и били друг о друга, а от этих ударов рождались новые и новые молнии. Всего несколько минут тому назад спокойно стоявшие под солнцем деревья гнулись теперь под натиском бури. Высокие тополя, как привидения, качались в сером пространстве.

Трах-трах-трах-трах...

На близком расстоянии ярко блеснула молния, в домах зазвенели стекла, качнулись стены. Люди в испуге выбежали на улицу, чтобы узнать, не зажгла ли молния что-нибудь. Неожиданно дождь превратился в град; он стучал в двери, разбивал стекла окон.

Казавшиеся прочными крыши не выдержали, и вместе с градом в дома ворвалась вода; залиты были все подвалы. Сильный град величиною в орех падал, не оставляя даже вершка пустого пространства. Он бил то косо, то прямо, ломал ветви деревьев, сбивал листья и плоды, разбрасывая по земле груши, яблоки, вишни и сливы.

— Пропал... пропал наш труд... — то прячась от молнии, то подходя к окнам, жаловались крестьяне.

Целый час бушевала буря и наконец утихла. Молния, словно устав сверкать, положила свой меч в ножны. Тучи, как бы жалея о том, что они натворили, разошлись, и над горами и полями снова появилось солнце. Но это уже никого не радовало.

Не было прекрасной, как персидский ковер, зелени, украшавшей все вокруг. На земле толстым слоем лежал град. Смяты были правильные грядки картофеля, сломаны голоски подсолнечника. Разрушены сады, которые еще недавно стояли в богатом и пышном наряде; плодовые деревья стояли совершенно голые, словно миллионы голодных гусениц объели на них все листья. Зеленые груши и яблоки грудami валялись на земле, на белом фоне градин, и эта картина поражала своей неестественностью. Бывает обычно наоборот: снег покрывает еще оставшиеся зелеными плоды; а тут зелень лежала на белых льдинках.

Кругом бежали многочисленные ручьи, которые уносили с собой побитых птичек и кур. Не осталось и следа цветников. Белые и красные розы, которые до этого ярко выделялись на темной зелени кустов, лежали помятые в мутной воде.

Опустив головы, стояли колхозники около побитых градом садов и огородов.

— Град разрушил все, чего мы добились за лето, — первым нарушил молчание Саак. — Я живу семьдесят пять лет, но такого града не видел.

— Не видел и я, — подтвердил Месроп.

Женщины начали плакать. Только дети беспечно бегали по лужам, делали снежки из града, и их веселый смех неестественно звучал в этой печальной обстановке.

Шушик стояла у дерева, и ей хотелось плакать... На ветках молодой яблони, еще покрытой зеленой корою, не сохранилось ни одного листка, ни одного яблока. Ранен был и ствол; сучья, не выдержав урагана, поломались.

Молчание окружающих давило Шушик. Она видела окаменелые от горя лица деда и соседей.

Надо что-то сделать, надо отвлечь внимание людей от страшного несчастья. Правда, горе велико, но нельзя допускать, чтобы оно разъедало сердца людей.

Шушик незаметно проникла в дом, включила радио и сейчас же выбежала обратно. И вот неожиданно над селом понеслись веселые звуки песни... Песня вначале вызвала протест у слушателей: кто в минуту общего несчастья думает о музыке?... Но вот люди зашевелились.

Первым от тяжелого раздумья очнулся Саак и, обращаясь к детям, сказал:

— Милые дети, я готов умереть за ваши быстрые ноги, бегите в поле, остальные — на луга, посмотрите, не повреждены ли градом колхозные поля.

Слова Саака, как посох чародея, вывели людей из оцепенения, и они, забыв личное горе, вспомнили о колхозном хозяйстве. Что, если повреждены также колхозные поля и огороды?

— Ну, милые ребятки, летите, — заторопили детей со всех сторон.

Дети же, довольные тем, что в такую тяжелую минуту старшие нуждаются в их помощи, разбежались во все стороны.

Прошел только час, но Сааку и другим казалось, что гонцы должны были уже вернуться назад. Они начали беспокоиться. Может быть, поля, на которые колхозники не жалели труда, тоже пострадали?

Саак и Месроп вместе с группой других стариков собрались лично проверить поля, когда Шушик, уже успевшая побывать там, задыхаясь, вернулась обратно.

— Я видела председателя колхоза, — заговорила она, отодвигая со лба волосы. — Он говорит, что град был только по ту сторону ущелья.

— Слава богу, слава богу, — воодушевились присутствующие.

— Лишь бы не погибло колхозное добро. Наше ничего. Колхоз же — наши руки и наши спины.

— Он говорит, что град прошел только лугом у подножия горы, — прибавила Нарине.

— У нас так много сена, что скот не останется голодным, лишь бы колхозные поля не пострадали, — успокоенно проговорил Саак.

— Прежде, если град уничтожал посевы крестьянина, он голодал, так как некому было помочь ему, — заговорил Месроп. — Теперь иное дело: если мы страдаем, колхоз нам поможет, если колхозные поля пострадают, государство нам поможет. Я готов умереть за закон Ленина.

При этих словах люди оживились, одна из женщин опросила:

— Знает ли председатель, что град уничтожил урожай на приусадебных участках?

— Знает; он на коне сюда едет, — ответила Нарине.

— Где же он, почему его не видать?

Шушик, которая до этого времени скрывала свои слезы, вдруг зарыдала...

— Он завернул в сторону дома Галуста... Молния убила у моста дядю Галуста и волов.

Колхозники содрогнулись: вот где подлинное несчастье... Когда человек жив, он может восстановить разрушенный дом, может заставить смятое поле снова зазеленеть. Но если человек умер, его не вернешь ни какой ценой.

— Бедный, бедный Галуст... Только что построил дом, сделал себе зубы. Хотел вырастить своих детей, дать им образование... Молния оказалась сильнее человека, — покачивая седой головой, говорил Саак. — Человек умер, а мы здесь плачем из-за деревьев, из-за картофеля. Завтра принесем новые саженцы, посадим новый огород... Человека жаль...

Тяжелая весть о смерти Галуста заставила всех двинуться к его дому, и вскоре широкий двор возницы заполнился людьми.



А Р А К С

ОТЕЦ ОГАН

Настала эта весна — весна, принесшая победу, и в армянском селе Берде, далеко, затеряншемся среди высоких гор уголке.

Радостна была весть. Сладкое предчувствие близкой встречи с родными охватило всех. Широко открывало село объятия своим возвращавшимся с войны сыновьям.

Вместе со всеми ожидал своего единственного сына Саака и Оган, шестидесятипятилетний колхозный сторож. За отеческие наставления и заботы о людях звали его в селе — отец Оган.

Еще гордо носил отец Оган свою убеленную сединами голову, не склонялся перед старостью. Еще внушительным был взгляд прикрытых густыми космами бровей глаз его, но так тепло светились они в минуты, когда бледным зимним солнцем озаряла улыбка лицо старика.

С несказанной радостью встретил весть о победе отец Оган. Вынув изо рта чубук, звонким, почти юношеским голосом воскликнул:

— Вернется и мой Саак, родной мой, и высоко к облакам поднимется дым моего очага!..

В селе Берде все от мала до велика знали отца Огана.

На лоне природы, среди гор, лесов и полей, сложился его характер. Был он в юности страстным охотником, свободолюбивым, бесстрашным. Когда конь его молнией проносился по каменистым склонам, по узеньким тропинкам, протоптанным в чащах зверями, казалось Огану, что под его ногами лежит весь мир.

В окрестностях села не было уголка, куста, камня, ручья, которых не знал бы Оган. Он мог с закрытыми глазами бродить по этим местам. И утренние и вечерние зори встречал он в горах. Любил грозу, молнию, ветер. Когда хмурилась и волновалась природа, волновался и он и, прикинув к спине коня, с ружьем за плечами носился по лесным зарослям.

Порой старик отец умолял его: «Довольно тебе, Оган, бродить по лесам, посидел бы немного дома». — «Не могу, отец. Дома — сердце словно в сундуке заперто. Там, в лесах, и солнце и звезды смотрят на мир добрым, ясным взором. А у нас?.. Как у нас смотрят друг на друга люди?» — спрашивал он и снова уходил из дому.

Чтобы заставить сына уговориться, отец женил его на скромной, кроткой девушке по имени Наргиз. Но и Наргиз не сумела привязать свободолюбивого охотника к дому...

Таков был отец Оган в дни своей молодости.

Лишь с установлением советской власти расстался он с охотничьими привычками. В своем возрожденном селе нашел он тепло под родной крышей и привязался к жизни. А тут и радость большая вошла в их семью — Наргиз подарила Огану сына Саака.

Увы, недолго жила Наргиз. Прошло несколько лет, и она умерла, оставив юного Саака на попечение отца. Умер и отец Огана, и они остались вдвоем с сыном. Оган поклялся не брать мачехи сыну и на другой не женился. Колхозники дивились: как этот привыкший к горам человек сидит теперь дома и с такой заботой, с теплой отеческой любовью воспитывает сына?

Саак вырос, стал на загляденье стройным, красивым молодым человеком.

Отец и сын работали в колхозе. Оган чувствовал

себя счастливым. Он мечтал женить сына, окружить себя внуками.

Но не все так складывается, как хочется человеку. Началась Великая Отечественная война, и Саак ушел в армию. Оган провозил его и гордился тем, что у него есть сын-солдат, сражающийся за родину.

В течение всей войны отец Оган сторожил общественное добро, не позволяя пропасть и колосу из колхозного урожая. С ружьем за плечами день и ночь ходил он вокруг сельских складов. Разве мог бы недобрый человек ускользнуть от глаз старого, опытного охотника? Пройти мимо, не побоявшись?..

В эти трудные дни отца Огана в селе узнали еще лучше, стали уважать еще больше, чем прежде.

Когда, щадя его старость, колхозники говорили старику: «Отец Оган, шел бы ты домой, отдохнул немного», — он крайне оскорблялся. С горькой усмешкой он отвечал советчикам: «Буду работать, пока сердце бьется, а отдохну уж на том свете». И говорил так решительно, что никто не пробовал ему возражать. А отец Оган, покачивая головой, добавлял: «Хотите сказать, что стар стал, да?.. Ах, старость, — не тот это враг, что против тебя стоит и ты можешь по башке его хватить, на землю опрокинуть, уничтожить. Старость — внутри тебя; убьешь ее — себя убьешь...»

Говорливый, любящий давать наставления, советы, старик всегда был окружен колхозниками. Особенно же льнули к нему ребята, которым он любовно, терпеливо повествовал о своих охотничьих приключениях или рассказывал сказки.

Глубоко вздыхая, вспоминал он об одном случае, произведшем на него особенно тяжелое впечатление. Однажды в юности убил он едва оперившегося орленка. Раскинув огромные крылья, носилась над головой дерзкого охотника мать-орлица. Едва унес ноги Оган, спасаясь от разъяренной птицы...

Отец, узнав, упрекнул его: «Убил бы ты какую-нибудь поганую птицу, ну, коршуна, что ли. Что сделал тебе орел, парящий под тучами, что ты заставил болеть материнское сердце?»

Сейчас, не получая вестей от сына, он часто вспо-

минал и лежавшего у ног его бездыханного орленка и мать-орлицу и шептал неслышно:

— Ох, зачем я поступил тогда так нехорошо...

Отец Оган кружил по колхозу с ружьем за плечами, посасывая свою трубку, и тяжелые мысли, сменив одна другую, томили его.

Победа радовала старика, но при мысли о сыне сердце его сжималось от боли: Саака все не было.

Если отцу Огану говорили, что с фронта вернулись какие-нибудь ребята, он пробуждался от своих томительных мыслей и восклицал радостно:

— Пусть возвращаются, милые мои, пусть все вернутся домой!..

Когда встречали сына Нахапета, зятя Саркиса, брата Матеоса, отец Оган поднял стакан и сказал тепло:

— То сердце не сердце, тот человек не человек, что не радуется чужой радости... Ребята мои родные, герои наши, в вас я Саака своего вижу, его дыханием дышу. Да будет благословен путь, приведший вас домой...

К отцу Огану тянулись, звенели стаканы. Не было стола, за которым не сидел бы и он, участвуя в общей радости.

* * *

В последнее время отец Оган стал крайне молчаливым. Трубка его дымилась не потухая, а из груди часто вырывались тяжелые вздохи. По селу уже пошли слухи, что нет больше на свете Саака — отдал жизнь за родину. Может быть, и догадывался об этом отец Оган или даже знал, но никто не решался у него спросить. Сам же он ничего не говорил.

«Забота не для гор, для человека. Крепись, Оган, терпи. Был бы он не моим, чужим, — все равно, и у них, как у меня, сердца любящие», — говорил он сам себе, и его горло сжималось от слез.

Совершив обход, возвращался отец Оган домой и устало подходил к старому, дедовскому, деревянному сундуку. В нем хранились священные для старика предметы: новые сапоги Саака, его одежда, красивая свадебная шаль покойной жены. И когда поднималась

крышка сундука, отцу Огану казалось, что от этих вещей исходит дыхание близких ему людей, и на мгновение утолялась в его сердце тоска по сыну. Казалось, вставал он перед ним во весь свой стройный рост... Глаза отца Огана блестели от умиления.

— Ходи, ходи, сынок, родной мой, топчи пол своего дома, а вместе с ним и мое сердце... — говорил он и губы у него дрожали.

Затем, приподняв конец женинной шали, он добавлял:

— А шаль эту я для твоей свадьбы хранил, внуков ждал.

И казалось ему, что вокруг него прыгают внучата. У них блестящие глаза и звонкий смех. С улыбкой на губах бегал за ними отец Оган, хотел поймать, прижать к себе, но... натыкался вдруг на холодную стену и приходил в себя.

— С ума ты, что ли, сошел, Оган? — восклицал он. — Опомнись! Мужчина ты или нет?..

Старик торопливо закрывал сундук, выбегал из дому и снова кружил вокруг села, по полям и дорогам, смотрел на высившиеся вдали горы, на окружавшую его растительность и шептал:

— Ах, деревья, ах, кусты, что бы вам Сааком моим стать! Пришли бы, обняли меня!..

Колхозники не оставляли отца Огана, стараясь рассеять печаль старика.

Понимали чутьем, что старику сейчас тяжело, и не понимали его, как прежде, своими просьбами рассказать им сказку или какую-нибудь охотничью историю и дети. Грустными глазами смотрели они на своего любимого деда Огана. А он, казалось, стал еще добрее с ними и, встречая, ласкал молча.

Порой по ночам, когда отец Оган лежал и пытался уснуть, а сон не шел, из дремучего, окружавшего деревню леса налетал ветер и напористо стучал в дверь. Вскakiвал в полудреме отец Оган: «Саак приехал!..» Но Саака не было, и старик снова ложился в безнадёжной печали.

С фронта продолжали приезжать односельчане, но об этом старались не говорить Огану, боясь, что ему

будет больно еще и еще раз горько переживать отсутствие сына. А отец Оган, узнавая о таких «заговорах», сердился.

— Эй, бессовестные, — говорил он, — скажите же мне, кто вернулся, хоть этим утешьте! Пусть лучи радости их матерей и отцов и мое сердце согреют.

Однажды председатель колхоза сказал ему:

— Отец Оган, ты хорошо потрудился в дни войны, колхозное добро как зеницу ока берег. Война теперь окончилась, довольно тебе работать, колхоз, как об отце родном, будет о тебе заботиться, беречь тебя... Ни в чем не будет у тебя недостатка.

Дрожа от волнения, отец Оган ответил:

— Труд меня с миром связывает. Не будь работы, лег бы я, да и помер... Нет, пока дышу, дайте мне работать.

Председатель виновато повесил голову.

— Ладно, отец Оган, раз для тебя тяжело не работать — что скажешь?.. Работай...

И больше никто не решался с ним об этом говорить.



Близилась зима. Вершины гор покрылись снегом, задули морозные ветры. Но что холод и снег отцу Огану?.. Он все время на воздухе, все время кружит по колхозу. Тяжело оставаться одному.

Однажды, выйдя утром из дому, увидел старик какого-то военного — он стучался у дверей его покойного соседа Симона. Вокруг военного с любопытством теснились ребятишки.

«Э, да это, должно быть, внук Симона — Седрак, — решил отец Оган и вздрогнул, вспомнив: — Да ведь Симон-то умер и дом пуст!»

Вынув изо рта трубку, старик подбежал к Седраку, горячо его обнял.

— Седрак-джан, как хорошо, что ты вернулся! — обнимал и целовал он парня, не давая ему опомниться, сказать слово. — Идем, идем!..

И, потянув за рукав, он потащил Седрака к себе. Усадил, стал угощать всем, что дома было.

А Седраку не до еды было. Он все огорченно повторял:

— Ах, мой бедный дед, хотя бы меня повидал, а потом... — спазмы сжали ему горло.

— Ничего, Седрак-джан, был бы ты жив-здоров, — утешал его отец Оган. — Стар он был, да и все мы когда-нибудь умрем... — Эх, — добавлял он, понижая голос, — уж лучше бы я умер, а Саак мой жив остался...

Вскоре дом наполнился колхозниками, пришедшими повидать Седрака. Принесли с собой вина, уставили стол яствами. С возвращением Седрака поздравляли и отца Огана.

Старика давно уже не видели таким оживленным, веселым. Будто не Седрак, а его Саак вернулся... Да и ему казалось, что это так. Не такой же разве, как Саак, рослый, стройный?.. И смеется так же, как Саак!..

Какая-то тайная радость родилась вдруг в сердце бедного отца.

Колхозники пили за здоровье Седрака, а старик воодушевленно восклицал:

— Пейте, ешьте, веселите нашего Седрака, пусть не горюет так по деду — это наша участь, старческая. Не сегодня-завтра придет черед и мне укладывать пожитки и собираться в дальнюю дорогу... Были бы вы, молодые, живы-здоровы... — И снова повторял со вздохом: — Эх, лучше я бы помер, а Саак мой домой пришел...

Он умолк и отвернулся.

Колхозники поняли его и, чтобы переменить разговор, стали расспрашивать Седрака о его военных подвигах, рассматривать его ордена и медали.

— Твои ордена — для всех нас честь, для всех нас радость, — сказал Седраку председатель колхоза. — И тебе, отец Оган, правительство даст награду за то, что ты так хорошо работал у нас в колхозе.

— Верно, верно!.. — раздалось вокруг.

— Была бы счастлива наша страна, был бы мир в мире, не видели бы больше наши дети и внуки такого бедствия — вот какая мне нужна награда, — отвечал старик, подняв стакан с вином.

Когда все разошлись, поднялся и Седрак, но отец Оган его удержал.

— Куда ты? Холодно и пусто в вашем доме. Вот твой дом — ложись, отдыхай.

Седрак растрогался, остался. Лег в постланную ему стариком постель и быстро уснул, — устал от дороги, от волнений.

Отец Оган подкинул дров в камин, укрыл Седрака потеплее и вышел из дому. Ему хотелось всем, всему миру рассказать, что у него дорогой гость — вернувшийся с фронта солдат...

Что-то странное творилось с ним. Казалось, душевная пустота заполнилась. Дом снова, как магнит, тянул его к себе.

Он возвращался, прислушивался к дыханию Седрака и шептал:

— Спи, отдыхай!..

Проснувшись под вечер, Седрак удивился, увидев у кровати пару новых сапог.

— Чьи это?

Впервые за все последние годы отец Оган сидел у камина, курил.

Когда Седрак поднял голову, он обернулся к нему и сказал:

— Надень, носи, стань настоящим моим Седраком.

— Спасибо, отец Оган. А мой дом?.. — воскликнул Седрак.

Горе снова с силой сжало сердце старика.

— И я один, и ты один... — с трудом выговорил он. — Куда тебе идти?..

Слезы потекли из глаз, закапали на бороду.

Седрак расчувствовался, обнял старика.

— Я тебя не оставлю, отец Оган.

— Да, сынок, не оставь, — обрадовался старик. — Вот помру я, ты, вместо Саака, горстку земли мне в могилу кинешь. Дом твоего деда с моим соединишь, заживешь широко...

Затем, протянув руки к двум стоявшим посреди двора тополям, он добавил:

— За деревьями этими ухаживай, не засохли бы, — под ними мой Саак играл ребенком.

...Возвращение Седрака сыграло большую роль в жизни отца Огана: снова увидел он какую-то цель в своем существовании и нашел поддержку.

Сыпал снег, покрывая землю большими белыми хлопьями. Первый мирный зимний снег.

Шел по покрытым белой пеленой дорожкам отец Оган. И мягкая отеческая улыбка играла на его губах, затаенная дума светилась в глазах.

— Женю, семью создаст... Не потухнет очаг мой... — шептал он.

В искрящихся хлопьях снега чудился старику блеск сыновних глаз. Казалось, он видит Саака, чувствует его дыхание...

Прошло несколько дней, и по селу разнеслась весть: отец Оган усыновил Седрака...



САРГИЗ ПАЯЗАТ
ЗА МОНАСТЫРСКОЙ ОГРАДОЙ

Посвящается Я. С. Х.

Тихий, знойный день. Золотое солнце струит потоки жгучих лучей на сонный городишко, раскинувший свои глиняные домики в душных садах. От жары они задремали. Недвижны светлозеленые нежные тополя и серебристый пшат, нависший над заборами и ручейками. Зной устремляется к небу, снежные вершины Арарата расплываются в сизом тумане.

Среди города, за оградой, в тенистой рощице уныло вздымается монастырский храм со звонницей, поддерживаемой стройной колоннадой. Высокие стены и колонны зеленеют под тонкой золотистой плесенью; кое-где из щелей бойко пробиваются травка и цветы с яркими желто-синими лепестками. На побуревших от солнца орнаментах мрачных сводов красуются изящно вырезанные виноградные листья с пышными гроздьями; из-под них в задумчивой неподвижности кротко выглядывают тонконогие лани и крылатые херувимы. А каменные орлы, как бы изнемогая от зноя, с раскинутыми крыльями гордо смотрят с колонн, не поднимая взора.

У одного из могильных камней, в тени старых ака-

ций, ожидает кого-то солдат. Разморенные зноем конвоиры лениво стерегут его. Свежее, смуглое лицо солдата оттеняет совсем недавно отпущенная черная, как сажа, борода; из-под густых бровей ясно и смело сияют лучистые глаза.

Из-за акаций можно разглядеть глубоко ушедшие в каменную стену оконца келий и их сводчатые входы. Здесь, закинув ногу на загородку, сидит поручик с красным от зноя лицом. Он еще очень молод, мрачные глаза, худощавое лицо, тонкие усы. То и дело отмахиваясь веткой от надоедливых мошек, он хмуро и недовольно поджидает настоятеля: к нему привел он для исповеди юного солдата, приговоренного за участие в восстании к смертной казни.

Внезапно пронесся горячий вихрь и, кружа по каменным плитам облетевшие листья, взвился столбом золотистой пыли. Под сводами колоколни от ветра дрогнули веревки задремавших колоколов. Над могилами таинственно и печально загудел подхваченный вихрем золотой жук; далеко-далеко унесло его, и только на тихом дворе, в царстве жгучего зноя, еле слышно затихает его нежное, однообразное жужжание.

Один за другим подходят богомольцы. Медленно войдя за ограду, они крестятся и прикладываются к стенным и дверным крестам, затем, приютившись в тени, ждут, когда начнется обедня.

На дворе появляется старик с узорчатым хурджином на плече; полы грубой шерстяной чухи приподняты и заткнуты за пояс. С печальным лицом шагает он к церковной двери, но, заметив молодого солдата, вдруг останавливается и из-под сдвинутых бровей грустно всматривается в него.

Не то от удивления, не то от радости солдат, вздрогнув, растерянно и недоуменно встает с плиты, быстро оглядывает охрану и, не спуская глаз, глядит на старика.

— Отец!

— Алексан!.. Ты ли это?

Растерялись и конвоиры. Безмолвно переглянувшись, они смотрят туда, где сидит поручик. Но его не видно. Должно быть, он у настоятеля в келье. И пла-

чуший от радости старик жадно обнимает сына; жаркие слезы так и струятся из покрасневших глаз.

— Как ты нашел меня, отец? Ты из деревни?

— Из деревни, сынок. Долго искал я тебя. Дай, думаю, зайду в церковь помолиться... Это товарищи твои?

— Да, отец. Ну, как мать? Зачем ты сюда явился? Что новенького у нас на селе?

— Пока все благополучно. Вот только матушка твоя порядком постарела: ведь лет пять она с тобою не видалась, от слез слепнет, все тоскует по тебе.

— Отец, ведь теперь пора косить, убирать урожай. Как же ты ее одну оставил? Дел по горло. Что тебе здесь делать? — И с грустной нежностью юноша не отрывал взгляда от старчески сгорбленного, ставшего маленьким отца.

— Нехорошие вести дошли до меня, сынок; вот почему я здесь, уж ты мне всю правду говори.

— Нечего говорить, отец. Зря ты явился.

— Как это зря? А ну-ка, присядь... Повстречал я на базаре гончара Акопа, с товаром приехал... Спрашиваю про тебя, а он и говорит: «Видел я, как твоего Алексана в Сарыкамыш вели». Только не договаривает чего-то. А матушке твоей дурной сон приснился. Тут я и говорю ей: «Снаряжай меня в дорогу, надо мне Алексана в Сарыкамыше сыскать». Вот я и махнул сюда. Уж я знал, что тебя разыщу. Теперь рассказывай, как живешь. Ого, как ты вырос, совсем мужчина. Да верно ли, что тебя в Сарыкамыш уводят?

— Верно. Я-то ничего, отец, вот только по матери тоскую, — с холодным спокойствием отвечал сын, задумчиво всматриваясь вдаль.

— Что делать, сынок, на то и служба; вот кончишь ее, опять дома будешь. Я малость винца с собой захватил, садись, закусим. — И старик благодушно смотрит то на сына, то на конвоиров. — Вы, ребята, из каких мест будете?

— Я из Погос-килисе, а товарищ из Орома, шорагладский он. — И конвоир, взглянув на Алексана, бо-язливо косится на настоятельское оконце.

Но старику невдомек, отчего конвоир смущается. Вытащив большой изуровренный платок и встряхнув его, он покрывает им могильную плиту.

— Из Орома, говоришь, сынок? Мне приходилось у вас бывать. Насмотрелся я много на своем веку, куда только меня не носило — и в Алекполь, и в Карс, и в Олти, и в Ардаган, даже в Баку пришлось побывать.

Ясные глаза Алексана улыбаются. А отец продолжал свои рассказы с простодушной гордостью, вынимая из хурджина кувшин с вином, несколько лавашей, сдобу — гату, завернутую в лаваш, кусок сыру, лук, тархун, побитые в дороге яйца, вареного цыпленка, наконец две глиняные чарки. Все это он разложил на могильной плите, вытер чарки полой чухи и налил вина.

Алексан приглядывается к отцу, но плохо слушает. Мысли его заняты неотвязным вопросом: как и когда мог увидеть его гончар Акоп? От других, может быть, узнал? Но что и от кого ему могло быть известно? Слава богу, что солгал Акоп! Пускай отец и теперь ничего знать не будет — меньше придется ему страдать.

И он смотрит на отцовское угощение. Струится аромат лука и тархуна, и кажется ему, что от зелени пахнет милыми материнскими руками. Бедная, бедная мать, от тоски по сыну состарилась она. А ежели узнает обо всем, вряд ли в живых останется. Чай, попрежнему все ходит на богомолье в часовню св. Иоаннеса, а может быть, старость и болезни не пускают? Ну, да и часовня далеко: совсем за деревней, на медно-синем холме маячит она, одинокая и печальная. Как часто мать брала его с собою к св. Иоаннесу! Бывало бредут они безбрежным, молчаливым полем, деревня чуть видна внизу, такая маленькая, с плоскими домиками из щебня; из оврага выглядывают темно-зеленые ивы, а вдаль по бокам холмов колышутся золотистые поля. Вот и кривой хочкар — священный камень, весь в кружевных узорах, у часовни, закоптелый от свеч и ладана, местами почернелый, точно изъеденный оспой. Мирный ветерок развеивает свисаю-

шие с камня лоскутки, оставленные богомольцами в залог исполнения заветных желаний. Тут же виднеются медяки, бессмертники, высушенные розы — быть может, дар юных невест и девушек на выданы. Кто только не приезжал и верхом, и на подводах, а еще чаще приходили пешком. Больных несли сюда отовсюду. Являлись с закусками и плодами, играли здесь, ели, плясали. Молились за плавающих и путешественников, за избавление от скорби, гнева и нужды. Подле очагов блеяли жалобно ягнята, обреченные на заклание. В монастырской ограде выплясывал на канате разухабистый шуткарь, начинался бой баранов и петухов...

Как знать, все так же ли молится мать на паперти св. Иоаннеса и, приподнимая юбку, как бывало встарь, достает из кармана прибереженные медяки, туго завязанные в уголок платка, чтобы морщинистой рукой положить их на камень и припасть к святыне посиневшими, пересохшими губами?..

Отец предлагает вина и сыну и конвоирам.

— Ох, и жарница же у вас! Как вы переносите?

Но, подняв чару, старик испуганно замечает что-то неладное; гнетущим предчувствиям не хочется верить, но непослушная рука дрожит, проливая вино на могильную плиту. Глядя на сына, старик удивленно спрашивает:

— А где же твои погоны, сынок? Зачем ты их сорвал?

— Потому что скоро меня сделают фельдфебелем, эти сняли, вместо них дадут новые, уж таков порядок, — горько улыбаясь, с трудом отвечает Алексан, все же мгновенно овладев собой.

— А, вот как, ну, молодчина, сынок!

И, подняв чару, старик не сводит с сына покрасневших старческих глаз; в них сияет родительское счастье.

Алексан поднимается: согласно обычаю святой старины, когда поднимает чару отец, сын должен встать в знак почтения к родителю.

— Вот уже пять лет как ты покинул родной кров;

только тебя одного во сне и вижу. Грезится мне, что войне конец и ты весь в черном возвратился домой. И, думаю себе, нехорошо, что в черном. А матушка твоя говорит: ничего, дескать, это ведь сон... Еще молод ты, Алексан, долго тебе жить. Только помни: как высоко ни поднимет тебя судьба, ты бедных и убогих не забывай, сынок. Ты сам из бедности вышел — и вот дошел до фельдфебельского чина. — И, обернувшись к церкви, старик долго и пристально глядит в ярко-голубое небо: — Боже всемогущий! Тебе поручаю сына моего, один он у меня, да будет твое благое око всегда над ним, да не коснется его зло и да не посягнет на него злодей, избави его от болезни и нечаянной смерти...

Конвоиры слушают и медленно жуют. Алексан молчит. Мечтательно глядя вдаль, он рассеянно прислушивается к речам отца. Непонятная боль сжимает ему горло. И вдруг за отцовской спиной Алексан замечает поручика. Подтянутый и бравый, побрякивая шашкой и шпорами, он идет по выстланному каменными плитами двору. Он прямо от настоятеля. Большой иеромонах просил повременить с напутствием еще дня два.

Глаза Алексана тревожно перебегают от отца на конвоиров. У них растерянный вид. А старик, закрыв глаза, выпил чарку и вытер усы.

— Передай поклон матери, отец, — скрывая замешательство, медленно говорит Алексан. — Твоих наставлений я не забуду. А теперь мне пора, боюсь опоздать.

— А кушать разве не будешь? Куда это ты собрался?

— За получением нового чина. Видишь, поручик идет, я и так опоздал, — с трудом отвечает Алексан, делая попытку улыбнуться.

— Ну конечно, сынок, служба прежде всего, не мешкай. Иди, получай чин. Я тут останусь подождать тебя. Как получишь, вернись.

— Да нельзя мне вернуться-то, в Сарыкамыш мне надо, уж и так опоздал. Ты меня видел, скажи и ма-

тери, что я, мол, здоров, жалко мне маменьку. Ну, прощай, отец.

— Постой, сынок, — недовольно отвечает старик и, повернувшись, смотрит на поручика.

— Это его отец, господин поручик, пришел повидаться с сыном, — боязливо, с виноватой улыбкой объясняет офицеру один из солдат.

Указывая на закуску и вино, старик убедительно просит поручика отведать его хлеба-соли и с ласковым добродушием подносит ему чарку.

Конвоир докладывает обо всем командиру шепотом, так, чтобы старик не услышал. Офицер состраданно смотрит на Алексана, потом на его старика отца. Вино он принял, но пить отказался и поставил полную чарку на могильную плиту.

— Нам пора идти, отец, опоздали, — обратился поручик к старику, — ну, прощайся с Алексаном.

— Коли опоздали, отправляйтесь; что делать, служба. Мать только жаль. Ну, да я добрую весточку снесу ей. Теперь, сынок, мое сердце спокойно, иди себе с богом. — И старик, наклоня голову сына, крепко его целует.

От его загорелого, как глина, заросшего колючей бородой лица, от складок его чухи Алексану слышится запах сельского ветерка, что мчится сюда с родных нагорных лугов, пестреющих цветами, которых ему никогда, никогда больше не видать...

Алексан уходит быстрыми шагами. За ним поручик и растерявшиеся конвоиры. Вот они свернули к монастырским воротам. Гордо шагает Алексан, уже спокойный и бодрый. Нет, не догадался отец, куда и зачем идет сын. На миг остановившись у ограды, Алексан обернулся: отец раздает бесприютным ребятишкам остатки закусок, встряхивает платок и, заткнув его за пояс, в горделиво надвинутой набекрень папахе, добродушно и самодовольно улыбаясь, кивает сыну.

А солнце уже садится за далекими садами. Медленно спускается вечер. Небо становится лиловым, и поля отливают желтизной. На город сыплется яркая солнечная пыль. Грустно загудели монастырские коло-

кола; легкий запах воска и ладана мешается с напевами церковного хора и плывет под сумрачными сводами храма. Медовый аромат разливается из душистых садов, и видно, как в церкви за облаками дыма мерцают желтовато-золотистые язычки запылавших свеч...

Алексан отвернулся и быстрыми большими шагами, не оглядываясь, прошел в ворота. А отец, заломив папаху, выпрямляя грудь, со счастливыми слезами на глазах, долгим взором провожает сына...

1945



АРШАВИР ДАРБНИ

РАССВЕТ В МРГАНАТЕ

На станции Егевнут пассажирский поезд стоит недолго.

Еще издали, когда, высунув голову из окна вагона, смотришь на Егевнут, он влечет к себе густой листвой своих деревьев. Но мне довелось сойти на этой утпающей в зелени маленькой станции поздним осенним вечером, и я даже не заметил, как мы подъехали.

Трудно было предположить, что Егевнут окажется таким шумным. Поезд сразу ушел, но громкий говор прибывших пассажиров еще долго оглашал станцию. При свете электрических фонарей казалось, что листья на деревьях колышутся не от ночного ветерка, а от возгласов, заполнивших платформу. Пронзительные сигналы машин и зычные выкрики шоферов дополняли этот гомон:

- Кому-у-у в Вардашен?!
- В Нораван! В Нораван!..
- Торопитесь, уеду!..
- Дядя Аво!..

Пассажиры со своим багажом спешили к грузовикам.

— Бабушка, бабушка, шагай в темпе, не на свадьбу идешь...

— Акоп, а у кого глобус?..

— Иди, иди... Дядя Аво взял...

— Нельзя ли побыстрей!

— Тише, тише, не на штурм Берлина идете, не опоздаете, — ворчит кто-то, обхватив руками завернутый в холстину радиоприемник.

У машин царит суматоха. Каждый норовит пораньше взобраться в кузов и занять местечко поудобнее.

Один из водителей — человек атлетического сложения — легко подхватывает бабушку на руки и заботливо усаживает ее в кабину. В его огромных ручищах бабушка кажется совсем невесомой, словно кукла.

— Это твое законное место, — говорит ей водитель. — Располагайся тут по своему усмотрению.

— Спасибо, Саро-джан. — И она усаживается, держа перед собой обеими руками будильник.

— Где бабушка? Куда бабушка девалась? — кричит кто-то.

— Где будильник прозвенит, там и ищите, — откликается шутливый голос.

— У бабушки мягкая плацкарта, — вставляет шофер.

— Саро, она у тебя?

— А где же ей быть? Хочу научить ее водить машину.

— Вот и хорошо. Спешит она — дома ковер незаконченный остался.

— Очень прошу вас... Сам я и стоя доеду, лишь бы мой «Пионер»...

— Пропустите пионера... Дайте ребенку место!

— Да не ребенку, а приемнику...

Все смеются.

— Давай его сюда, Амбо.

— Осторожно, это тебе не бурдюк с вином, — ворчит Амбо. — Вот медведь!

— Знаем, не в лесу живем. У меня дома тоже «Нева» есть. Иди со мной рядом садись.

Амбо садится, слегка расталкивая локтями соседей, потом, устроившись поудобнее, забирает доверенный приятелю приемник и ставит его себе на колени. После облегченного вздоха он застывает на месте.

Вокруг еще суетятся, шумят, а он пригнул голову к приемнику и замер в неподвижности. Можно подумать, что его «Пионер» вот-вот заговорит, и Амбо боится пропустить этот неповторимый момент.

— Ну и укутал же ты его, — тянет кто-то парасев, — точно новорожденного.

Амбо молчит, отдавшись своим думам. Завтра у друга свадьба. Приемник куплен в подарок новобрачным.

— Полегче! — неожиданно восклицает Амбо, толкая локтем соседа. — У меня в кармане запасные лампы...

— Да, да, будьте осторожнее: Амбо — сапер, у него в кармане и мины могут оказаться, — подшучивает бывший разведчик, которого Амбо недавно обозвал медведем.

От шофера Саро я узнал, что колхозная машина села Чорацара сегодня на станцию не приехала.

— Пожалуйста, садитесь ко мне, мы едем мимо Чорацара, — любезно предложил Саро.

Я воспользовался его приглашением.

— Опоздавшим желаю покойной ночи! — в последний раз крикнул Саро. — Я поехал!

Машина тронулась.

В дороге пассажиры курили, шумели, смеялись, даже Амбо стал что-то мурлыкать себе под нос.

— Тише, у Амбо приемник запел... — подшучивает сосед.

— Да осторожней же! Сказал ведь — в кармане лампы, — толкая его, сердится Амбо, но продолжает тихо напевать.

— Дядя Аво, крепче глобус держи, уронишь...

Задремавший было дядя Аво спохватывается и качает головой. Он перекладывает глобус в другую руку и держит его так, будто это букет цветов.

Амбо исподлобья смотрит на темнеющий перед ним земной шар.

— Эх, земля, земля, — сокрушенно произносит он. — Вот мы тут расселись себе на колхозной машине и горя не ведаем. А в Малайе, в Африке, да и в других странах война идет, голод, смерть...

Дядя Аво приближает глобус к лицу, точно хочет разглядеть при свете луны, где это люди опять воюют.

Воцаряется молчание. Очевидно, каждый старается представить себе горы Корей и леса Вьетнама, пылающие села, пепел, кровь.

А машина мчится все быстрее, слегка подвывая на подъемах. Напротив меня кто-то спит, склонив голову на плечо соседа. Лицо спящего кажется мне знакомым. Где-то я видел этого человека. Впрочем, в темноте легко обмануться.

Машина внезапно останавливается около огромного дерева. Здесь дорога разветвляется.

— Кому в Чорацар — сходите! — говорит, высунувшись из кабины, водитель.

— Бабушка, взгляни там, который час, — кричит кто-то, перегнувшись через борт.

Но бабушка, как видно, крепко спит.

Пожелав всем пассажирам счастливого пути, я быстро соскакиваю с машины. Однако в кузове продолжается какая-то возня.

— Товарищ, товарищ! — будят там спящего. — Вставай, в Чорацар приехали...

Вскоре кто-то лениво слезает с машины и останавливается возле меня.

— Портфель-то возьми, — слышится сверху. — Ну и тяжелый же, точно цементом наполнен.

Разбуженный пассажир одной рукой берет портфель, а другой протирает глаза.

— Почему цементом? Золото там, чистое золото, — говорит он, нерешительно здороваясь со мной.

Скорее по голосу, чем по внешнему виду, я узнаю в нем одного из своих бывших сокурсников по институту — Нерсэ Момяна.

— Вон он, Чорацар, — показывает нам шофер Са-ро. — Идите по этой тропинке, за десять минут там будете.

— Спасибо.

Мы молча смотрим в сторону Чорацара, а в машине не смолкает оживление.

— Дядя Аво, не спи, земной шар упустишь...

— Да куда ты ногу суешь! Там же пробирки для

агролаборатории. Если побью, товарищ Карамян меня со свету сживет своей химией.

— Ишь, разлегся!.. Это тебе не «Интурист».

— Не шумите, бабушку разбудите...

Тут машина срывается с места и быстро исчезает из глаз. Некоторое время нам еще слышно, как поет Амбо, потом все стихает.

— Что ж, пойдем, — сонным голосом произнес мой неожиданный попутчик. — Как говорится в сказке: не одни будем, а вдвоем.

И он зашагал по дороге медленно, слегка согнувшись, почти волоча по земле свой огромный портфель. Трава на обочине зашуршала, будто убегая прочь от его портфеля.

— Вот, в городе сколько лет не виделись, а в этой глуши довелось встретиться, — лениво продолжал Нерсэ.

— Пойдем лучше по тропинке, — предложил я.

— Там можно сбиться, — возразил он. — Я ночью плохо вижу.

— Давай руку, — сказал я.

— Ничего, ничего, не настолько я слеп, тропинку пока разбираю... Я ведь, если помнишь, еще в студенческие годы носил очки.

— Помню... Ты, кажется, тогда ушел со второго курса?

— Да.

— Кстати, — а почему, собственно, ты ушел? Если не ошибаюсь, ты ведь неплохо учился.

— По правде сказать, меня не волновало сельское хозяйство. Я тогда еще понял, что рожден для гуманитарных наук... А ты по какой линии приехал в Чоразар? — спросил он тем же сонным голосом.

— От академии, — ответил я и вкратце рассказал ему о своих делах.

— Сколько пробудешь?

— Около месяца.

— Так долго!

— А ты?

— Я на несколько дней.

— С какой целью?

— Да так просто, что называется, ради формы...

— Формы?

— Да.

— Что же это, по линии гуманитарных наук? — пошутил я.

Он слегка обиделся.

— Напрасно ты иронизируешь. Я теперь занят серьезной творческой работой.

— Это интересно. Пишешь что-нибудь?

После долгой паузы Нерсэ объявил, что он писатель.

— Признаться, я не встречал твоего имени в печати.

— Я пишу под другой фамилией... — И он торжественно назвал свой псевдоним, будто желая поразить меня.

— А, да, да, припоминаю... — неуверенно произнес я, не желая огорчать Момяна, чей псевдоним мне совершенно ничего не говорил.

Нерсэ несколько оживился. Его голос зазвучал громче, и даже шагал он теперь более уверенно.

Тропинка вела прямо в Чорацар, электрические огни которого щедрой россыпью мерцали вдаль, будто там опустился на поле кусок звездного неба.

— Вон и Чорацар, — сказал я.

— Чорацар! — многозначительно повторил Нерсэ. — Какое необычное и выразительное название! — Внезапно он остановился и возбужденно заговорил: — Люблю я природу! Что может быть лучше, чем утро в деревне? Этакая сельская идиллия: кругом леса, поля, птицы поют, девушки идут с кувшинами по воду, старенькая бабушка на крыше возится, одинокий пахарь шагает вдоль борозды... А вечером! Сверчки всюду стрекочут, с полей доносится аромат цветов, на улице ни души, тишина... В городе мы лишены всего этого. Ты только взгляни — здесь и звезды какие-то особенные, ярче и красивее. Так и хочется завалиться где-нибудь прямо в поле и до рассвета глядеть на звезды да слушать шелест трав...

Ч о р а ц а р — засохшее дерево.

— Что ж, ложись, любуйся, а я, пожалуй, дальше пойду, — сказал я.

— А что ты думаешь, с удовольствием повалялся бы, если бы знал, что здесь волков не водится. — При этом Нерсэ боязливо прижал к груди портфель и, двинувшись дальше, укоризненно добавил: — Вы, мичурицы, народ практичный, трезвый, вас поэтической мечтой не проймешь.

— Волки мечтателей не трогают, можешь смело ложиться, — пошутил я.

— Да нет, прохладно что-то...

— А ты портфелем укройся, теплее будет.

— Напрасно ты над моим портфелем смеешься. У меня там сокровище хранится. Сам потом убедишься.

Мне хотелось, не откладывая, выведать у него тайну его сокровища, но тут наше внимание привлекли доносящиеся из деревни звуки скрипки.

— Послушай, а куда ведет эта тропинка? — спохватился Нерсэ. — Боюсь, что нас не туда завезли, — слышишь, на скрипке играют!

— Разве в Чорацаре не могут играть на скрипке?

— В деревне? Вряд ли... Как-то не подходит...

С другой стороны, с гор, слышались тоскливые звуки свирели. Точно обиженная скрипкой, ушла она подальше от деревни и грустила среди скал одна-одиношенька.

— Вот свирель — дело другое! — обрадовался Нерсэ.

— Что, больше подходит? — спросил я.

— Конечно... Однако оставим музыку, скажи мне лучше — где мы будем ночевать?

— Зайдем куда-нибудь, где еще не спят.

— Итак, берем курс на скрипача!

Мы вошли в деревню. Скрипка не умолкала.

— Вот бы удивился Чайковский, если бы вместе с нами вошел ночью в Чорацар! — все еще недоумевал Нерсэ.

Я не ответил. Чистота звука действительно могла поразить хоть кого.

— Добрый вечер! — внезапно донесся до нас сбоку, из темноты, чей-то густой бас.

Судя по огоньку папиросы, кто-то шел в нашу сторону. Мы остановились у фонаря.

— Добрый вечер! — снова приветствовал нас незнакомец, подойдя к нам вплотную.

Мы пожали ему руку. Перед нами стоял высокий крепкий мужчина с густыми усами, которые очень ему шли. На первый взгляд этому человеку можно было дать лет тридцать. Но, как выяснилось позже, ему — отцу четверых детей — было сорок лет.

— Дружнице, нет ли у вас тут гостиницы? — первым долгом осведомился Нерсэ.

— Да у нас вся деревня — гостиница, — покручивая кончики усов, ответил колхозник. — В какую дверь ни постучитесь — лучше, чем в гостинице, устроят. А вы, простите, кто такие и по какому доброму делу пожаловали к нам?

— Мы научные работники, — поспешил объяснить Нерсэ. Он окончательно стряхнул с себя вялость и говорил теперь быстро и громко.

— Добро пожаловать! Для таких гостей у нас всегда приют найдется.

— Мы приехали лекции читать, о Мичурине и его учении, — не унимался Нерсэ.

— Вернее, изучать опыт чорацарских мичуринцев, — добавил я.

Услышав имя Мичурина, колхозник по-дружески положил нам руки на плечи и, почти толкая, повел нас дальше по дороге.

— Самые дорогие гости будете, — говорил он. — Ведь это, значит, вы ко мне приехали. Ко мне прямо и пойдем.

— Приходилось про Мичурина слышать? — спросил его Нерсэ.

Крестьянин ничего не ответил. Он лишь погладил усы, и мне показалось, что по лицу его пробежала насмешливая улыбка.

Шагая рядом с ним, мы вскоре узнали, что он — чорацарский садовод Хачик Чинарян. Неожиданная встреча была для меня более чем удачной. Я много о нем слышал и как раз должен был ознакомиться с его достижениями.

— Почему же ваша деревня называется Чорацар? — спросил Нерсэ, когда мы поравнялись с уходящей во тьму аллеей.

— А это потому, что раньше у нас тут не было деревьев, а если и сажали, так они быстро засыхали. От засохшего дерева и пошло название.

— Почему же они засыхали?.. — Не закончив фразы, Нерсэ споткнулся и вместе со своим портфелем полетел в тянувшийся вдоль аллеи арык.

Хачик поспешил ему на помощь.

— Ничего, ничего, это бывает... Да и легко отделились, только вот портфель немного намок. Ну, да не беда... Так о чем вы спрашивали? Ага, почему засыхали? Да потому, что раньше у нас в деревне воды не было, такие вот арыки мы разве что во сне видели. А вода для растения, сами знаете, все. Вот мы и спустились сюда с гор воды почти что двадцати родников. Теперь у нас, того и гляди, телеграфные столбы зацветут.

— Нужно бы переименовать деревню, — назидательным тоном произнес Нерсэ. — Впрочем, нет! — горячо возразил он сам себе, — «Чорацар» — красиво звучит. Какая-то романтика есть в этом названии.

— Наш сельсовет уже обратился в Совет Министров с просьбой переименовать деревню. Скоро, наверно, и решение получим.

— Как же будете называться?

— Мргашат¹.

— Хорошее название, — сказал я.

— Решения еще нет, но у нас уже все по-новому называют.

Пока мы шли, звуки скрипки становились все отчетливее.

— Где это у вас играют, на ночь глядя?

— Это Нора, дочка моя, — не скрывая гордости, ответил Хачик.

Нерсэ вскинул на него очки.

— Осторожнее, здесь тоже канава, — сказал Хачик, беря его под руку. — Вот мы и пришли.

¹ М р г а ш а т — изобилие плодов.

Дом Хачика стоял в саду. Воздух вокруг нас был напоен сладким ароматом фруктов. Мы поднялись по ступенькам на веранду.

Возле одного из столбов, украшенного полевыми цветами, стояла молодая девушка, почти подросток, и плавно водила смычком по струнам, видимо целиком поглощенная своим занятием. Она не заметила нас, по крайней мере не обратила на нас внимания и продолжала играть какую-то наивную, но трогательную мелодию.

Мы остановились поодаль и молча слушали. Лишь Хачик время от времени покручивал усы и улыбался. Видно было, что он счастлив.

— Эх, золотые руки! — едва слышно прошептал он, победно глядя на нас. — И ведь сама сочинила — «Рассвет в Мргашате» называется.

Нора опустила смычок и некоторое время стояла неподвижно, устремив взгляд в темноту, где, казалось, еще плывут, замирая вдали, звуки скрипки. Потом она обернулась в нашу сторону и быстро направилась к нам.

— Здравствуйте! — приветливо сказала она.

Нерсэ уронил портфель. То ли от неожиданности, то ли от восхищения.

Нора едва сдержала смех и вопросительно посмотрела на отца. Тот познакомил нас с девушкой и предложил пройти в комнату.

— Не знаю, в кого она пошла, — поглаживая дочь по голове, говорил Хачик. — Золотые у нее руки и голос соловьиный.

— Давно вы играете? — обратился Нерсэ к Норе.

— С самого детства, — ответил за девушку отец. — Она сейчас учится в музыкальной школе в Ереване.

— Ах, вот оно что! — протянул Нерсэ.

В комнате нам бросилось в глаза пианино.

— А это для других детей, — перехватил Хачик наш взгляд. — Поверите ли, каждый день ссорятся, кому первому садиться играть. Если бы не смешно было, каждому по пианино купил бы. Пусть дети радуются, — рассмеялся он.

— У вас тут настоящая консерватория, — сказал Нерсэ. — Пианино, скрипка...

— Да, музыку у нас любят.

— Интересно — сколько же всего пианино насчитывается в Чорацаре? — протирая очки, спросил Нерсэ.

— Мало, пока всего два.

— Ну, а преподавателей музыки? — скептически усмехнулся Нерсэ.

— Есть у нас товарищ Анна. Сорок лет преподает... Уже два года как она переехала из города сюда, в Чорацар, и решила навсегда остаться в нашей деревне. Говорит, что здешние дети — прирожденные музыканты. Очень у нее доброе сердце.

— Да, интересно... А у кого же она живет? — продолжал любопытствовать Нерсэ.

— Колхоз построил для нее красивый дом, там дети и занимаются.

Воцарилось молчание. В соседней комнате Нора успокаивала маленького братишку, который проснулся и о чем-то просил ее.

— Вы меня извините, — сказал Хачик, — я только в сельсовет схожу, хочу по телефону с райкомом связаться... Что-то моя хозяйка запаздывает, ей бы уже пора дома быть. А ты, Нора, накрой пока на стол. Вы тут побеседуйте, я быстренько вернусь — сельсовет от нас в двух шагах.

Хачик торопливо вышел. Мы молча осматривали просторную комнату, добротную мебель, картины, ряды книг в шкафу и на письменном столе.

— Что это вы загрустили? — спросила, появляясь на пороге, хлопчущая Нора. — Вот погодите, хоть и поздно уже, а скоро всем весело станет.

Она накрыла стол белой скатертью, после чего на нем появились тарелки, ножи и вилки, потом бутылки с вином, маленький графин с водкой и рюмки.

Нерсэ поглядывал поверх очков то на пышный стол, то на Нору. В глазах его я прочел недоумение.

Мое внимание привлекли портреты Чайковского и Листа. На письменном столе белел маленький бюст Спендиарова. Рядом стояли книги Лысенко, Мичурина и Дарвина. В сторонке лежала раскрытой «Жизнь растений» Тимирязева.

— А где ваша матушка? — спросил у Норы Нерсэ.

— Поехала в райком партийный билет получать, — ответила она и посмотрела на свои маленькие часики. — Сейчас, наверно, придет.

Вскоре вернулся Хачик.

— Не знаю, почему запаздывают, — сказал он, вешая кепку, — давно выехали...

— А вот, кажется, машина! — Нора подбежала к окну. — Мама, мама! — закричала она и выскочила наружу.

На лестнице слышались шаги. Судя по тому, как Хачик теребил свой ус, он был по-настоящему взволнован.

В дверях появились Нора с матерью. Обе красивые, улыбающиеся. Они были счень похожи друг на друга. Мать держала в руках большую пачку книг.

Хачик сделал несколько шагов навстречу жене, молча постоял, глядя на нее, потом, пожимая ей руку, сказал:

— Ну, поздравляю, Анаит...

Он, конечно, сказал бы ей что-нибудь очень ласковое, но, видимо, его смущало наше присутствие.

— Спасибо, — ответила ему жена.

— А ну, покажи билет, — попросил Хачик.

— Такой же, как у тебя, — отшутилась Анаит.

— Нет, вряд ли такой же, у моего уголка недостает, осколком срезало.

— Мама, познакомься с нашими гостями.

Анаит сказала, что она очень рада видеть нас в своем доме. Мы в свою очередь от души поздравили ее.

— Вот как вы удачно прнехали! — обратился к нам Хачик. — Пир сейчас устроим. — Настроение у него было явно приподнятое.

Положив на подоконник книги, Анаит обернулась к мужу.

— Петро, наверно, поздно заснул. Не капризничал?

— Не Петро, а сущее наказание, — ответил Хачик, просматривая книги, привезенные Анаит. — Все просил, чтобы мама ему колыбельную спела... Ну как ты ему растолкуешь, что маму в райком вызвали... А хорошие книги ты купила...

— И́ вовсе не купила — товарищ Авакян подарил. Это тебе.

— Спасибо, — задумчиво отозвался Хачик и, обращаясь к нам, добавил: — Хороший человек товарищ Авакян, ему весь район доверен, а он успевает и обо мне заботиться, литературу часто присылает...

Анаит вышла в соседнюю комнату, к детям.

Разговаривая, Хачик откладывал одну книгу и тут же брался за другую.

— ...Раз в неделю уж обязательно приедет — деревня мои проводить и со мной побеседовать, — продолжал он.

Нора подошла к отцу, что-то шепнула ему на ухо и отложила книги.

— Да, да, простите меня, пожалуйста, — смущенно проговорил Хачик, подходя к нам. — Как увижу новинки, так обо всем забываю. В жизни никому так не завидовал, как нашей библиотекарше. Подумать только — целый день среди книг!

— Да у вас их тоже много.

— Разве это много? — возразил Хачик.

— Петро так и заснул с медведем в руках, — сказала, вернувшись, Анаит.

— Почему вы его зовете Петро? — спросил Нерсэ.

— А что? — удивился Хачик.

— Петрос или же Петик...

— А он так и записан — Петро, — ответил Хачик, жестом приглашая нас к столу.

— Петро — не армянское имя, — все еще настаивал на своем Нерсэ.

— Это верно. Есть у меня товарищ украинец по имени Петро. Мы с ним четыре года вместе воевали, оба снайперами были. Вот, когда окончилась война, мы друг другу обещание дали, что я своего сына назову Петро, а он своего — Хачиком. Ну, на его счастье, у него дочь родилась. А он возьми да и назови ее Анаит, в честь моей хозяйки.

Хачик умолк и принялся разливать водку.

— Выпьем по стаканчику для аппетита. Водка хорошая, виноградная, собственного изготовления.

— А почему на столе всего три стопки? — вмешался Нерсэ.

— Жена и дочь водки не пьют, для них — вино, — ответил Хачик, — а мы с вами давайте выпьем за Анаит, у нее сегодня торжественный день.

— Ах, мама, какая ты счастливая! — воскликнула Нора, обнимая мать.

Мы еще раз поздравили хозяйку и выпили за ее здоровье. Анаит взволнованно поблагодарила нас. Нора смотрела на нее сияющими глазами.

— ...Да, — продолжал Хачик прерванный рассказ. — Сегодня как раз от Петро письмо пришло. — Он достал из бокового кармана конверт. — От него и от жены.

— Что пишут? — спросила Анаит.

— Живут хорошо, тебе привет шлют.

— Значит, вы до сих пор переписываетесь с ним? — заинтересовался Нерсэ.

— А как же! — нараспев сказал Хачик.

— Чуть ли не каждый день строчит, — с улыбкой кивнула на мужа Анаит.

— А что, поглядите, какой парень! — с гордостью произнес Хачик, протягивая нам фотографию Петро. — Настоящий друг!

— Вы четыре года на фронте пробыли? — с оттенком недоверия спросил Нерсэ.

— Да, и все четыре года вместе.

— И награды имеете?

— Есть, — коротко ответил Хачик и снова разлил водку по стопкам.

— Наверно, и в атаку приходилось ходить?

— Приходилось и в атаку ходить, и в штыковом бою участвовать.

— Вы так спокойно говорите о штыковом бое, будто речь идет о прогулке по бульвару.

— Э, товарищ Нерсэ, это я сейчас спокойно говорю, а в штыковом бою, конечно, было иначе...

— Скажите откровенно — смерти боялись?

Вместо ответа Хачик покрутил усы, улыбнулся и пододвинул к Нерсэ тарелку с вареным мясом.

— Выпьем еще по стаканчику, — предложил он.

— Пожалуй, довольно, — сказал я.

— Действительно, голова уже кружится, — поддержал меня Нерсэ.

— Хорошая водка, потом жалеть будете, — хитро прищурился Хачик.

— Но вы не ответили на мой вопрос, — поднимая стопку, напомнил Нерсэ.

— Твой вопрос, товарищ Нерсэ, как говорится, очень кляузный. Ну, скажи сам: кому же хочется умирать?.. И страшно бывало, и дрожь иной раз пробирала. Как же иначе?

— Говорят, что храбрые солдаты не боятся смерти. А вы как думаете?

— Наверно, я храбрым солдатом не был. А потому, простите, и ответить затрудняюсь.

— Товарищи гости, не будем говорить о войне, — вмешалась Анаит. — У меня до сих пор, как вспомню те годы, сердце колотиться начинает.

— Наша хозяйка — особа нежная, — ласково посмотрел на нее Хачик. — Раза три меня хоронила. А мы с Петро тем временем в тыл врага с разведчиками ходили. Оттуда разве напишешь?.. Эх, Петро, душа-человек! Сейчас, верно, и он обо мне вспоминает... За его здоровье!

Хачик одним духом выпил стопку, подмигнул нам и вытер усы.

— Вот, помню, во вражеском тылу дело было, — продолжал он. — Лежим мы с Петро в засаде — неподалеку от деревни, эсэсовский штаб там помещался — и видим, что к одной избе местных жителей с топорами и пилами сгоняют. А нам в оптический прицел все до малейших подробностей видно. Вот вышел из избы офицер ихний, стал под яблоней и на другие деревья показывает: пилите, мол, сад, все равно нам уходить и вам с нами. А народ не двигается, не хотят. Как раз весна была, яблони все в цвету. Как ветерок в нашу сторону подует, так до нас аромат долетает... Петро мне говорит: «Стреляй, Хачик!» А я ему говорю: «Нет, Петро-джан, пусть немножко от дерева отойдет, погоди». Он меня опять толкает: «Стреляй!» Я: «Погоди». Он: «Стреляй». Я: «Погоди».

— А почему вы не стреляли? Боялись не по-
пасть?

— Боялся яблоню задеть... Немного погодя, смотрим, другой эсэсовец появляется, важный такой, видно в большом чине. Подозвал он к себе первого, и оба пистолеты свои на толпу направили. Тут мы с Петро обоих на прицел взяли. Эх, винтовочки у нас были — русские трехлинейные, что называется, фашистские адреса на пулях написаны. Сняли мы этих эсэсовцев. Петро тогда подмигнул мне: молодец, мол, Хачик. «Вот так-то, говорю, Петро-джан». Чтоб долго не рассказывать — спасли мы тот сад. А через несколько дней освободила наша часть эту деревню и я сам под теми яблонями ходил. Хорошая антоновка! А население как нас благодарило! Ведь шутка сказать — колхоз чуть сада не лишился...

Воспоминания оживили Хачика. Его большие умные глаза засверкали и стали еще чернее.

— ...Потом про этот случай в нашей дивизионной газете было написано, — продолжал он. — Генерал Сергей Иванович Добряков вызвал тогда меня с Петро... Ох и смеялся! Золотой человек, наш генерал, люблю вспомнить, он сейчас в военной академии лекции по тактике читает. Петро пишет, что был у него недавно. Помнит генерал про этот случай, опять они вместе посмеялись. Надо бы и мне ему написать...

— Всем пишет — генералу, полковнику, подполковнику, майору, сержанту, ефрейтору, — с улыбкой заметила Анаит.

— Фронтовые друзья! Родного брата скорее забудешь, а уж фронтового друга — никогда. Ведь смерть рядом ходила, а товарищи тебя грудью прикрывали. Ну, и ты их, конечно, тоже. И так четыре года подряд, и днем и ночью. Жаль, много хороших людей полегло. Как вспомню — сердце ноет...

И снова изменились глаза у Хачика. Теперь они выражали глубокую печаль.

— Видите? — показал он взглядом на портрет в черной рамке, висевший на стене. — Наш батальонный комиссар Матвей Егорович... Писателем был. Как

началась война, он подал заявление, чтобы его в армию взяли. Отказали ему. Он опять написал. Словом, добился-таки своего, пошел на фронт.

— Говорите, писателем был? — насторожился Нерсэ.

— Да, написал две книги, а одна так и осталась незаконченной, в сумке у него нашли и в Москву переслали. Смелый был человек. Вот о нем, пожалуй можно сказать, что не боялся смерти.

— Погиб?.. — произнес Нерсэ.

Хачик промолчал.

— А это кто? — так и не дождавшись ответа, спросил Нерсэ, показывая на другой портрет, тоже в черной рамке.

Хачик тяжело вздохнул и поднял глаза.

— Брат мой Тигран... Погиб в Праге в мае сорок пятого... Танкистом был...

Хачик медленно протянул руку к графину. На этот раз мы не возражали и молча выпили. Потом он встал и вышел на веранду.

— Посмотрю, куда они делись...

Хачик имел в виду жену и дочь, которые пошли за фруктами, но мы поняли, что он просто хочет скрыться от посторонних свою скорбь.

— Да, тяжело... — покачивая головой, искренне сказал Нерсэ.

Я встал из-за стола и подошел к портретам.

— Садитесь, садитесь, сейчас придут, — объявил Хачик, входя в комнату.

Вскоре Анаит и Нора вернулись с тарелками, полными плодов. Мы с восхищением смотрели на чудесные фрукты, а Хачик, поглаживая усы, сказал:

— Плоды двадцатилетнего труда. Я ведь и на войну о них не забывал. Бывало лежу где-нибудь в землянке и все о саженцах да прививках думаю.

Нерсэ взял с тарелки крупную, точно позолоченную грушу. Он молча рассматривал ее, ощупывал и даже попробовал крепость хвостика.

Нора и Анаит улыбались.

— Вам нравится? — спросила Нора.

— Сказочная груша! — все еще не веря своим глазам, воскликнул Нерсэ.

— Вы так на нее смотрите, будто она бутафорская, — пошутила Анаит.

— Нет, самая настоящая, — вмешался Хачик. — Да вы отведайте. Мед, чистый мед...

— Как она называется?

— «Воскепайл»¹.

— Да, в самом деле золотистая. А это яблоко?

— «Пионер».

— Почему так?

— А вот, обратите внимание, от хвостика по плоду растекается красный цвет. Когда издали смотришь, кажется, что яблоки повязаны красными галстуками. Кроме того, это первый фрукт, появившийся в садах Чорацара. Потому и «Пионер».

— Какие еще сорта выращиваются в ваших садах? — спросил я.

— Самые различные. Вот, например, уже несколько лет я работаю над выведением нового интересного сорта и в этом году получил первый плод — одно яблоко. Но какое! Простите за похвальбу, из-под кисти самого Мартироса Сарьяна не выходило такого красивого яблока. Оно еще на дереве, утром покажу вам. Назвал я этот сорт «Нора». Немного неудобно получается, ну да простят мне, наверно.

— Почему же неудобно?

— Дерево-то колхозу принадлежит, а яблоко будет носить имя моей дочери.

— Но ведь Нора не только ваша дочь, — с энтузиазмом вступился за это название Нерсэ. — Она, кроме того, и детище колхоза!

— Вот и я так считаю, — согласился Хачик.

— Расскажите нам о ваших опытах, — попросил я. — Мне говорили, что ваш сад — настоящая лаборатория. Недаром меня послали именно к вам.

— Ну, уж зачем такие слова... Сад самый обыкновенный. Да вы угощайтесь, отведайте, а утром пойдем посмотрим деревья, и я в двух словах расскажу их биографии.

— Биографии? — переспросил Нерсэ.

¹ Воскепайл — золотой блеск.

— А что же, яблоны и груши тоже имеют биографии. Да — и биографии, и анкеты, и историю свою. Вот думаю написать книгу о наших деревьях и опытах.

— Прекрасная мысль.

— Я охотно отредактирую вашу рукопись, выправлю стиль, обработаю... — загорелся Нерсэ, видимо действительно увлеченный этой идеей.

— Чего там скрывать, я уже первую главу написал, — смущенно признался Хачик. — Трудное дело — писать книгу. Спасибо, Анаит помогает. Если получится, посвящу ее памяти нашего комиссара. Он очень интересовался моими замыслами и бывало еще в дни отступления говорил мне: «Не горюй, Чинарян, вот разобьем Гитлера, всю нашу землю в сад превратим!» Такая в этом человеке вера жила! Умел вперед смотреть, и в словах жар был. Настоящий комиссар! Если удастся, съезжу как-нибудь к его матери.

— А с удовольствием пишете? — спросил Нерсэ.

— Конечно, с удовольствием, но трудновато.

— И читать, как видно, любите?

— Да, за хорошей книгой могу обо всем забыть.

— А кино! — смеясь, напомнила Нора.

— Ну, тут я — как ребенок. «Чапаева» два раза смотрел, «Депутата Балтики» — три, а «Ленина в Октябре» — все четыре. Сейчас жду не дождусь, когда «Мичурин» опять у нас пойдет. Я нашему клубному киномеханику подарок даже обещал...

Тут Хачик прервал себя и посмотрел на часы.

— Нора, голубушка, — обратился он к дочери, — иди-ка ты спать, чтобы проснуться пораньше. Машина в шесть часов придет, не опоздать бы тебе на поезд.

— Куда она едет?

— В город, продолжать учебу. Похворала тут несколько дней, теперь догонять придется.

— Покойной ночи, — попрощалась с нами Нора и направилась в свою комнату.

— Надеюсь в городе еще послушать вас, — сказал Нерсэ ей вслед.

— Приходите к нам в школу, — слышался ее голос из другой комнаты.

— У меня три мальчика и одна девочка, — пояснил

Хачик. — Она — самая старшая. Кончит музыкальную школу — пошлю ее в Москву, а вдруг в столичную консерваторию примут! Лучше учебы ничего нет.

— Извините, у вас какое образование? — спросил Нерсэ.

— Семилетку окончил. Еще на специальных курсах по садоводству несколько месяцев учился... Хозяйка моя посмелее оказалась — у нее высшее образование.

— Высшее! — восторженно повторил Нерсэ.

— Да, она учительница, биологию преподает в средней школе, у нас тут. Можно сказать, что и я для нее ученик.

— Только очень непослушный, — заметила Анаит.

— Ничего, — сказал Хачик в свое оправдание. — И ученик порой должен проявлять самостоятельность.

Анаит была очень скромна и неразговорчива. После того как Нерсэ изумился, услышав о ее высшем образовании, она стала еще сдержаннее.

— Товарищ Хачик, а вы эти книги читали? — спросил Нерсэ, указывая на письменный стол.

— Говоря военным языком, — серьезно сказал Хачик, — эти книги — мои уставы. Жаль только, что я по-русски еще не все понимаю. Учусь помаленьку — товарищ Анна со мной занимается и Анаит, вот и Нора тоже.

— Упорный он человек, — не то с упреком, не то с уважением сказала Анаит.

— Человек, имеющий дело с растениями, должен обладать отзывчивым сердцем и твердой волей, — убежденно ответил Хачик. — А кроме того, он должен быть и жадным.

— Жадным?! — решительно воспротивился Нерсэ.

— Да, товарищ Нерсэ, по-своему — жадным. Я, конечно, не о деньгах говорю. А вот, сколько бы деревьев ни родило плодов, ты должен говорить: «Нет, мало, мало!»

— В этом смысле вы, наверно, очень жадный человек, — засмеялся Нерсэ.

— Есть грех, — согласился Хачик. — Будь у меня возможность, я бы привил всем деревьям в наших

лесах яблоню или грушу. Чтобы повсюду росли «пионеры», «воскепайлы» и «иоры».

— Мне иногда кажется, — чистосердечно призналась Анаит, — что он из-за своих саженцев и прививок когда-нибудь с ума сойдет. Помню, когда у нас в деревне еще не было воды, он целыми днями строил планы, откуда бы ее подвести сюда — с какой горы, из какого родника, рассуждал, где пройдет канал...

— А мы в то время только поженились, — смеясь, добавил Хачик.

— Да! И ты не столько обо мне думал, сколько о воде.

— И о деревьях... Да я и сейчас, если бы не мои деревья, поехал бы в Туркмению превращать пески в цветущие края. Ведь иной раз посмотришь на карту — и сердцу больно становится, что есть еще у нас пустыни и необработанные земли.

— Что ж, бери на спину свои саженцы и отправляйся в Каракумы, — предложила с улыбкой Анаит.

— А что ты думаешь? За мной дело не станет. Но даже если не я сам, так уж мои саженцы обязательно туда отправятся. Будут и в Каракумах расти «воскепайлы». Обязательно будут!

— Видали! — с напускной строгостью сказала Анаит. — И всегда он так. Сидит у себя в Чорацаре, а думает о Голодной степи, о Каракумах. А иногда до того доходит, что мечтает и Сахару озеленить.

— Да, наши пустыни последние годы доживают, а в капиталистических странах об этом и не помышляют. Там власть имущие другим заняты — как бы цветущие страны превратить в пустыни. Вот они к чему стремятся, — гневно сверкнул глазами Хачик. — Только не выйдет у них! — решительно добавил он.

— Беспокойный вы человек, — с уважением посмотрел на Хачика Нерсэ.

— Если мичуринец не будет беспокойным — у него весной деревья не зацветут.

— А есть тут, в Чорацаре, еще такие же беспокойные мичуринцы, вроде вас? — спросил я.

— Есть! — воскликнул Хачик. — Куда беспокойнее меня есть...

— Значит, я могу надеяться, что моя лекция многих заинтересует?

— Ручаюсь вам, что в клубе негде будет иголке упасть. Чорацарцы изголодались по лекциям, редко они у нас бывают — в месяц раза два, не больше.

— Вы считаете, что этого мало?

— Это все равно, что жаждущему — две капли воды. А тут родник нужен, обильный родник.

Мне хотелось расспросить Хачика поподробнее, но тут я заметил, что Нерсэ почему-то становится все более мрачным и неразговорчивым. Очевидно, он устал и его клонило ко сну. Хачик тоже обратил на это внимание.

— Анаит, товарищ Нерсэ хочет лечь, — сказал он.

— Пожалуйста, пожалуйста, все готово.

Нерсэ не возражал. Я мог бы слушать Хачика хоть до утра, но не хотелось утомлять его.

Пожелав хозяевам покойной ночи и поблагодарив их, мы вошли в комнату, которую указала нам Анаит.

— Приятных вам сновидений! — сказал Хачик. — Утром продолжим нашу беседу и я покажу вам план своей книги.

Мы остались вдвоем и некоторое время молчали, глядя на веселые обои, внезапно ожившие при электрическом свете. Казалось, что «жадный» мичуринец в изобилии украсил свои стены живыми цветами.

Нерсэ небрежно швырнул свой огромный портфель на стул. Лицо у него было грустное.

— Ложись спать, — сказал я. — Ты, видно, устал здорово.

Но мысли его были далеко, и он не ответил мне. Он был явно чем-то удручен и, пока я раздевался, не проронил ни слова.

— Покойной ночи, — сказал я, укрываясь одеялом.

Сначала перед моими глазами возникло чудесное яблоко «нора», одиноко висевшее на дереве в огромном саду, потом его вытеснила Нора со скрипкой в руках... Я заснул, позабыв о Нерсэ.

Затрудняюсь сказать, сколько времени я спал. Разбудил меня какой-то шорох, словно в углу мыши грызли бумагу.

Я приподнял голову. Велико же было мое удивление, когда я увидел Нерсэ, стоящего у открытого окна. Судя по всему, он так и не ложился. Это было странно — ему еще в машине хотелось спать.

— Нерсэ!

Вместо того чтобы обернуться, он вытащил из своего портфеля кипу исписанных бумаг, с ожесточением изорвал их и выбросил за окно.

— Нерсэ! Что ты делаешь?

Молчание.

— Послушай, ты что, лунатик?!

Он опять запустил руку в портфель, снова вытащил оттуда листы исписанной бумаги, покачав головой, яростно разорвал их и с отвращением выкинул. Портфель, лежавший возле него на стуле, опустел и утратил свой внушительный вид.

Нерсэ стоял у открытого окна, будто хотел проследить за клочками бумаги, гонимыми в темноте осенним ветром.

— Послушай, дружище, что это ты там подверг уничтожению?

Нерсэ бессильно опустился на стул.

— Роман, — подавленно отозвался он.

— Какой роман?

— Два года... два года я работал, вынашивал, обдумывал...

— Зачем же на ветер бросил? Кто тебя заставил?

— Все — они...

— Кто?

— Хачик, Анаит, Нора...

— Какая Нора — девушка или яблоко? — попробовал я развеселить его.

— Обе, но больше — девушка, — горько улыбнулся Нерсэ. — Они открыли мне глаза.

— Но что общего между ними и твоим романом?

— В том-то и беда, что нет ничего общего.

— Послушай, Зенон с портфелем, оставь свои афоризмы и ложись-ка спать.

— Не могу я спать.

— Зря ты последнюю стопку выпил.

- Как слепой был...
- Это ты о чем?
- О романе, конечно.
- Как же назывался твой роман? — спросил я, чтобы не молчать.
- «Цветы любви».
- Что ж, звучит романтично. О чем ты писал?
- Обо всем, чего теперь, оказывается, нет в деревне... Кто бы мог себе представить, что в каком-то Чорациаре я найду скрипку и пианино, встречу Чайковского и Спендиарова, Мичурина и Лысенко, наконец всю эту семью... Черт возьми, ведь, если задуматься, мой роман был не что иное, как пародия. Неграмотный пастух безнадежно влюбляется в киноактрису, приехавшую в деревню сниматься на берегу озера... Играет ей на свирели, собирает цветы... А, чего там! — махнул рукой Нерсэ и бросил злобный взгляд на портфель. — Давно мне говорили: «Поезжай на завод, в колхоз, посмотри...»
- Да, жаль, — сказал я. — Не следовало рвать. Нужно было сжечь. Ветер может отнести страницы на колхозную ферму, и пастухи, чего доброго, прочтут твоё произведение.
- Подумать только, два года сидел и писал!
- А ты теперь напиши об этой семье. Неплохой роман может получиться. Только, смотри, убереги Нору от любовных приключений, ей всего шестнадцать лет, и она еще должна учиться. А что касается твоих цветов любви, то считай, что они поблекли, еще не распустившись.
- Ты еще издеваешься надо мной!
- Нисколько.
- Да пойми ты мою трагедию: два года писать, чтобы в одну ночь все пошло насмарку.
- Значит, одна ночь дала тебе больше, чем многие годы. Ты был как улитка в раковине...
- Да, ты прав... Понимаешь, я приехал в Чорациар, чтобы прочесть свой роман колхозникам. Я был уверен, что о нем здесь выскажут самое лучшее мнение и я, вооруженный всесильными справками и отзывами своих, так сказать, героев, быстро вернусь в город. —

И Нерсэ снова бросил злой взгляд на свой опустевший портфель.

— Теперь я понимаю, какое сокровище ты сюда вез. Ну, не горюй, поживи здесь, познакомься с людьми, может быть, вывезешь отсюда истинные драгоценности.

— Ты не помнишь, как называется та мелодия? — рассеянно спросил Нерсэ.

— Какая?

— Та, что мы слышали, подходя к деревне, еще в поле.

— «Концерт сверчков»? — улыбнулся я.

— Нет, правда, та, которую играла Нора?

— «Рассвет в Мргашате», ее собственного сочинения.

— «Рассвет в Мргашате», — задумчиво повторил Нерсэ и, посмотрел в окно, где уже обозначилась заря.

Осенний ветер, точно разозлившись на «Цветы любви», гнал клочки бумаги все дальше и дальше от деревни. С улицы в комнату вливался поток чистого холодного воздуха, напоенного нежным ароматом спелых плодов. Возникшие где-то неподалеку шум моторов и сигналы машин возвещали близкий рассвет.

Будто обиженные на неугомонных шоферов, пронзительно и долго кричали на крышах петухи. Горделиво потряхивая своими гребешками, они хлопали крыльями и разгребали землю на кровлях, грозя тем, кто осмелился еще до них нарушить утренний покой. Тщетно силились они заглушить все прочие звуки и восстановить свой былой авторитет.

Но в деревне словно и позабыли о петухах. Прозвонили в домах будильники, пробили стенные часы, и сразу началась веселая переключка людей и машин.

В открытое окно был виден Чорацар, вернее — Мргашат, пробуждающийся от мирного сна. Колхозники спешили на работу. Отовсюду доносились человеческие голоса, слышалось тарахтенье двигателей, раздавались топот копыт и скрип колес, будто вся деревня пошла в наступление.

А в саду на деревьях обозначились спелые пло-

ды, — предутренняя мгла медленно расступалась, вытесняемая алым светом зари.

По дороге промчался и сразу скрылся за деревьями маленький «Москвич». Наверно, он приехал за Норой.

Счастливая девушка!.. Когда-то она играла здесь в куклы, а отец возил со своими саженцами, с нежностью поглядывая на маленькую дочку, слушая ее детское пение...

Прошли годы. Теперь Нора учится в Ереване, а скоро уедет в Москву. Там она будет чувствовать себя такой же родной для всех, как и любой москвич в Чорацаре.

И, кто знает, может быть, там, в столице нашей родины, «Рассвет в Мргашате» прозвучит с большой эстрады для сотен отзывчивых слушателей.

Мне вспомнилась вчерашняя мелодия, и сразу в нее вплелись несущиеся из репродуктора уверенные звуки позывных московской радиостанции. Они знаменовали собой начало нового трудового дня, устремленного к миру и счастью.



ГАРЕГИН БЕС

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

1

Никита Никитич очень любит читать газету. Его рабочий день начинается газетой и кончается газетой. Если он не отвечает на телефонные звонки, в общем отделе все молчат, все молчит: сотрудники знают, что в этот час руководитель их учреждения, сидя в мягком кресле за большим письменным столом, читает газету.

Получив свежую газету, Никита Никитич не заглядывал ни на первую, ни на последнюю страницы газеты, оставляя это дело руководящим товарищам и любителям международной жизни. Он интересовался только второй и третьей страницами, где печатались критические материалы. Ах, эти критические материалы!

Руководитель артели зачитывался ими до того, что иногда знал их наизусть и делал из них выписки в свой блокнот.

И когда на правлении или даже в их небольшой артели на каком-нибудь собрании Никита Никитич поднимался на трибуну, он доставал из своего бокового кармана блокнот и произносил такую речь:

— Заведующий цехом текстильного комбината

Ленниакана Согомон Карапетян выпускает брак... Председатель колхоза села Кохп Ноемберянского района Джанибекия присвоил общественную собственность... Бухгалтер швейной фабрики Еревана совершил злоупотребления...

Он перелистывал свой блокнот, перечислял множество фактов, имен, затем, ударив кулаком о трибуну, восклицал:

— До каких пор, до каких пор эти люди будут занимать доверенные им посты!

2

Однажды Никита Никитич встретил одного из своих знакомых, которого несколько дней тому назад сильно покритиковали в газете.

Лицемерно выражая сочувствие приятелю, он спросил его:

— Что это о тебе пишут в газетах, приятель?

По тону Никиты Никитича приятель понял истинное отношение к себе и, не задерживаясь, ответил:

— А о тебе и этого не пишут.

Никита Никитич ничего не ответил, и они молча разошлись.

Действительно, о нем в газете ничего не писали. Когда корреспонденты начинали собирать факты о его плохой работе, еще не успев опубликовать их, узнавали, что Никита Никитич уже снят с поста и переведен на новую, менее ответственную должность.

Факты и документы откладывались в сторону, и задуманная статья оставалась ненаписанной. Но он об этом не знал и потому ни о чем не беспокоился.

Дни проходили один за другим, и, как мяч, катился Никита Никитич от одной должности к другой.

3

Когда утром Никита Никитич вошел в свой кабинет, там уже на письменном столе лежала свежая газета.

Он сел в кресло и взял газету в руки. В общем отделе все притихло; машинистка оставила недописанную страницу, бухгалтер перестал щелкать счетами.

Вдруг кресло заскрипело, казалось — от радости заскрипело сердце Никиты Никитича.

Он достал из кармана платок, вытер капельки пота на лбу и пожалел, что не носит очков, иначе он бы имел удовольствие протереть их теперь.

— Так, так, мой друг, и ты попал в мой блокнот, — почти громко заговорил он и погрузился в чтение статьи, напечатанной на второй странице.

Статья была о крупном соседнем заводе и его директоре Айдиняне. Вначале директора немного похвалили (Никита Никитич эту часть статьи только просмотрел). Он ввелся глазами в последнюю часть статьи, где Айдиняна критиковали.

Ну и корреспонденты! Пусть теперь Айдинян оправдывается, если сможет. Он очень зазнался. Был заведующим цехом, потом стал заместителем директора, а теперь уже директор завода. Нет у него никакой скромности!

Ну, как ты теперь себя чувствуешь, товарищ Айдинян? Молодец, тысячу раз молодец С. Сирунян, хорошо написал. Острый у тебя язык и перо острое.

В то время, когда Никита Никитич ездил в «Победу», ты, товарищ Айдинян, шел на работу пешком. Теперь у тебя «Победа», но и ты, как Никита Никитич, скоро всю свою надежду возложишь на собственные ноги.

Никита Никитич всегда как-то попадал в среду людей драчливых, беспокойных. Удивительно, что таких людей держат на работе, даже выдвигают их, а вот его почему-то все время перебрасывают с одной должности на другую.

Только теперь он попал в среду мирных людей и может свободно дышать. Вот, например, его секретарь и управляющий делами. Есть ли у женщины время беспокоить кого-нибудь, если весь день она занята губной помадой и пудрой? Или бухгалтер Санасар Сирунян — как он любит свои цифры и счета! Инте-

ресно, вообще волнует ли его что-нибудь, кроме его бухгалтерских дел? Или, например, курьер Каро и уборщица тетя Соня. Скажите, пожалуйста, кого курьер и уборщица могут беспокоить? С такими людьми можно работать вечно.

С улицы послышался гудок автомашины, и нить мыслей Никиты Никитича прервалась. Он быстро встал и подошел к окну.

Машина Айдиняна остановилась у ворот завода, находящегося напротив артели.

Никита Никитич раскрыл окно.

— Здравствуйте, товарищ Айдинян! — крикнул он выходящему из машины человеку.

— Здравствуй, дорогой мой, — ответил Айдинян.

— Как вы себя чувствуете? — с невинной улыбкой спросил Никита Никитич.

— Хорошо, мой дорогой, очень хорошо.

Никита Никитич высунул из окна руку с газетой.

— Не хотите ли? — спросил он. — Мне кажется...

— Спасибо, — прервал его Айдинян и тоже достал из кармана газету. — Очевидно, вы имеете в виду статью обо мне. Я уже читал.

— Скажите, пожалуйста: может быть этот С. Сирунян имеет с вами личные счета?

— Дорогой мой, только друг может так критиковать, — сказал Айдинян и ушел.

Никита Никитич прикрыл окно и вернулся на свое место.

«Утешайся, Айдинян, утешайся, считай критика своим другом, а нанесенный тебе удар прими за поцелуй...»

Он взялся за телефонную трубку, чтобы позвонить домой, но, вспомнив, что дома сейчас никого нет, нажал кнопку электрического звонка.

— Посетителей выпроводите, — сказал он показавшейся на пороге секретарше. — Сегодня никого принимать не буду. Пригласите всех зайти ко мне. Есть важное дело.

Через несколько минут бухгалтер Санасар Сирунян, секретарша Марго и курьер Каро сидели в его кабинете.

— А где тетя Соня?
— Ушла домой, — ответила секретарша.
— Каро, пойди и позови ее, ее дом рядом.
— Правда, товарищ Сирунян, жизнь стала веселой? — обратился он к бухгалтеру.

— Конечно, веселая, — ответил бухгалтер.
— А ты спрятался за свои цифры и счета и не видишь, что делается кругом. Так нельзя, мой друг, нельзя. Кто знает, может быть, ты даже газет не читаешь?

— Изредка читаю.

— Надо не изредка, а жить и дышать газетой.

Наконец появилась тетя Соня.

— Здравствуй, тетя Соня! Как ты себя чувствуешь? — обратился к ней Никита Никитич. — Садись. Тебе тоже надо интересоваться общественной жизнью. Мы сегодня должны прочесть одну очень хорошую статью. Товарищ Марго, читайте, а мы все послушаем, — сказал он и передал секретарше газету, показав статью, обведенную красным карандашом.

Секретарша посмотрела на статью, на бухгалтера Санасара Сируняна, затем повернулась к Никите Никитичу и сказала:

— Мы все уже читали ее.

— Очевидно, по одному разу и каждый про себя, — невозмутимо заметил Никита Никитич. — Какое удовольствие читать статью вполголоса. Такие статьи должны читаться громко, о них надо кричать, чтобы весь мир слышал...

Когда статья была прочитана, он спросил:

— Все понятно или еще раз прочесть?

— Понятно, понятно! — закричали сотрудники.

— Прекрасно. — Никита Никитич потер руки. — Но не нужно довольствоваться только чтением этой статьи. Газета печатает такие статьи не для того, чтобы их прочли и забыли. Надо сделать соответствующие выводы, соответствующие заключения. Не так ли, товарищи?

— Правильно, правильно!

— Стало быть, в чем заключаются эти выводы, которые мы должны сделать для себя? Прежде всего —

Мы должны эту газету повесить на стене в нашей конторе, на видном месте, чтобы все посетители имели возможность прочитать ее. Во-вторых, надо, чтобы все наши знакомые, знакомые знакомых, родственники и друзья в своей среде распространяли эту статью. В третьих, очевидно, эта статья будет обсуждена на заводе у Айдиняна. Мы должны точно знать час и время этого обсуждения и послать нашего уполномоченного туда, чтобы высказать на том собрании наше возмущение. Мне кажется, что это поручение мы могли бы просить взять на себя Санасара Сируняна. Иди, дорогой Санасар, и как громко звучат косточки твоих счетов, так же громко ты прижми этого так называемого руководителя. Ну, теперь вы все свободны, можете разойтись.

— И только? — удивленно спросила тетя Соня.

Никита Никитич с улыбкой посмотрел на уборщицу.

— В дальнейшем, тетя Соня, мы еще кое-что прибавим, — сказал он. — Молодец, что проявляешь такую активность.

Он довольным и спокойным взглядом проводил своих сотрудников. Вот люди, которые понимают своего начальника, ценят его и помогают ему!

Когда Никита Никитич остался один, он достал из бокового кармана блокнот, спокойно перелистал его, пересмотрел свои богатства и на отдельной странице прибавил новый факт.

На улице послышался гудок автомашины. Никита Никитич поднялся со своего места и посмотрел в окно.

У ворот завода показался Айдинян и направился к машине. Вдруг он увидел кого-то и остановился.

Никита Никитич, боясь, как бы его не заметил Айдинян, отошел от окна и внезапно увидел, что через улицу к заводу идет его бухгалтер Санасар Сирунян.

Айдинян крепко пожал руку бухгалтеру, и оба сели в машину.

Никита Никитич остолбенел: с каких пор Айдинян и его бухгалтер Санасар Сирунян стали друзьями? Санасар Сирунян... Сана... Сирун...

— Ох, какой я глупый, — сказал он, — оказывается, корреспондентом-то был этот Санасар, а я...

Он быстро встал и сейчас же пошел в общий отдел; надо было немедленно сорвать газету со стены, чтобы не только Айдинян, но и этот скромный и мирный, как казалось ему, Сирунян не оставили следа на стене.

— Это ты хорошо сделал, Никита Никитич, — сказала уборщица тетя Соня, увидев, как их начальник срывает с доски объявлений газету.

— Как? — обращаясь к уборщице, спросил начальник.

— Я говорю: ты хорошо сделал, что сорвал газету, — спокойно заговорила тетя Соня. — Нам это не к лицу. Нам подходит вон та стенная газета, которая висит рядом.

На самом видном месте общего отдела висела стенная газета, рядом с которой была вырезка из газеты, также обведенная красным карандашом и многочисленными подчеркиваниями.

Никита Никитич подошел к вырезке из газеты.

Боже мой, откуда газета знала о том, что происходит у них в артели, что так подробно описала все в своей передовой «Правильно распределять кадры»? Ну и нашли заглавие! Здесь говорилось также и о других руководителях, но то, что было сказано о нем, было сурово, даже смертельно. Газета писала, что он всюду проваливает дело, что такого человека, как он, надо направить на рядовую работу, а не на...

Садясь на первый попавшийся стул, он, задыхаясь, спросил у уборщицы:

— Кто повесил эту статью?

— Товарищ Марго, — ответила тетя Соня, — и хорошо сделала, а то сами имеем бревно в своем глазу — и замечаем соринку у других.

Грустно посмотрев на уборщицу, Никита Никитич еле смог прошептать:

— Нет, как я вижу, и ты стала корреспонденткой, тетя Соня.



А Б И К А В А К Я Н

БЕГСТВО

Две недели тому назад фабрикант Марк Зограбян, полный, низкорослый человек в золотых очках, застигнутый проливным дождем на охоте в Верхнем Кёле, постучал в дверь мельницы. Мельник Даниел приютил фабриканта, почистил его одежду и обувь и предложил ему свой скромный обед.

— Спасибо, — улыбнулся Зограбян, и Цолак впервые в своей жизни увидел ряд блестящих золотых зубов.

Потом Даниел и Зограбян беседовали о селе, о мельнице, о помолах, о войне...

Даниел Зограбяна знал давно. Раза два в год фабрикант отправлял на мельницу Даниела возы пшеницы и взамен платы за помол давал ему с фабрики один-два ящика краски для обуви, не имеющей сбыта на рынке. Это, конечно, была неподходящая плата — но время ли было об этом говорить? Как-никак Марк Зограбян влиятельный человек, он когда-нибудь пригодится. Мельник эти краски передавал сапожнику Расулу за починку обуви своей и сына.

— Приведи его ко мне, Даниел, — показывая на Цолака, сына мельника, сказал Зограбян, уезжая с мельницы. — При деле будет, в люди выйдет. А то что он тут будет делать у тебя?

И вот теперь Цолак, рябой и смуглый десятилетний мальчик с испуганными глазами, с утра до ночи суетится в доме Зограбяна.

Двухэтажный кирпичный дом Зограбяна находился на окраине Казвина. Вокруг была желтая земля и камень, покрытые кустарником, и сад и дом Зограбяна, окруженные низкими глинобитными стенами, казались издали оазисом. Фабрика была недалеко от усадьбы, и каждый раз Марк Зограбян, возвращаясь домой, проклинал своего отца за то, что он построил дом так далеко от города.

Цветы окружали дом с трех сторон и почти закрывали первый этаж. Перед входом в тени четырех ив гнила позеленевшая вода бассейна. В Казвине с водой было плохо. Листья черешен и яблонь, еще не распустившись, начинали желтеть. От гнилого бассейна узкий канал тянулся до ворот на улицу. У ворот находились кухня и помещение для дров, где горничная и повар, стараясь рассеять послеобеденную скуку, непрерывно сплетничают. В западной части сада оставлены без присмотра грядки; здесь стоит сплетенная из ветвей желтозеленая беседка. Обычно днем в ней младшая дочь фабриканта Асмик, заглядывая в словарь, читает французские романы и мечтает, а по ночам Андре, сын фабриканта, назначает свидания дочери городского головы Мине.

Марк Зограбян с головой погружен в свои счета. Он очень недоверчив, не доверяет даже своей жене, мадам Анне, и поэтому с рассвета до захода солнца не знает покоя. В широкополой соломенной шляпе, с засученными до локтей рукавами, этот распухший от жира больной человек постоянно бежит с фабрики домой, а из дома на фабрику. По ночам он стоит на коленях перед иконой, а днем кнутом бьет рабочих. Непорядки в делах часто доводят его до сумасшествия. Дома он беспокоится о фабрике, когда же бывает на фабрике, его всегда преследует мысль, что дома повар и горничная обкрадывают его. Но больше всего причиняет ему забот старший сын Андре; он готов украсть глазные веки. Достаточно оставить его на один

день без надзора, как из дома исчезают ковры или к отцу является кредитор с векселем в руках.

А дома непрерывно гостят знакомые, приехавшие из Тегерана и бог знает откуда. Они одолевают Зограбяна. Приезжают товарищи Андре поохотиться на горного козла и ведут себя так, словно находятся в собственной спальне. Приходят подружки Асмик, родители мужа старшей дочери Нвард, приезжают родственники. Приезжает городской голова с семьей...

В шести комнатах этого дома постоянное жужжание, от которого голова идет кругом. Всю ночь горят огни, как на свадьбе, повар Мнацакан и горничная то и дело приносят кушанья или бегают в погреб за вином, а Цолак в ситцевой рубашке, в недавно полученных больших башмаках бегают туда и сюда и старается как можно громче стучать ими, чтобы этот дьявольский сон не наседа на его широко раскрытые глаза.

Гремят радиоприемник и патефон, пары кружатся и в верхнем зале, и на балконе, и на террасе. К расцвету гости расходятся или засыпают где попало.

Перед обедом Зограбян просыпается от сильной головной боли (летом обычно он засыпал в саду), ощупью находит на стуле свои очки, морщась, осматривается, потом надевает халат и поднимается в комнату.

В спальне на широкой кровати спит мадам Анна. При ярком свете, проникающем через окно, ясно видны морщины на ее лице. Крашенные волосы имеют какой-то неприятный оттенок. Воздух спальни насыщен запахами вина и пота. Все это и еще головная боль приводит фабриканта в бешенство. Схватившись за голову, он кричит:

— Вставай, хватит спать!

Анна, потягиваясь, садится в постели и, позевывая, говорит:

— Что случилось, почему кричишь?

— Полдния прошло, а тут еще спят. Ох, — вздыхает он, — голова трещит у меня.

В темносером халате он ходит по комнатам. Все спят, кругом все разбросано, все перепутано. На полотняных чехлах кресел, на столах лежат окурки,

спички, пепел, кожа апельсинов, разбитые тарелки. На стеклах окон и на абажурах образовался слой пыли... Все это невыносимо, и Марк Зограбян так кричится, словно его тошнит.

Он выходит во двор и садится на ступеньки крыльца.

Начинается дневной зной. Во дворе стоит кислый запах воды, деревья так пожелтели, словно предвещают начало осени.

К деду подбегает пятилетний внук Алеко, с растрепанными волосами, невымытый, в мокрых ботинках; он бросается к Зограбяну и говорит:

— Дедушка, скажи Цолаку, пусть возьмет меня на спину.

— Убирайся! — зло говорит Марк. — Пойди к бабушке, пусть вымоет тебе мордочку.

— Дедушка...

Постепенно в доме начинают просыпаться. Горничная, повар и Цолак засуетились. Снова звенят бокалы. Нвард беспрерывно кричит на ребенка:

— Алеко, не делай этого!.. Алеко, не прикасайся к этому... Алеко, этого нельзя... Алеко...

Уже десятый раз несут самовар, чтобы подогреть его, и десятый раз накрывают стол и собирают с чайного стола. У всех на лицах и в глазах какая-то тупая усталость, ни у кого нет аппетита. Едят словно по обязанности.

Позже всех просыпается Андре. Еще не раскрыв глаз, он зовет:

— Гей, Асмик, Нвард, мама, кто там, мне стакан кофе!

Или:

— Одну папиросу, черт вас побери!

Потом начинается обычный спор. Андре должен вечером идти к городскому голове играть в карты, но у него нет денег. Заложив руки в карманы брюк, с папиросой во рту, он останавливается перед отцом.

— Ну, что? — не глядя на сына, мрачно спрашивает Зограбян.

— Мне срочно нужны деньги.

- Нет у меня.
- Ну, ну, я серьезно говорю.
- Нет у меня.
- Есть.
- Нет у меня, убирайся.
- Если не дашь, застрелюсь.
- К черту, застрелись.

За Андре, прыгая через две ступеньки, вбегает в дом. с ним бежит мать.

- Ну, Андре, не делай глупости!
- Застрелюсь, мама, честное слово, застрелюсь.

Из ящика письменного стола он достает револьвер без патронов.

- Андре, сжался хоть над матерью, боже мой!..

- Застрелюсь.

- Хорошо, хорошо, подожди, я сама дам тебе, только чтобы отец не узнал.

После обеда фабрикант по привычке садится с товаром и производит расчеты. Снова начинается спор. Зограбян снимает очки с золотыми ободками и кричит:

- Пятнадцать килограммов мяса! Так разве там было пятнадцать килограммов?

Или:

- Семнадцать бутылок вина! Чтоб вы провалились! Что это, свадьба ваших родителей?

- Что мне делать, — оправдывается Мнацакан, — младший барин распорядился.

- Чтоб тебе и твоему младшему барину... Вы меня разорили, хватит!

Шлепая туфлями, спускается вниз мадам Анна.

- Слушай, говори немного тише, твой голос слышен во всем городе, стыдно.

- Что стыдно? Прекратите эти кутежи, мы уже разорились.

- Ладно, ладно, — успокаивает жена. — Сватья на верхнем этаже, услышит, оскандалимся, боже мой...

- Сватья, сватья, — кривится Зограбян и, бормоча, уходит.

В течение всего дня эти люди от скуки либо

ссорятся и говорят друг другу грубости, либо молчат, либо едят, либо плачут. Всегда плачет Асмик: когда просит что-нибудь покушать, когда небо покрыто тучами или по радио в полночь передают меланхолический романс. Мадам и Нвард, даже повар, горничная и Цолак приходят в ужас, когда Андре, приставив к виску пустой револьвер, угрожает:

— Покончу жизнь самоубийством...

Когда же его желания исполняют, когда мать или старшая сестра Нвард всовывают в его карман кучу смятых бумажек, он удивительно быстро забывает свое решение и свистит какой-нибудь вальс.

Наступает вечер... Цолак видит, как все предметы начинают необычайно расширяться. Все в этом сером вечернем тумане — и тени и блестящие лампы становятся пышными, широкими; эти лампы сейчас загорятся, как огромный костер, который качается и равномерным шумом убаюкивает Цолака.

— Спать, спать...

Но спать нельзя, кто знает, может быть, придут гости. Цолак, опираясь спиной о стену, стоит на страже, как солдат, и испуганно разглядывает окружающие предметы, моргая глазами, чтобы отогнать сон.

Асмик с книгой в руке выходит из беседки и шагает, как лунатик, сама не зная, куда и зачем. Вслед ей плаксиво кричит мать:

— Асмик, Асмик, милая, покушай что-нибудь, ради бога!

Зограбян возвращается с фабрики, садится за стол и нервно начинает считать на счетах.

«Возможно, Андре не вернется ночью домой», — думает он.

Нвард кричит на ребенка:

— Что ты вытаращил глаза? Усни! Усни! Бывают же такие дети!

Для Цолака наступает самый желанный час. Легко, как вуаль, окутывает все мрак. Мальчик смотрит на неподвижные деревья, и в его испуганных глазах появляется усталая полуулыбка. Охваченный страхом, он стоит на ступеньках, пока кто-нибудь из этих людей не скажет:

— Убирайся в сарай, вероятно, сегодня ночью гостей не будет.

Цолак срывается со своего места и, постукивая каблуками, бежит в сарай.

Вскоре всюду гаснут огни и в глубокой тишине двора слышится громкий храп уснувшего Зограбяна.

В сарае Цолак не один. Здесь у дверей растянулась дворняжка и, высунув язык, тяжело дышит. Цолак гладит ее большую голову, грязную спину; собака от удовольствия бьет своим жестким, как полено, хвостом о землю и поднимает пыль.

Цолак ложится на соломенный тюфяк и пытается преодолеть сон. После дневного оглушающего и оупляющего шума что может быть приятнее возможности растянуться на спине, глядеть на закопченный потолок и вспоминать Верхний Кёл и все, что связано с ним.

Рядом с мальчиком на толстом пне тускло блестит желто-красный свет лампы. В неверном свете колеблются черные тени предметов. Веки у мальчика становятся тяжелыми; полусонному Цолаку храп Зограбяна представляется удивительным — будто кто-то вдала палкой бьет по двери... Но нет, это его отец Даниел; он рычагом пробует поднять жернова, затем широкой ладонью стряхивает с лица муку и говорит: «Цолак, мы должны перевернуть этот камень». — «Перевернем, апи», — шепчет Цолак.

Где-то вдала слышен голос сапожника Расула: «Эге-ге, братец Даниел! Вон идет сельский старшина Гули-хан».

Даниел бросает в сторону рычаг и ругается: «Тьфу, чтоб он провалился, выродок сатаны!»

Цолак от волнения просыпается. Воцарилась глубокая тишина, не слышно даже храпа Зограбяна, и Цолак думает: «Очевидно, его задушили воры».

Собака тяжело дышит.

Цолак хочет подняться, погладить собаку, но ноги не двигаются, он чувствует в них удивительную тяжесть.

Он снова начинает думать, вспоминает все подробно. Много есть о чем подумать. Его полужакрытые гла-

за тяжелеют, и он снова видит мельницу. У входа в мельницу показался сапожник Расул. Он плохо слышит. Даниел ему что-то говорит, а он непрерывно спрашивает: «Что, брат Даниел?» — «Гули-хан приказал повернуть течение воды, — покачивая головою, говорит Расул, — чтоб аллах свернул ему шею». — «К дьяволу его, если он повернул, — сердито бормочет Даниел, прикрепляя шнурки к лаптям. — Почему он повернул?» — «Что, братец Даниел?»

Даниел отталкивает в сторону стоявшего у входа сапожника, вместе с отцом выходит из мельницы и Цолак.

Жаркий полдень. Ослабевшие от жары птицы прячутся в зелени. В соседнем огороде, подняв вверх морду, мычит сытая корова. Вдали, за лесом тополей, лениво и мирно лают овчарки. Отец и сын идут по мокрому руслу реки. Дорогой Даниел останавливает какого-то старика с козлиной бородою: «Ами, где перекрыли воду?» — «Вон там, — еле говорит старик, — по ту сторону моста». — «Почему?» — «Не знаю. Там стоит сам волк, пойдй, может быть, ты узнаешь причину».

На мосту стоят Гули-хан и еще какие-то люди, налогосборщники, жандармы и собаки. Старшина кнутом бьет какого-то крестьянина и кричит на него. За мостом железной плотиной повернули течение воды, которая теперь, пенясь, течет вправо, мимо мельницы Даниела. С завистью Цолак смотрит на воду, изменившую свое русло. На горизонте чисто, прозрачно, тихо. Только дым фабрики Зограбяна выходит из высоких труб и чернит небо.

«С осени ты не платил ни одного медяка за воду, — слышен грозный голос Гули-хана. — Пока не расплатишься, не увидишь воды». — «Нет у меня денег, — говорит Даниел, — сам бог знает, что нет у меня денег». — «Не мое дело, — возражает старшина. — Пойди и достань».

Потом отец и сын возвращаются на мельницу и долго-долго молчат. Даниел курит, глубоко вдыхает дым и под нос бурчит: «Разнесу мельницу, собачьи дети!»

Расул, будто для того, чтобы позлить отца, снова переспрашивает: «Что, братец Даниел?»

— Парень, поднимись, поднимись! — слышит мальчик чей-то голос и вскакивает с постели. У дверей стоит Минацакан, засучив до локтей рукава. — Вставай, если господин узнает, что лампа горела до утра, он оторвет тебе уши. У собаки щенки.

Собака лежит на лоскутках и грязной вате, и в ее глазах выражение страшной усталости. Три щенка сосут ее. Цолаку хочется обнять их, приласкать, поцеловать, но со двора слышен голос горничной:

— Цолак, самовар!

Цолак бросается во двор. Начинается его ежедневная работа.

Через час все уже поднялись. Слышно непрерывное шлепанье туфель мадам Анны. Нвард кричит:

— Алеко, не трогай этих щенят!

Асмик, как кукла, неподвижно стоит у чайного стола и глазами лунатика смотрит в одну точку.

Зограбян в сером халате сидит на ступеньках с мрачным лицом. Алеко пристал к нему:

— Дедушка, скажи, пусть дадут щенят мне, дедушка.

Горничная несет щенят в фартуке. Собака идет за нею и своим толстым хвостом, как деревяшкой, бьет по ногам, стульям. Алеко берет в руки щенят, пытается пальцами раскрыть их закрытые глаза, поднимает их за ушки, смеется, когда они пищат.

Приходит Нвард и с отвращением заявляет:

— Их нужно выбросить.

Цолак с удивлением смотрит на эту сухую, костлявую женщину с глазами совы и думает: «Как выбросить, ведь они же подохнут с голоду?»

Вдруг у Алеко является дикая мысль.

— Дедушка, — обращается он к Зограбяну, — дай мы их утопим.

Цолаку кажется, что господин оттреплет Алеко за уши. Как можно топить щенят? Но Зограбян увлекся какими-то расчетами, через позолоченные очки он смотрит на внука, но не видит и не слышит его.

— Дедушка, — тянет Алеко.

— Что случилось? — вдруг говорит Зограбян. — Что ты пристал ко мне, как пиявка?

— Давайте их утопим... — наставляет Алеко.

— Хочешь топить — топи, — соглашается Зограбян. — Слушай, Цолак, принеси ведро воды.

Цолак стоит неподвижно, как каменный, и, удивленно раскрыв глаза, смотрит на очки господина. Зограбян кричит во все горло:

— Что ты как шило вытянулся! Оглух? Я же тебе сказал принести ведро воды.

Цолак берет ведро, наполняет водою и приносит.

Все остальное он видит, как во сне... Алеко всех трех щенят бросает в воду. Собака в ужасе бросается вперед, всовывает морду в воду, пытается вытащить щенят, но Зограбян палкой отталкивает ее в сторону.

Через одну-две минуты все кончено. Алеко достает щенят из воды и кричит:

— Дедушка, они издохли.

Он кладет их на кирпичи.

Цолаку кажется, что сейчас произойдет что-то страшное, перевернется мир, пойдет каменный град или придут какие-то люди, схватят этих палачей, отрубят им головы. Но ничего не случается. Собака подходит, долго обнюхивает щенят, потом поворачивается и уходит.

Откуда-то появляется Асмик, в руках у нее книга. Она смотрит на щенят и шепчет:

— Фу, противно.

И опять уходит, как лунатик.

— Слушай, Цолак, — возвращает к реальности Цолака хриплый голос Зограбяна. — Бери их и выбрось в мусорный ящик, потом сверху принеси мои счета и тетради.

Целый день Цолак бегают, не понимая, что он делает; все приказания он выполняет механически. Его пугает то, что эти люди способны на все. Они способны и его утопить в воде или где-либо в другом месте. За этот день он удивительно вырос, будто впервые увидел мир, и его нежные, худые плечи впервые почувствовали дьявольскую тяжесть жизни.

Его страх начал расти к вечеру, вместе с тишиной

и мраком, с таинственным шелестом листвы, со светом, который под видом дальних звезд мигает где-то.

В сарае они были снова одни — собака и оп... Лампа не горит. Их разделяет мрак.

Теперь в маленькой голове мальчика только одна мысль, упорная, сжигающая: бежать. Он съежился на матрасе, обнял дрожащие колени и оперся о стену. В сарае так темно, что в его глазах появляются силуэты каких-то картин. Он видит длинный ряд масличных деревьев, что тянется от фабрики до самой лестницы дома Зограбяна. Он ясно помнит весь путь до мельницы, ему кажется, что он может вернуться обратно с закрытыми глазами. Он видит мост, сожженную пустую чайхану, мечеть и наконец мельницу — молчаливую, безмолвную, без воды, любимое ореховое дерево, летом распространяющее по ночам опьяняющий аромат... Цолак все это так ясно, так красочно представляет себе, что по всему его телу проходит приятная дрожь.

Ощупью он находит спичку, зажигает лампу с закоптившимся стеклом, и мрак, который отделял его от собаки, улетучивается. Их взгляды снова встречаются, и печаль, которая светится в глазах собаки, постепенно передается мальчику.

Цолак весь превратился в слух. В тишине двора слышен равномерный храп Зограбяна. Мальчик бросает в сторону большие башмаки, откуда-то достает свои лапти. Теперь собака, приподняв голову, смотрит на своего товарища и как будто понимает все.

Цолак гасит свет, смотрит на темное окно, потом выползает из сарая.

Охваченный страхом, он теряется, не знает, куда идти, поднимается по ступенькам, останавливается там на одну-две минуты... В темноте на него глядят деревья, как старые ведьмы с распущенными волосами. Он осторожно поворачивается и, стараясь ступать тихо, чтобы не шуршали высохшие листья под ногами, идет к воротам.

В аллее под ивой на спине с раскрытым ртом лежит Зограбян и храпит. Рядом с кроватью на стуле графин с водой, тетради и очки. При виде их у Цолака

появляется мысль — отомстить. Он подходит к стулу, берет очки и бросается к воротам. Засов скрипит, ворота с легким скрипом раскрываются, и Цолак выбегает.

Стояла тихая августовская ночь. Казалось, ничто не может помешать этой тишине. На краю синего, глубокого неба плывут теплые, мягкие облака, и серп луны серебряным светом окрашивает их края.

Два беглеца — Цолак и собака — бегут к фабрике, к аллее масляных деревьев, ведущей к Верхнему Кёлу.

В начале аллеи они останавливаются. Мальчик вспоминает об очках, и от радости его сердце бьется сильнее. Он прячет очки в камнях и, облегченно вздохнув, продолжает свой путь.

* * *

Через час они уже были на мельнице. Мальчик худыми руками обнял отца и, крепко прижавшись к нему, зарыдал.

— Апи, больше меня туда не посылай... Оставь меня здесь... Если я что-нибудь плохое сделаю, сломай мне шею... Нет сил оставаться там...

Он больше не может продолжать. Слова его прерываются рыданиями, он дрожит всем телом.

Даниел готовит постель мальчику. Он мрачен, в его потемневших глазах тяжелая тоска. Он курит трубку, ходит по комнате и часто повторяет:

— Собачьи дети.

Собака лежит у двери, положила морду на лапы и следит за мельником. Она счастлива, будто понимает, что наконец и она нашла приют.

Даниел ложится спать. В домике воцарились тишина и мрак, но нет ужаса, нет черных теней. На улице, за окном, полуночный ветер играет листьями орехового дерева, шелест его веток мирен, он приносит спокойный сон.

Цолаку кажется, что он никогда не уходил отсюда и все те ужасы, что он видел и пережил, были только дурным сном. А что его ждет завтра, он об этом не

думает, да это и не важно. Сегодня он сразу стал взрослым и впервые в своей жизни научился ненавидеть. Сейчас его утешало только то, что он отомстил этому злому человеку. Возможно завтра Зограбян отплатит людям за ним, его найдут, побьют кнутами, но он не скажет, где спрятал очки. Сам сатана не найдет их, это его месть, его тайна, он не откроет ее, даже если против него встанет весь мир.

И от мысли, что Зограбян до конца своей жизни останется слепым, он улыбается и засыпает.



БЕНИК СЕЙРАНЯН

ДОЧЬ МИЛЛИОНЕРА

1

Не то от горного холодного воздуха, не то от непривычной обстановки, Сосьян не мог долго спать. Он встал с постели на рассвете, оделся и бессумно вышел.

Узкая зигзагообразная тропинка вела его к поднимающимся не遠деке строениям фермы. Вскоре он потерял тропинку и начал шагать по траве. Почувствовав под ногами бархатную мягкость, он стал двигаться более осторожно.

Дойдя до вершины горы, Сосьян изумленно остановился и посмотрел вокруг себя.

С гор и ущелий, покрытых лесами, с лугов постепенно исчезал туман; открывшаяся перед ним панорама поразила его своим величием.

Именно в таком уголке мечтал жить Сосьян; именно в таком месте, вдали от городского шума, где он мог бы хоть один месяц полностью отдохнуть после бессонных ночей, проведенных за бухгалтерскими книгами, на некоторое время освободиться от запутанных счетов, заполнивших его мозг и глаза цифрами, цифрами и еще раз цифрами.

Сосьян перешел на другой склон горы, где паслось стадо.

На темносинем фоне покрытой росой травы, как огоньки, блестели шкуры тучных коров. Вымя каждой из этих коров было похоже на огромный бурдюк с выпуклыми сосками, из которых иногда падали на цветы и траву капли молока.

Издали слышен был рев быка, видно было, как он своими перламутровыми рогами рыл землю и бросал ее вверх. Его гладкое, упругое тело, морщинистая крутая шея, золотистого цвета родинка на лбу, покрытые черным ободком блестящие глаза придавали его телу величие и дикую красоту.

Бык не пасся. Он, как бдительный страж, ходил вокруг стада, иногда разъединял дерущихся бычков, снова проходил вперед, выпуская облако пара из своих широких ноздрей. Сосьяну невольно захотелось увидеть его поближе. Только он спустился к стаду, как с ужасом заметил, что бык остановился, высоко подняв голову, понюхал воздух и медленно двинулся к нему. В глазах этого гиганта была злость очковой змеи. Сосьян вздрогнул. Ему показалось, что один из страшных утесов сорвался с места, катится вниз, чтобы смять его худое, высохшее тело.

Чувство самосохранения застало Сосьяна повернуться и побежать. Второпях он споткнулся, упал, покатился в траву и попытался бежать на четвереньках, ежеминутно ожидая страшного удара быка.

Трудно сказать, что бы случилось с ним, если бы в ту же минуту его слуха не коснулся звонкий женский голос. Из-за кустов вышла молодая девушка, неся с собою охапку свежих веток.

Сосьян обернулся. Бык остановился.

Девушка с удивительным хладнокровием подошла к быку, погладила его шею, лоб, глаза, затем взялась за его остrokонечные рога, потрясла, обняла быка за шею и с улыбкой посмотрела на Сосьяна.

Животное, недавно еще охваченное дикой злобой, теперь смиренно стояло около девушки и лениво жевало сочные листья из ее рук.

Сосьян не мог скрыть своего смущения. Его лицо,

руки, костюм были мокрые, в траве, тело еще продолжало дрожать; чтобы сдержать эту дрожь, он начал стряхивать с себя траву и с опаской посмотрел на девушку. Она смеялась, показывая белые зубы. Сосьян почувствовал, что она смеется над ним, и от стыда вспотел.

В самом деле, какой позор... Стоит ли терять самообладание и падать на землю из-за какого-то быка.

Но теперь было все равно; Сосьян не мог скрыть своего позорного положения. Это еще ничего, но девушка, вероятно, расскажет об этом случае работникам фермы; они будут смеяться над его трусостью.

Как теперь Сосьян жалел, что приехал сюда.

Девушка повернула голову быка в сторону, прогнала его к стаду, а сама подошла к Сосьяну.

— Здравствуйте, товарищ Сосьян! — Она поздоровалась с ним, как со старым знакомым. — Как вам нравятся наши горы?

Сосьян от неожиданности растерялся. Прежде всего — откуда она знает его фамилию? Его удивили также приятельский тон и непосредственность этой девушки.

Девушка стояла против Сосьяна, глядела ему прямо в глаза; в таких случаях Сосьян обычно смущался.

Он кивком головы ответил на приветствие девушки и механически продолжал стряхивать с костюма остатки травы.

— Давно вы не были в наших горах? — снова спросила девушка.

— Да, давно, — пробормотал Сосьян. — С детства я жил в городе, и вот мой приход...

Девушка, очевидно, поняла его состояние.

— Наверно, скучаете? Гуляйте, — сказала она и, оставив Сосьяна, ушла.

Сосьян невольно посмотрел ей вслед. Девушка была босая. Ноги и юбка были мокры от росы. Черные волосы блестели.

Только после того как она ушла, Сосьян вдруг вспомнил ее. В самом деле, можно ли было ее забыть? Ведь только накануне вечером он представился ей и передал записку председателя колхоза. Надо сказать,

что Сосьян не виновен в том, что не узнал заведующую фермой. При свете лампы она показалась ему старше. К тому же она, оказывается, мать двух ребят. Да, да, около нее были смуглые, с круглыми лицами, здоровые и бодрые дети; они, как птенчики, из-под одеяла смотрели на него.

«Неужели это она?» — усомнился Сосьян.

Девушка шла и нела. Ее голос в прозрачном утреннем воздухе звучал с необычайной чистотой.

2

Собаки вырвались со двора фермы и бросились к повороту дороги. Так бывало иногда в пасмурные дни, когда заблудившийся олень неожиданно появлялся около фермы, затем быстро скрывался в ущелье, преследуемый лаем собак.

Майрануш остановилась на склоне горы, внимательно посмотрела вниз. На повороте дороги показался и потом исчез зеленый вылис. Затем Майрануш заметила его белый дым на близком расстоянии. Машина, оставив дорогу, шла к ферме прямо по траве. Собаки добежали до машины. Одна из них с разбегу прыгнула, ударилась о бок кузова и отлетела в сторону, упав на бок. Машина прорвала заслон собак и двинулась вперед. Собаки бросились за ней. Вылис ускорил свой бег, дошел до стоянки скота, повернул к ферме и остановился у дверей конторы.

Из машины вышла среднего роста красивая женщина. Из-под темной шляпы были видны волнистые волосы, посыпанные легким серебром; создавалось впечатление, будто на них осел иней. Кожа ее лица от летнего солнца и зимней стужи равномерно загорела, а уставшие и глубоко впавшие глаза покрылись легкой тенью.

Это была Армик, секретарь райкома партии.

Остановившись перед конторой, она энергично о чем-то говорила шоферу, показывала на одну из собак, очевидно на ту, которая прыжком налетела на машину и упала на землю.

Когда Армик вошла в контору, почти вслед за нею вбежала Майрануш, задыхаясь, обняла ее и весело воскликнула:

— Товарищ Армик!.. Как я рада!.. Каким образом?

Армик улыбнулась, затем, освободившись из объятий Майрануш, сама обняла ее и нежно погладила ее волосы.

— Давно собиралась, Майрануш, да все не получалось. Наконец вот удалось вырваться. Ну, скажи, как твои дела, как ферма...

— Нет, нет, прошу, вы пока посидите, отдохните... Ведь вы так неожиданно приехали, товарищ Армик, хоть бы предупредили или позвонили...

— Хорошо, хорошо, знаю, что у тебя телефон, — пошутила Армик. — Ничего, и так хорошо...

Она рассказала, что с группой работников района осматривала строительство электростанции в ущелье недалеко от здешних пастбищ, оставила всех там и сама на машине приехала на ферму.

— Когда у нас будет больше электрической энергии, твоя ферма совершенно преобразится... — Армик с удовлетворением осмотрела чистые стены конторы, украшенные цветными плакатами.

Работницы фермы по очереди входили, здоровались с секретарем, перекидывались несколькими словами, потом снова спешили по своим делам.

Они были связаны с Армик нерушимой дружбой. Эта дружба у них зародилась еще в тяжелые дни Отечественной войны.

Днем и ночью, в холод и ветер, в град и дождь из села в село летал тогда зеленый виллис секретаря райкома.

«Приехала товарищ Армик...», «Проехала товарищ Армик...», «Позвонила товарищ Армик...», «Вызвала товарищ Армик...»

Секретарь райкома Армик поднимала людей тыла. Ни одной минуты она не имела покоя. Одного она упрекала, другого воодушевляла, третьему упрощала, этого поощряла и обнадеживала... Сколько раз поздно ночью женщины готовили для нее постель и ужин,

приглашали к себе домой, но всегда разочарованно узнавали, что она уже уехала.

«Улетела, — беспечно отвечал сторож. — У нас заседание бюро». Потом, покачивая головой, прибавлял: «Огонь, огонь женщина».

В районе все уважали Армик, но женщины какой-то особенной любовью и уважением были связаны с нею.

Если кто-либо из них жаловался на усталость, сейчас же приводили в пример Армик: «Если бы ты была на месте товарища Армик, ты, наверно, голову бы потеряла».

Достаточно было кому-нибудь опечалиться, что долго нет письма от отца или брата, сейчас же показывали на Армик: «Брата убили, от мужа не имеет вестей, но не теряет голову».

Самое привлекательное в Армик была ее скромность. Она окончила два факультета и разговаривала с дояркой — как доярка, с агрономом — как агроном, с трактористом — как тракторист; а если выступала с докладом, удивляла яркостью речи и глубиной мысли.

Армик выглядела обычной женщиной, простой и привлекательной, и, казалось, все, что она делает, может с легкостью сделать каждая женщина.

Но когда вспоминали, что из тысяч мужчин и женщин района именно ее выбрали первым секретарем райкома партии, что народ оказал ей доверие, избрав ее депутатом Верховного Совета, — Армик поднималась в глазах всех на недостижимую высоту.

Каждой из женщин, работавших на ферме, хотелось по-дружески обнять Армик, поцеловать, как сестру, но они стеснялись, сдерживали себя и, поприветствовав ее и коротко ответив на ее вопросы, спешили уйти.

Дети фермы, как пчелки, собрались вокруг виллиса. Шофер что-то подправлял в машине, и они увлеченно следили за его движениями.

Майрануш взяла за руки двух детей и повела их с собой в контору. Их-то и видел Сосьян накануне вечером в доме Майрануш.

Она представила их госте:

— Вот мои детки.

— Ого, как они выросли, поправились. А ну-ка, подойдите, посмотрю на вас... Ну, быстро, быстро!.. Вот так! — смеясь, воскликнула Армик, затем обняла и поцеловала одного из них. — И ты, ты, шалуни...

Армик посадила детей на колени друг против друга и начала играть с ними.

У этих детей не было матери, она умерла на втором году войны, отец же еще не вернулся из армии.

В селе многие хотели взять этих детей к себе, но Майрануш предупредила их. «Они будут со мной, — говорила она, — никто лучше меня не присмотрит за ними».

Она взяла детей к себе и ухаживала за ними, как родная мать.

С красными круглыми и смуглыми щечками, с черными глазами, эти дети были похожи друг на друга, как две капли воды. Они знали Армик, но стеснялись ее и, улыбаясь, больше глядели друг на друга, чем на гостью.

Армик продолжала свою любимую игру: лбом стучала то одного, то другого ребенка, затем, будто от боли, морщилась и кричала «ой». Дети хохотали, показывая свои белые зубки. Постепенно они освоились с ней и начали шалить.

Увлеченная игрой Армик не заметила, что работники фермы собрались у раскрытой двери конторы и, улыбаясь, издали глядели на нее.

Армик знала отца этих детей, молодого коммуниста Гарегина Серопяна, который когда-то был лучшим пропагандистом в колхозе. Она сама вручала ему партийный билет, следила за его ростом и перед отъездом на фронт пожелала ему счастливого пути.

Армик переписывалась со многими коммунистами, ушедшими на фронт, в том числе и с Гарegiном. Ее переписка с ним стала более приятельской после смерти жены Гарегина.

Односельчане долгое время скрывали от Гарегина весть о смерти его жены, не желая омрачать фронтовика. Не получая писем от жены, он встревожился и

написал председателю колхоза, затем председателю сельсовета, но они тоже ничего не ответили ему. Наконец он вынужден был обратиться к секретарю райкома партии с просьбой сообщить правдивую весть о его семье.

Тяжелая ответственность выпала на долю Армик, но она не захотела скрыть правды. Она написала, что его жена умерла, хоронили ее с почетом, а дети находятся в надежных руках, у Майрануш, заведующей молочной фермой, той самой девушки, с которой Гарегин долгое время состоял в одной комсомольской организации.

Армик обещала ему проявлять постоянную заботу о детях, навещать их, писать ему письма. Она сфотографировала детей и портреты их отправила отцу.

Долгое время не было вести от Гарегина, потом стало известно, что он получил тяжелое ранение и лечится в одном из далеких госпиталей.

Война кончилась, но Гарегин не вернулся. Одни говорили, будто он еще лечится, другие утверждали, что он не хочет вернуться в родное село после смерти жены.

Армик честно выполняла свое обещание. По каким бы делам она ни проезжала мимо села, всегда приказывала шоферу завернуть в дом Майрануш, чтобы повидать детей, узнать об их здоровье, поиграть с ними и только потом со спокойным сердцем продолжала свой путь.

— Удивительное дело, Майрануш, — сказала она, когда та вошла в контору. — Я так привыкла к этим шаловливым жукам, что чувствовала бы себя плохо, если бы не заглянула сюда.

С этими словами она прижала детей к себе.

Майрануш верила искренности ее слов. С застывшей улыбкой она издали следила за Армик и за ребятами. Как они подходили друг к другу: настоящая любящая мать и счастливые дети... Между тем она... О нет, нет, глупые вещи думает Майрануш. Почему только она, пусть и Армик любит их, пусть все любит этих детей.

Армик попросила шофера принести ее чемодан,

достала из него две пары новых ботинок, надела на ножки малышей и, щекоча их, погнала к двери.

— Ну, теперь идите играйте.

Дети вырвались наружу. Майрануш радостно глядела им вслед. Армик встала.

Она подробно ознакомилась с положением фермы, поговорила с работницами и, сделав несколько замечаний в своем большом блокноте, уехала на строительство.

Дети, заполнившие машину, проводили Армик до поворота дороги.

3

Сосьян неуверенно моргал глазами, глядя с высоты на машину.

Зеленый виллис часто сливался с зеленым фоном гор и пропадал из виду.

«Откуда эта машина появилась здесь?» — думал он, вспоминая трудную, поднимающуюся вверх дорогу через лесистое ущелье, по которой он вечером приехал сюда.

Между тем машина остановилась, и дети, как ядрышки граната, высыпали из нее.

Виллис двинулся вперед, а дети побежали обратно.

Сосьян продолжал смотреть вслед машине.

— Как долго ты глядишь, дорогой мой, — слышался голос из кустов.

Сосьян оглянулся: это был пастух Мадат, шедший с фермы.

— Это машина райкома, Армик приезжала, — сказал старик и гордо прибавил: — Мы ей благодарны, она нас не забывает.

— Секретарь? — удивился Сосьян. — Зачем она приезжала?

— Так приезжала, мой дорогой. Разве у нее спрашивают, зачем приехала? — сворачивая папиросу, ответил Мадат и после непродолжительного молчания добавил: — Решила повидать нашу Майрануш.

— Кого?

— Майрануш, заведующую фермой... Проверила коровники, расспросила обо всем и уехала.

— Гм... — неопределенно отозвался Сосьян.

С удивительной ясностью ему вспомнилась Майрануш, юная, свежая, как мак.

Сосьян узнал от Мадата, что Майрануш не замужем и дети не ее, а односельчанина Гарегина Серопяна.

«Конечно, останется незамужней», — усмехнулся он, но, скрывая свои мысли, попытался проверить свое подозрение.

— Как тебе сказать, милый, будет неправильно, если сказать, что ей не делали предложений. Желających жениться на ней было много, но она всем отказала. Вот, к примеру, из соседнего села Атан присылали сватов. Там колхоз один из передовых, на трудодни получают зерна по два с половиной килограмма. Но будет несправедливо, если дочь миллионера выйдет замуж за такого колхозника.

— Кого? Миллионера?

— Да, как же, милый мой, миллионера, — подтвердил Мадат.

Сосьян ничего не понял, но замолчал.

«Миллионера... нашел же, что сказать», — подумал он.

— Хорошо, что моя Майрануш отказала этому же-
ниху, не пошла, иначе все село бы опозорилось, — тем
же тоном продолжал старик. — Ведь Майрануш, ми-
лый мой, была сироткой; родители ее умерли во время
эпидемии, колхоз ее воспитал лучше отца и матери,
дал образование, отправил на курсы, сделал человеком.
Она много сделала для фермы. С каждым годом мы
теперь улучшаем стада, облагораживаем их. Да что
там долго говорить. подумай сам: девушка в эти горы
провела телефон. Секретарь райкома партии обещает
дать электрическую энергию в первую очередь нашей
ферме. Нет, я вижу, что и чубук свой буду зажигать
электрическим светом, — с доброй улыбкой на лице
пошутил пастух.

Неожиданно послышался звук глухого взрыва, буд-
то где-то стреляла пушка. Сосьян вздрогнул.

— Почему пугаешься, милый мой? — дружески
упрекнул старик. — Напрасно смотришь на эти горы,

вон туда гляди, — и показал на одно из ущелий. — Посмотри в ту сторону, там динамитом рвут гору, достают камни для строительства электростанции.

— Так близко?

— Не близко, милый мой, воздух прозрачен.

Сосьяну стало скучно. Он хотел отойти от собеседника, как вдруг пастух, вспомнив что-то, опять вернулся к нему.

— Да, милый мой, чуть было не забыл. Говорят, наш бык сегодня немного побеспокоил вас. Правда?

Сосьян почувствовал, что его уши покраснели.

— Но это... ничего, это ведь... — растерянно пробормотал он.

— Нет, почему... ты напрасно испугался, милый мой... — и старик хотел что-то сказать, но Сосьян ушел, не желая слушать его правоучений.

Он смущенно спустился к ферме. Неужели надо было, чтобы эта противная девушка рассказала всем о неприятном эпизоде?

«Вот тебе девчонка», — горестно повторял в уме Сосьян. Перед ним у фермы вдруг появился смуглый мальчик и, показывая новые блестящие ботинки, радостно сообщил:

— Дядя, вот смотри, что у меня... смотри, что у меня.

Вначале Сосьян не понял ребенка и с раскрытым ртом смотрел на его ботинки, затем молча повернулся и ушел.

4

Почти ежедневно по утрам Сосьян выходил на прогулку, возвращался к завтраку, отдыхал, потом снова шел в лес. Он избегал своего нового окружения, в особенности заведующей фермой, к которой был настроен явно недружелюбно.

Сосьян видел, что все работники фермы, как взрослые, так и дети, с любовью и уважением относятся к Майрануш. Это его еще больше злило.

— Дочь миллионера... скажите пожалуйста, — иронически бормотал он по адресу Майрануш, кото-

рая по всей ферме распространила приключение Сосьяна, сделав его предметом насмешек детей.

Малыши к своим многочисленным играм прибавили теперь еще одну: «Дядя и бык». В детском воображении приключение с Сосьяном получило новую окраску. Здесь огромный бык настигает «пугливого дядю», безжалостно бодает его, сбрасывает, топчет... Одним словом, полный позор...

Однажды, когда Сосьян лежал на тахте, постучали в дверь, и вошла Майрануш.

— Простите, товарищ Сосьян, — обратилась она к нему. — Звонили из колхоза. Я должна перевозить продукты в село. Возможно, задержусь на несколько дней. Прошу помочь нашему читчику...

— Кому? — переспросил Сосьян.

— Читчику, — с улыбкой повторила Майрануш, — тому, который читает газеты... Могут встречаться неизвестные слова, имена... одним словом, чтобы агитация не была прервана.

Сосьян, часто моргая, сухо сказал:

— К сожалению, я не взял с собой очки.

От неожиданности Майрануш чуть не рассмеялась, но, сдержав смех, бесшумно ушла.

Сосьян, довольный, снова лег, заложил руки за голову и спокойно вздохнул.

— Геннальная находка, — сказал он себе.

Но его спокойствие было непродолжительным. Через минуту он снова взволновался: «Читать газету для других... этого не хватало; они могут еще принести счета и дать мне в руки...»

С ума можно сойти. Нет, он ошибся. Зачем ему было ехать в эти шумные горы? Надо было ему прямо ехать в Арзни или на какой-нибудь другой курорт.

Когда стемнело, на ферме зашумели, позвали Сосьяна: будет звуковое кино. Он неохотно пошел.

5

Однако вскоре с Сосьяном произошла удивительная перемена. Уже через две недели он стал почти неузнаваем. От горного свежего воздуха его темножелтое

лицо загорело, хрипы в легких прекратились, голос стал крепче и чище, он не кашлял и чувствовал во всем теле какую-то особую бодрость.

Но это еще не все. Сосьян примирился со всем тем, что ему на первых порах казалось странным. Радио и телефон, виллис и звуковое кино, которые пришли в эти далекие горы, теперь для него не были необычными, странными. В городе он много раз читал в газетах, что такой-то район полностью электрифицирован, что там-то закончили радиофикацию, но относился к этому недоверчиво; теперь все это он видел собственными глазами.

Сосьян примирился с тем, что иногда ему приходилось устраивать громкую читку газет; ведь он новый человек из города, или, как сказала бы дочь миллионера, «новый голос».

И самое важное — Сосьян постепенно привыкал к дочери миллионера, он начал понимать ее простой и незлопамятный характер, находил, что она воспитанная, знающая, предприимчивая девушка. По ее инициативе сюда провели телефон. По ее настоянию воду родника из далеких гор провели на ферму. Теперь холодная вода журчит у самого здания фермы, проходит по цементному каналу, устроенному для пойки животных. Нет, умная девушка Майрануш, умная и... хитрая, да, да, хитрая. Разве она не замечала враждебного отношения Сосьяна к ней? Конечно, замечала. Но она не обращала на это внимания. Как только Сосьян с кислой миной показывался на ферме, Майрануш с улыбкой подходила к нему, расспрашивала о здоровье, шутила с ним и так громко смеялась, что Сосьян смущался и краснел.

Она в конце концов добилась того, что Сосьян и не заметил, как начал заниматься бухгалтерией фермы.

Он помог Майрануш привести в порядок записи продуктов, трудодней, помог оформить документы — и все это делал без принуждения, даже с каким-то удовольствием.

...Стояла глубокая ночь. Ферма спала. Недалеко от ущелья слышен был лай собаки, эхом отдававшийся в лесу.

Сосьян сидел за бухгалтерскими книгами, квитанциями и списками, погруженный в цифры и проценты. Сосредоточенный, с видом делового человека, он просматривал колонки цифр, ловкими пальцами перебирал косточки счетов, отбрасывал назад и снова перебирал их, как опытный пианист.

В эту ночь впервые он почувствовал, что и в его специальности есть какое-то своеобразное искусство, что в простых и однообразных движениях бухгалтера могут быть также элементы артистичности. Перебирал ли он счета, перекладывал ли бухгалтерскую книгу на другое место, Сосьян делал это ритмичным движением руки и головы, удивительно соответствовавшим его переживаниям.

Он с такой гордостью перебрасывал косточки на счетах, будто перед ним были не обычные цифры, а десятки пудов масла, да еще какого — желтого, как ладан, с золотистым отблеском!

Только теперь, ознакомившись с хозяйством фермы, Сосьян понял, как выросал доход колхоза-миллионера и дочери миллионера.

Майрануш сидела рядом, объясняла непонятные цифры и обозначения. Для того чтобы уточнить какую-нибудь цифру, она иногда становилась за спиной Сосьяна, нагибалась к его плечу, вызывая у него приятное ощущение близости.

Как-то Майрануш нечаянно коснулась плеча Сосьяна, и его словно обдало жаром.

Майрануш вернулась на прежнее место, села напротив Сосьяна, и ему показалось, что невидимое пламя стало обжигать его лицо, брови, ресницы. Сосьян заметно смутился. Опустив голову, он снова попытался углубиться в цифры, но уже не мог. Цифры путались. Майрануш поправляла Сосьяна, усиливая его смущение.

Человек любит долго глядеть на огонь; такое желание появилось и у Сосьяна, когда он случайно посмотрел в лицо Майрануш.

6

Вначале Сосьян не понимал, что происходит с ним. Он стал беспокойным, возбуждался по каждому поводу.

Никто его не раздражал, никто не обижал, он был здоров, но непрерывно нервничал, ожидая чего-то. Наконец он понял, что влюблен в Майрануш. Весь мир изменился для него: все вокруг получило новую окраску и новый блеск. Он почувствовал, что вся окружающая его природа: и горы с их утесами, и густые леса, и покрытые цветами луга, и звонкие воды — все, все стало особенно привлекательным и таинственным.

Сосьян, как и прежде, продолжал бродить по лугам, окружающим ферму, но теперь он уже не был одинок: казалось, что с ним была и улыбалась ему Майрануш.

Каким образом эта девушка вошла в его сердце? Ведь Сосьян не был похож на тех людей, которые вели беспокойную жизнь. Лодка его жизни никогда не уходила от берега, никогда не видела ни тревог, ни бурь. Зачем ему думать об этой девушке? Но, вопреки его воле и желанию, его сердце и думы были полны ею.

По ночам Сосьян почти не спал. Он думал, иногда пытался понять: зачем он напрасно страдает, может ли он жениться на Майрануш, что может помешать этому? Впервые в жизни он пытался определить свои достоинства. Он человек интеллигентный, специалист, у него дом, положение, недурная наружность... Правда, не всех женщин интересует наружность мужчины. Все же не мешало бы и по этой линии немного блеснуть. Что еще может помешать? Разве то, что Майрануш не сможет оторваться от колхоза? Что ж, Сосьян сам переедет в село, будет работать в колхозе по своей специальности.

Бухгалтер колхоза-миллионера — это не только почетная, но и завидная должность, и, кроме того, ведь село теперь общественной жизнью, бытом уже напояминает город.

Как будто все вопросы разрешались удачно. Оставался один, самый тяжелый. Каким образом Сосьяну раскрыть свое сердце перед Майрануш? Не будет ли он осмеян? Ведь пастух Мадат сказал, что многие просили руки Майрануш, но она всем отказала. Не будет ли такова и его судьба? Как ни пугала Сосьяна такая перспектива, он решил непременно объясниться. Да, легко сказать, решил!..

Однажды в отсутствие Сосьяна приехал главный бухгалтер колхоза, проверил состояние учета на ферме и остался доволен им.

Вечером, когда Сосьян вернулся домой, Майрануш искренне поблагодарила его.

— Вот если бы вы у нас остались, — сказала она, — наша ферма в районе была бы первой... Все у нас хорошо. Все мы умеем организовать... Только не хватает настоящего учета.

От радости Сосьян покраснел и ничего не смог ответить ей. Ночью вся ферма спала, а Сосьян мучился от мысли, что упустил случай объясниться с Майрануш, не сказал ей, что все это зависит только от нее.

Сосьян с ужасом увидел, что месяц кончается. Он никак не мог примириться с мыслью, что должен оставить Майрануш и уехать. Нет, это невозможно. В минуты отчаяния Сосьян искренне проклинал минуту, когда встретил эту замечательную девушку.

Он решил перенести свое объяснение на час отъезда и начал энергично готовиться к этому. Он наметил место и час объяснения. Он знал, что Майрануш ежедневно рано утром идет навстречу стаду коров, возвращающихся для дойки, проверяет пастбище, затем возвращается обратно. Сосьян решил встретить Майрануш в поле. Там он объяснится без свидетелей и в слу-

чае отказа ни перед кем не будет краснеть. Он должен прямо подойти к ней, закрыть глаза и уши и дать свободу своему языку...

Наступил день отъезда. Сосьян позвонил председателю колхоза, попросил коня, чтобы во вторую половину дня уехать с фермы.

Рано утром он вышел на прогулку, но, вопреки ожиданию, Майрануш не появилась. Сосьян искал ее, но напрасно, Майрануш не было.

Сосьян вынужден был вернуться на ферму. Он чувствовал себя обманутым.

Когда он дошел до фермы, там было необычайное оживление. Взрослые и дети собрались у конторы. Вероятно, из села сюда кто-то приехал.

Сосьяну сообщили о приезде и познакомили с ним. Оказалось, это был Гарегин Серопян.

Познакомившись с Сосьяном, Гарегин дружелюбно улыбнулся.

— За вами прислали лошадь, — сказал он. — Я не опоздал?

— Нет, во-время... Спасибо... — смутился Сосьян.

Контора была полна рабочими фермы. Все радостно улыбались Майрануш, которая случайно или не случайно в этот день надела лучшее свое платье и была прелестна.

Сосьян глядел на нее и таял от восторга. Затем невольно окинул настороженным взглядом Серопяна и с сомнением подумал: «Не его ли Майрануш ждала?»

Дети Серопяна никак не хотели подойти к отцу. Они его не знали. Женщины уговаривали, толкали их к Гарегину.

— Ничего, привыкнут, — говорили они.

— Родная кровь, милые мои, скоро закипит, — утверждал пастух Мадат.

Сосьян издала следил за этой сценой и видел, что между малышами и Гарегинном Серопяном нет той близости, которая должна быть между отцом и детьми. Но они могут полюбить друг друга. С дрожью в сердце Сосьян чувствовал, что помочь в этом может только Майрануш. Он не имеет права мешать ей...

И вот, когда эта мысль возникла у Сосьяна, неза-

метно порвались нити, которые связывали его сердце с сердцем Майрануш.

Сосьян извинился и пошел готовиться к отъезду.

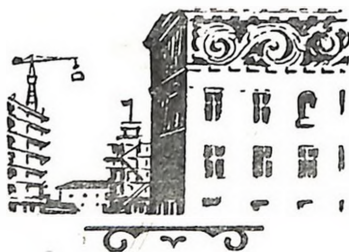
8

После обеда Сосьян выехал из фермы в село. На поляне под зеленым ореховым деревом он увидел сидящих рядом Майрануш и Гарегина.

Девушка что-то рассказывала, а Гарегин задумчиво слушал ее.

Недалеко от них на траве весело играли смуглые дети Гарегина.

Сосьян увел своего коня с каменистой тропинки и по траве бесшумно спустился в ущелье.



ШАЕН ТАТИКЯН

ПОСЛЕДНИЙ ОРНАМЕНТ

Глава первая

Был летний полдень. Лучи солнца опаляли. Воздух был накален.

Главная улица города постепенно пустела. Видны были только горожане, возвращающиеся с рынка; они шагали с полными корзинами, с потными от усталости и зноя лицами.

Иногда были видны крестьяне, идущие за осликами, навьюченными продуктами; хриплыми голосами они расхваливали свой товар.

Изредка проезжала пролетка, везя только что приехавших на поезде путников.

Но большей частью улица была безлюдна. Только в ее верхней части воздух был наполнен равномерными ударами молотов. Это были каменотесы, они работали, сидя на камнях или на кусках паласа.

Чем дальше, тем жарче... Работать становилось труднее, и звуки молота раздавались глуше, с большими перерывами.

— Ребята, может быть, отдохнем? — прерывая работу, обратился к товарищам один из каменотесов.

Рабочие в знак согласия опустили молоты, поднялись и, вытирая с лица пот, пошли к стене наполови-

ну отстроенного здания, в тени которого лежали их одежда и завтрак. Только один седой старик остался на своем месте. С его широкого морщинистого лица лил пот, капли которого часто падали на дрожащие от усталости и напряжения руки. Было видно, что старик очень устал, и сейчас, когда остальные прекратили работу, удары его молота звучали слабо и глухо, как вздохи человека, вставшего на ноги после продолжительной болезни...

— Мастер Арутюн, — обратился к нему юноша, предложивший сделать перерыв, — мы хотим сделать небольшой перерыв и поесть, зной становится невыносимым. Что ты на это скажешь?

Старик опустил молот, усталым взглядом посмотрел на своих товарищей, будто не понимая собеседника, затем, задышавшись, сказал:

— Правильно ты говоришь, Петрос. — Он медленно встал и нетвердыми шагами направился к рабочим, собравшимся в тени стены и уже начавшим завтракать.

К груди и спине старика прилипла черная рабочая спецовка, и он, согнувшись, осторожно обдергивал ее, стараясь отстранить мокрую спецовку от тела.

Сидя рядом, рабочие завтракали.

— Мастер, почему ты не ешь? — заметил сосед Арутюна.

— Нет аппетита, Андраник-джан, — ответил Арутюн.

— Эх, мастер! — покачивая головой, снова заговорил сосед. — Ты устал. Тебе нужен отдых, ты должен бросить работу.

Арутюн не ответил, только из-под густых и седых бровей бросил усталый и грустный взгляд на своего соседа.

После перерыва старый мастер с большим трудом взял в руки молот; непродолжительный перерыв не дал ему отдыха. Его руки дрожали, он несколько раз чуть не ударил молотом по руке. Постепенно тело его, застывшее во время перерыва, начало согреваться. Но попрежнему оставалось ощущение глухой боли в сердце.

Он поднял молот и неожиданно почувствовал сильную боль в лопатке; эта боль была настолько сильна, что в глазах у него потемнело, голова закружилась, рука ослабела, и молот, ударившись о землю, издал глухой звук.

Арутюн положил молот на камень и, руками держась за его рукоятку, опустил голову. Когда наконец он пришел в себя и почувствовал, что боль утихла, он снова выпрямился и попытался продолжать работу, но не смог и, горько вздохнув, положил инструменты и медленно поплелся домой.

Некоторые рабочие не заметили ухода мастера, другие подумали, что он ушел по какому-нибудь делу.

Но мастер Арутюн ушел домой.

За пятьдесят лет работы он впервые шел домой раньше других, не имея подмышкой кожаной сумки с изношенными инструментами.

Он шел, согнувшись и все время глядя под ноги, забыв снять рабочий фартук, который мешал ему на его и без того трудном пути.

* * *

— Папа, работа кончилась? — удивленно спросила его сноха Марта.

— Да, Марта-джан, кончилась, все кончилось.

Марта не поняла старика, но, почувствовав его душевное смятение, ничего больше не спросила и начала готовить обед.

— Я не хочу есть, я уже поел, Марта-джан, приготовь мне постель.

Марта безмолвно выполнила требование старика.

Арутюн лег в постель, повернулся лицом к стене и прикрыл голову одеялом. Все тело его ныло от боли. За последний год это стало обычным явлением, но в этот день боли были особенно сильны и невыносимы. Старик с большим трудом сдерживал стоны.

Снаружи послышался веселый смех Арпеник, затем распахнулась дверь и она с шумом влетела в комнату.

— Мама, я папу видела!

— Молчи, — сказала ей мать, — дедушка спит.

— Нет, Марта-джан, я не сплю, — из-под одеяла глухим голосом сказал старик, затем, повернувшись в постели, позвал внучку: — Арпеник, деточка, поднимись, сядь мне на спину.

Девочка привыкла к таким просьбам, она сейчас же сняла ботиночки и прыгнула на спину дедушки.

— Растереть тебе спину? — серьезно спросила она.

— Да, деточка, — застонал старик.

Арпеник начала своими маленькими ручонками тереть спину деда через одеяло и одновременно болтала с матерью:

— Мама, знаешь, нас сегодня всем классом повели на берег реки; мы пошли и увидели новый завод и папу. Папа вон какие большие камни поднимал, — и, на одну минуту прекратив свою работу, она широко развела свои ручки, — он бил по камню, и камень раскалывался. И ты знаешь, мой папа...

— Ну хорошо, помолчи, пусть дедушка отдыхает, — рассердилась мать.

Мастер Аругюн почти полвека был каменотесом.

Он тесал камни для коровников, для домов, для уличных тротуаров и заборов, а между тем старик был мастером орнамента. Но кто в этом маленьком уездном городе строил здания, для которых нужны были изысканные скульптурные украшения? Искусный мастер Аругюн страдал душой от невозможности применить на деле свое мастерство.

Вся его жизнь прошла в мечтах; он хотел строить величественные, красивые здания. Ведь должны же когда-нибудь начать строить и в его городе красивые дома. Он не знал, когда и каким образом наступит этот день, но глубоко верил в это и ждал...

По вечерам, в минуты отдыха, рабочие собирались где-нибудь около дома и беседовали о работе, о дороговизне, о своих заботах. В такие минуты мастер всегда начинал говорить «о будущих больших светлых городах».

Он показывал вырванный из неизвестной книги

рисунок, на котором изображен был общий вид какой-то большой улицы. Все приходило в восхищение замечательных четырехэтажных и пятиэтажных домов с мощными колоннами и широкими сводами.

— Человек должен строить только такие дома жить в них, — говорил он. — Если народ воспользуется своими правами, он совершит добрые дела, сделает города красивыми... Вы знаете, какую силу представляет собою народ?.. Вот я, например, один обладаю силой буйвола, но работы нет, нет места, где я могу применить свою силу и умение. А весь народ? Его сила велика. Нет, так все это не останется...

Иногда Арутюн рассказывал сон, который он видел еще в молодости.

— Этот сон был моей мечтой, — говорил он и, бережно складывая рисунок улицы неизвестного города, задумчиво добавлял: — Мой сон светлее и ярче этого рисунка...

Он мечтал и ждал. Он не мог оставаться без дела и пятьдесят лет непрерывно тесал камни для домов и тротуаров. Встречались ему люди, знавшие цену его искусства, они советовали ему поехать в чужие края в большие города, где идет крупное строительство и где могут оценить таких, как он, но мастер Арутюн отвечал:

— Я люблю мой город, мне радостно то, что я для него сейчас делаю. Если каждый человек, способный на что-нибудь, уедет, кто же останется? Страна может осиротеть.

Помолчав, он снова задумчиво говорил:

— Наступят хорошие времена! Вы знаете, как силен народ, какое у него сердце! Вы знаете, сколько у нас талантливых людей! Сейчас у всех глаза и рты закрыты, руки связаны. Но так не останется, сильный возьмет свое...

Когда установилась советская власть, мастер Арутюн, еще не видя чего-нибудь реального, инстинктивно чувствовал, что наступило время исполнения его мечты. Он с юношеской энергией взялся за работу. Но тяжелый пятидесятилетний труд обессилил его. Только душа мастера Арутюна оставалась юной: ведь рань-

ше его творческая мысль была скована, а теперь он мог заниматься своей любимой работой художника. Но силы покидали его.

Товарищи пытались убедить его, чтобы он оставил работу.

— Слушай, божий человек, тебе пора отдохнуть. У тебя есть сын, он о тебе позаботится. Кроме того, тебе назначат пенсию.

Но мастер Арутюн только отрицательно качал головой. Как он может оставить работу в то время, когда наконец началось строительство его любимого города? «Никто не понимает, какие у меня мечты, — думал он, — никто не знает, что мой сон я должен превратить в жизнь».

Он не мог не работать, не мог представить себе жизни без работы. Многие годы стук молотков был для него самой любимой музыкой, без которой он тосковал, если долго не слышал ее. Он любил запах нагретых камней, какой-то своеобразный, трудно уловимый аромат, доступный только человеку, имеющему дело с камнем.

Случалось, у него не бывало работы, и тогда он трудился над чем-нибудь дома. Его двор был устлан тесаным камнем, окружен каменным забором, разукрашенным армянскими орнаментами; этот забор при каждом удобном случае он отделывал и украшал.

Нет, он не мог так легко бросить свою любимую работу.

Сын и сноха много раз пытались убедить старика оставить работу, но он упорно отказывался сделать это.

Сегодня, вернувшись домой, он почувствовал, что действительно больше не может работать, что никогда больше не сможет он взять в руки инструменты...

* * *

Вернувшись домой, Давид увидел своего отца в постели, усталого и обессиленного. Старик ни с кем не разговаривал. Он лежал на спине, угрюмо глядя в потолок. Когда вошел сын, старик остался в том же положении.

Марта жестами дала понять мужу, что отец болен. Давид горестно покачал головой и молча пошел умываться. Арпеник побежала за отцом, рассказывая ему о событиях дня и о своих детских переживаниях.

— Папа, товарищ Кнарик сказала, что впервые у нас строят такой большой завод. Товарищ Кнарик сказала, что в других больших городах тоже есть такие большие заводы. А почему у нас их не было? Ты ударник, папа? Товарищ Кнарик сказала, что ваши рабочие ударники. Я тоже ударница... Папа, а дедушка ударник? Сегодня дедушка очень печален, он говорит: «Мои кости переломаны». Он мне сказал: «Иди садись на мою спину». Я села и терла его спину.

Умываясь, Давид сосредоточенно о чем-то думал и почти не слушал девочку, не отвечал на ее вопросы. Но Арпеник это не беспокоило; важно было то, что она могла говорить без стеснения, не беспокоя этим больного дедушку.

Во время обеда к постели Арутюна придвинули небольшой стол с едой.

— Папа, — заговорил Давид после обеда, когда Марта была занята на кухне, а Арпеник вышла во двор играть, — ты больше не должен работать.

— Да, я больше не буду работать, — глухо ответил старик.

Этот тон и согласие отца поразили Давида. Ясно было, что отец согласился оставить работу только из-за болезни. Это опечалило его...

— Правду говоришь, что больше не будешь работать?

Арутюн грустно кивнул головой.

— Дорогой отец, почему ты так печалишься? Ведь все люди твоего возраста отдыхают. У тебя есть кому заменить тебя...

— Эх, Давид, была у меня мечта! Ты знаешь, как в мое время мир был темен и тесен... В моей душе жили образы, которым я хотел придать дыхание, передать их людям. Но в старом мире моим образам не было места. Теперь вокруг меня жизнь бурлит, как весенний поток, а я... негоден. Когда ты состаришься, ты не будешь тосковать так... Ты все успеешь сделать,

ты проживешь свою жизнь по-настоящему. А я только сейчас хотел начать жить и...

Давид слушал отца, не прерывая его. Он хотел утешить старика, но хорошо понимал, что сказанные отцом слова были неопровержимой истиной.

Наконец Давид сказал:

— Не печалься, отец. Ты будешь утешаться нашей любовью к тебе, будешь радоваться своей внучке.

— Давид, сын мой, не работающий не может радоваться от всего сердца.

Старик вздохнул, посмотрел на Давида и тепло подумал: «Глаза у него как у матери».

* * *

Давида назначили бригадиром. Бригадир... Это была первая организационная новость у строительных рабочих города. Они не могли понять роли бригадира. Обычно первые же выдвинутые из их рядов организаторы становились чужими в глазах рабочих.

— Выдвигают...

Одни с завистью, другие одобрительно, с еще не осознанным уважением, а некоторые с непонятной злостью говорили:

— Выдвигают.

Казалось, они не считали бригадира своим товарищем, работающим наравне с ними.

Давид работал энергично. Он указывал, помогал, сам тесал камни, следил за укладкой камня. Бригадир заключил между собою договоры соцсоревнования. Давид унаследовал от своего отца способность быстро осваиваться в новой обстановке, поэтому сразу воодушевился идеей соцсоревнования. С жаром руководя своей группой рабочих, он в нужных случаях шел на помощь соревнующейся бригаде.

— Если ты будешь помогать им, как же мы их победим? — иногда с сердцем спрашивали Давида рабочие.

— Ребята, что такое «мы» и что такое «они»? — пытался разъяснить Давид. — У всех нас одни интересы. Мы должны помогать друг другу, чтобы у всех нас работа шла лучше. Это и есть соцсоревнование...

В городе строили завод. Это было огромное строительство. Кроме корпусов завода, строились также жилые дома для рабочих, бани, здания кооперативов. Рабочей силы не хватало. Надо было изменить старые нормы труда. Молодежь могла освоить новые темпы, но рабочие старого поколения часто были недовольны.

— Двадцать лет строю и больше в день я никак не мог сделать...

— Ведь вы работаете старыми методами, а они и трудные и медленные.

— Я хорошо знаю свое дело, зачем мне учиться новым методам, — не соглашались некоторые.

Инженер Вартамян часто после работы беседовал с рабочими, создавал группы по изучению новых методов труда; но выражения недовольства слышались по-прежнему.

— Пятнадцать лет работаю. Теперь ли мне учиться?

Да, вначале работа подвигалась с большим трудом. Давид, сам руководивший небольшим коллективом, был близок к разочарованию: «Что за люди! Можно ли с ними что-нибудь сделать?» Он забывал, что возложенная на него ответственность подняла его выше других. И все же, несмотря на ропот, он иногда замечал, как люди меняются, как то, что вначале казалось невозможным, постепенно прививается.

— А не говорил ли ты, что за день больше пяти метров стены сложить нельзя? — иногда в шутку спрашивал он кого-нибудь из рабочих. — А можешь ли ты за день сложить стену в восемь метров?..

И все чаще был слышен уверенный ответ:

— Ничего, доведем...

Давид начал посещать вечернюю школу. Надо было получить среднее образование. Он теперь так уставал, что не замечал, как проходили дни. Жизнь двигалась вперед.

* * *

К Арутюну пришли товарищи по работе. Мастер принял гостей с грустной улыбкой.

— Я не болен, — сказал он, — я уже мертвый; я умер для труда, для камня и молота.

— Мастер, отдохнешь немного и опять будешь работать. Что ты, ведь ничего такого не случилось, — перешитительно заговорил один.

Арутюн отрицательно покачал головой:

— Нет, кончилась моя работа...

Товарищи не смогли утешить упрямого старика.

— Мастер, — наконец заговорил один из рабочих, — не стыдно ли тебе за такие слова? Ты ли мертв? А ты знаешь, что каждый вытесанный тобою камень сохраняет следы твоих рук?.. Эти следы сохраняются и после твоей смерти, они останутся до тех пор, пока существует мир.

Арутюн с мрачным лицом слушал его и не соглашался.

— Нет, для меня все кончено...

Рабочие долго сидели, рассказывали о новых строящихся домах и улицах, о том, как город будет благоустроен. Говорили о том, что теперь больше чем когда-нибудь нужны рабочие-строители. Затем, пожелав Арутюну здоровья и отдыха, ушли.

После их ухода зашел сосед Арутюна Григор, ровесник мастера. В прошлом он был лавочником, а теперь на углу улицы продавал с рук зелень и еще кое-какую мелочь. Арутюн по воскресным дням или в свободные часы играл с ним в шашки, карты или просто беседовал.

— Гм... ну, как, не ходишь больше на работу? Хи-хи-хи, хорошо делаешь. Пусть теперь работает твой сын и содержит тебя, — начал он, как только вошел в комнату. — Хи-хи-хи, хорошо делаешь...

Никогда до этого не казались Арутюну противными красное лицо Григора, его манера говорить и его смех.

— Теперь весь день будем играть в шашки, хи-хи-хи, нам нечего делать, мы старые люди. Пусть теперь молодые работают и кормят нас, хи-хи-хи...

— Григор, у меня сегодня нет настроения играть, — сказал Арутюн.

— Что такое настроение? Мы свободные люди, надо как-нибудь убивать время, — перебил Григор тоном, не терпящим возражения, и достал карты.

Арутюн нехотя взял в руки карты.

Почти все время выигрывал Григор. Во время игры он мошенничал и так ловко тасовал карты, что ему всегда доставались лучшие. Арутюн знал, что Григор мошенничает, но не мог поймать его.

Никогда игра не была такой скучной, как сегодня. Мастер играл механически и все время проигрывал. В другое время он не нервничал бы по этому поводу, но на этот раз неожиданно взволновался, когда Григор заявил:

— У меня шестьдесят четыре, у тебя двенадцать.

— Когда же у тебя стало шестьдесят четыре? — положив карты на стол, сердито спросил Арутюн.

— Что, я обманываю, что ли? У меня было пятьдесят восемь, сейчас выиграл шесть. Значит, стало шестьдесят четыре. Я разве тебя обманывал когда-нибудь? Хи-хи-хи...

С рынка вернулась Марта. Не считаясь с тем, что в комнате находится сноха, Арутюн уже почти кричал:

— Ты меня обманываешь, обманываешь...

Арутюна раздражали красное лицо Григора, его узкие и хитрые глаза под припухшими веками. Отталкивающая внешность гостя усиливала его ярость, и Арутюн как будто забыл даже, из-за чего он начал спорить с ним. Теперь его раздражало уже присутствие Григора.

Марта впервые видела таким взволнованным своего свекра, она удивленно остановилась и молча глядела на него.

Наконец Григор, напуганный неожиданной вспышкой Арутюна, собрал карты и встал.

— Ладно, Арутюн, я вижу, ты, правда, не в настроении. Я ухожу...

— Иди, — прервал его Арутюн сердито. А когда Григор раскрыл дверь и хотел выйти, прибавил: — Иди и больше не возвращайся.

Старик долго не мог успокоиться, его руки дрожали. Про себя он продолжал спорить с Григором.

— Ишь ты, — вполголоса говорил он, — что ему нравится! Он говорит: хорошо, что весь день мы свободны и можем играть в карты; он говорит: пусть те-

перь другие работают, а мы будем есть. Когда ты в своей жизни работал, что радуешься теперь, что не трудишься?..

Из школы вернулась Арпеник. Арутюн подозвал внучку к себе, приласкал ее. Наконец он успокоился. Он был доволен, что выгнал Григора, будто этим одержал победу над плохим, очень плохим началом.

Глава вторая

После того как мастер Арутюн оставил свою работу, его дни проходили однообразно и скучно. Марта весь день была занята заботами о доме. Арпеник днем уходила в школу, в остальное же время либо готовила уроки, либо во дворе играла с детьми. Давид посещал вечернюю школу и теперь даже по воскресеньям дома бывал мало: шел в библиотеку или к товарищам заниматься.

Большую часть дня Арутюн проводил на тахте, курил. Не привыкши к безделью, старик нервничал. Он вынужден был часами сидеть на одном месте, играть с коробкой спичек, с пепельницей или с каким-нибудь иным предметом. Это занятие как будто облегчало тяжесть на его сердце. Он начал перебирать четки, хотя прежде они никогда его не привлекали.

Постепенно он привык к четкам, начал сам с собою вслух разговаривать. Физическое безделье, последовавшее после напряженной работы, отразилось на его характере. Он стал раздражительным. Прежде большую часть дня он проводил на воздухе и многого не замечал. Теперь же самый незначительный беспорядок раздражал его.

Давид и Марта понимали его состояние, пытались убедить его изредка выходить из дому подышать чистым воздухом. Но мастер Арутюн и слышать не хотел об этом.

«Что может делать свободный человек вне дома? Там люди работают, а я должен без дела ходить и смотреть на них», — думал, а иногда говорил он.

— Что ты, отец, ты в своей жизни так много по-

работал, что теперь имешь право на отдых, — протестовала Марта, — ты должен спокойно жить и радоваться на нас.

— Эх, — покачивая головою, повторял больной старик, — у меня была мечта, но она не исполнилась, я еще должен строить... а вы говорите — радоваться...

* * *

Рабочий Каро из бригады Давида с семьей в восемь человек имел комнату в глинобитном доме с потрескавшимися стенами и земляной крышей. Перед домом было большое тутовое дерево, тень и красота которого не только не радовали Каро, но и были причиной многих неприятностей. Как только тута созревала, дети не сходили с крыши дома Каро.

Жена Каро Мануш или он сам, если бывал дома, несколько раз за день выходили из дома и прогоняли детей.

— Ведь не прошло и трех дней, как я привел в порядок крышу, она же протекала. А теперь вы опять топчете ее и разбиваете. Где ваша совесть?.. Не видят ваши родители, что вы делаете... — кричал Каро, поднимая руки к небу.

Однажды он не вытерпел. Вернувшись с работы, он услышал крики жены, увидел ее заплаканные глаза и поднялся наверх. Крыша была разбита, он принес пилу, и вскоре тутовое дерево лежало на земле. Но что такое тутовое дерево! Его не было, но крыша дома Каро опять стала протекать, и хозяин никак не мог ее отремонтировать.

— Если коза боднет, дом Каро развалится, — шутили его товарищи. Но хоть они и подшучивали над Каро, всех их огорчало его тяжелое положение.

В список на переселение в новые дома в первую очередь была внесена фамилия Каро. Ему дали квартиру из двух комнат на третьем этаже в только что выстроенном четырехэтажном доме.

Эта весть так обрадовала всех, что рабочие его бригады решили в день переезда Каро всей бригадой помочь ему перевезти вещи.

За день до переезда Каро вместе с Мануш пошел посмотреть свою квартиру. С большим волнением, готовый от радости плясать, он переступил порог. Его удивила необычайная величина комнат. Он переходил из одной комнаты в другую, входил в кухню, ванную комнату, на балкон, выходящий на улицу, и думал, как он использует такую большую площадь и такие удобства.

Под конец Каро спросил у жены:

— Чем же мы заполним эти комнаты?

Они с недоумением посмотрели друг на друга.

— Почему ты меня спрашиваешь об этом? — возразила жена. Потом, чтобы поднять настроение мужа, сказала: — Ничего, постепенно все приобретем...

После того как Каро увидел свою новую квартиру, он понял, как жалка его мебель: две старые тахты, одна почти развалившаяся, выцветшая колыбель, которая кто его знает от каких предков дошла до него, один изношенный, скрипучий стол, старый, покрытый кошмой сундук. На следующий день Каро, стыдясь своих товарищей, обманул их, сказав, будто свои вещи он уже перевез на новую квартиру.

В тот же вечер товарищи пришли к нему, нагруженные вином, водкой и разными продуктами.

— Ого, раньше в таких квартирах жили князья, — воскликнул один из пришедших.

— Что такое, Каро? — заметил другой. — Весь свой скарб ты поместил только в одной комнате. А чем собираешься заполнить другую?

— Ничего, Каро-джан, не печалься. — утешал Давид. — Все мы поможем, и контора поможет, об этом мне сегодня сказал начальник...

От волнения и смущения Каро не смог произнести ни слова, он стоял посреди комнаты, растерянно улыбался всем, а Мануш торопливо накрывала стол.

Поздно вечером, возвращаясь домой, Давид думал: «Вот как должен человек жить».

Он не мог забыть удобную, светлую и просторную квартиру Каро. «То, что сегодня получил Каро, можем мы все получить», — думал он.

И их дом, который в сравнении с другими домами

рабочих был одним из лучших, показался ему темным, тесным и мрачным.

— И этот дом разрушим и построим новый, — говорил он.

* * *

После завтрака Марта занималась с Арпеник, помогала ей готовить уроки.

Вначале Арутюн либо оставался безразличным к этим занятиям, либо же нервничал, когда Арпеник нескладно и с ошибками читала свои уроки. Марта, которая сама была недостаточно грамотна, поправляла девочку, но, повидимому, сама временами сомневалась в своих замечаниях. Понемногу старик начал обращать внимание на эти занятия. Вначале он слушал механически, не вдумываясь в содержание уроков, слушал и считал количество ошибок, сделанных Арпеник, и каждую ошибку внучки отмечал бусинкой на четках. А когда все бусы кончались, он мысленно ругал внучку и, покачивая головой, снова начинал перебирать по одной черные и блестящие бусинки.

Однажды после занятий, не вытерпев, он сказал:

— Знаешь, сколько ты ошибок сегодня сделала?

И когда сноха и внучка не поняли его, он рассказал им, что слышал, как они занимались. После этого дня Арпеник старалась учиться лучше. Девочка начала тщательно готовиться к послеобеденным занятиям и ежедневно с тревогой спрашивала:

— Дедушка, сколько я сегодня сделала ошибок?

Однажды Марта, исправляя ошибки ребенка, сама ошиблась. Арпеник заметила это и теперь уже не принимала замечаний матери безоговорочно. Марта сама стала более внимательной, так как ее самолюбие страдало, когда девочка спорила с ней и доказывала, что мать не права. Таким образом, занятия Арпеник теперь проходили коллективно. Арпеник вовлекла мать и деда во все школьные заботы, делилась с ними своими успехами и неудачами.

Мастера Арутюна эти занятия стали увлекать. Он уже ждал начала их, и если Арпеник, пользуясь занятостью матери, уходила во двор играть, старик предупреждал ребенка:

— Смотри, не забудь уроки.

Но большую часть дня старик проводил в душевном смятении. С каждым днем его боли становились сильнее. И когда ныли его кости и боль пронизывала все тело, он начинал думать, что скоро ему придется умереть. Предчувствие смерти рождало в нем глубокое разочарование. «Сейчас ли мне умирать? — думал он в бессонные ночи. — Сейчас ли, когда начинается новая жизнь?..»

Простые детские рассказы из книги Арпеник начали доходить до сознания старика, давали ему пищу для размышлений. Арутюн попросил Марту брать из библиотеки книги и громко читать ему. Марта охотно согласилась. За короткое время они прочли много сказок, рассказов и стихотворений. После прочтения какой-нибудь хорошей книги Арутюн думал: «Смотри, как написали...» Его интересовали авторы этих произведений. Оказалось, многие из них давно умерли, людей нет, а их дела живут...

А что он оставит? Создал ли он такой орнамент, который можно было бы поднять на фронтоны замечательных зданий будущего? Он вспомнил слова молодого рабочего: «А ты знаешь, что каждый вытесанный тобою камень сохраняет следы твоих рук? Эти следы сохранятся и после твоей смерти, они останутся до тех пор, пока существует мир...»

Неужели могли сохраниться следы его рук на вытесанных им камнях для коровников и скучных домов?.. В памяти Арутюна возникло темное двухэтажное здание на главной улице города, с суровым фасадом, с каменными балконами, украшенными его руками. Это был дом богатого купца. Когда этот дом сооружали, рабочие полушутя, полусерьезно говорили: «Второе такое здание в нашем городе будет построено лет через пятьдесят». Рядом с глинобитными, кривыми строениями этот дом казался чудом. И Арутюн думал: «Нет, этот дом действительно достоин того, чтобы стоять века».

Он с волнением подумал: «Нет, не напрасно прошла его жизнь».

Был один из последних дней лета.

Вечером Арутюн сидел у раскрытого окна и задумчиво смотрел вдаль. Марта была занята домашними делами, а Арпеник, напевая что-то, нагнувшись над стулом, рисовала. Но Арутюн не слышал ее; его мозг энергично работал; он хотел выйти из дому, походить по знакомым улицам, мимо знакомых ему зданий...

— Марта, — обратился он к сестре, — хочу немного пройтись, подышать чистым воздухом.

— Хорошо сделаешь, папочка, — сказала Марта, обрадованная неожиданным желанием старика. — Я пойду с тобою, помогу тебе.

— Нет, нет, — испуганно предупредил мастер, — не надо. Я смогу один.

Он хотел побыть наедине со своими воспоминаниями.

— Дедушка, пойти мне с тобою? — спросила Арпеник.

— Нет, деточка, ты делай свое дело...

И старик медленно вышел из дому.

Никогда до этого Арутюну город не казался таким близким и родным. Он подошел к одному зданию, остановился перед ним и посмотрел на него издали, как смотрит человек на фотографию близкого друга, находящегося в чужой стране.

Затем он подошел ближе и начал медленно двигаться мимо этого здания, плечом касаясь стены.

Солнце уже зашло, но камень еще сохранил солнечную теплоту. И мастер Арутюн нежно гладил шершавые и теплые камни стены.

Он шел медленно, с опущенной головою, и из его глаз текли старческие, скупые слезы.

В его уме, как луч, сверкала мысль: «А ты знаешь, что каждый вытесанный тобою камень сохраняет следы твоих рук...»

Некоторые люди смеялись:

— Что бы они ни делали, как бы ни строили, все равно город остался таким, каким был...

В ответ на эти слова по всему городу разносилась

песня труда. Город, если его разглядывать с окрестных высот, оставлял впечатление муравейника. Всюду поднималась столбом пыль от сносимых глинобитных домов, всюду начинались новые стройки.

В самом деле, нужны были невероятные усилия, чтобы стереть страшные следы прошлого. Глинобитные дома с земляными крышами, в беспорядке нагроможденные кругом, скорее напоминали руины, нежели здания. Не было видно ни одной прямой улицы. Центральная улица, по которой шли ослы, двигались фазтоны, была пыльная, с узкими тротуарами и напоминала сельскую улицу.

Народ, освобожденный от векового гнета, переделывал свою столицу. Странительство развивалось с невероятной быстротой.

Труднее было изменить душу людей. Некоторые с недоверием и опаской глядели на каждое нововведение и применение новой техники.

— Эти машины принесут только несчастье, — бормотали пессимисты, видя все увеличивающееся количество автомашин в городе и новую трамвайную линию.

Люди с тревогой смотрели на строящиеся гигантские заводы: «Кто будет работать на этих заводах?» И в самом деле, кто будет работать шофером, вагоновожатым, монтером, радиотехником, токарем, кто будет управлять этими сложными машинами? Еще труднее было представить, кто же будет руководить этой работой.

Давиду предложили учиться на краткосрочных курсах техников.

— Я не могу, — испуганно сказал Давид.

— Если ты не можешь, кто же будет учиться? — ответили ему. — Не с луны же нам доставать специалистов, не выписывать их из-за границы.

И Давид пошел. Днем он работал, а вечером учился на курсах. В одной и той же комнате учились люди разных возрастов. Были здесь застенчивые девушки и юноши семнадцати-восемнадцати лет и мужчины с усами и с бородой.

Что делать, этого требовало время, требовала обстановка.

В один из зимних дней по улице, где жил мастер Арутюн, проходила погребальная процессия.

Хоронили Григора. Он простудился, слег в постель и после непродолжительной болезни умер. Его дети, которые при жизни отца не проявляли сыновней заботы, организовали пышные похороны в соответствии с восточными обычаями.

Марта и Давид слышали о смерти Григора, но не сказали об этом Арутюну, строго приказав Арпеник, чтобы и она молчала. Они думали, что скорбная весть может повлиять на старика и станет причиной новых грустных размышлений.

Когда похоронная процессия, сопровождаемая грустной восточной музыкой, прошла мимо окон мастера, вопреки ожиданиям, на Арутюна она никакого впечатления не произвела. Он только пробормотал:

— Эх, он давно уже был мертв. — И снова погрузился в свои мысли, будто ничего не случилось.

...А в городе уже чувствовалось наступление ранней весны. Медленно, но неизменно зима отступала.

Глава третья

Насколько сурова была осень и мрачна зима, настолько была в этом году прозрачна и тепла весна. Вместе с весной всюду возобновились прекращенные на зиму строительные работы.

В дом мастера Арутюна весна ворвалась, как внучка Арпеник, такая же веселая и неудержимая. Это был шум города, вливавшийся сюда через открытое окно.

Мастер Арутюн почувствовал, что весной боли его стали слабее. Но во всем теле ощущалась страшная слабость. Он кашлял сильнее, страдал бессонницей, совершенно лишился аппетита.

Когда впервые в теплую погоду раскрыли окна, Арутюн захотел встать с постели. Он с большим трудом походил по комнате; голова кружилась, колени

подгибались. После продолжительного постельного режима он совершенно обессилел.

— Ничего, папочка, — утешала его Марта, шагая рядом с ним и помогая старику. — Погода становится теплой, снова начнешь больше двигаться, станешь выходить из дому, аппетит появится, выздоровеешь.

Арутюн с благодарностью слушал Марту. Сердечные слова невестки внушали доверие, так как она говорила искренне.

— Марта-джан, — ласково обратился старик к ней, после того как усталый сел на тахту, — я скучаю по внешнему миру. Мне хочется еще раз выйти погулять по улицам, еще раз порадоваться на окружающую жизнь; потом, если умру, не буду скучать по людям...

— Эх, папа, опять ты заговорил о смерти, — запротестовала Марта.

— Ну... — взволнованный словами невестки, ответил старик, — избежать смерти нельзя, все мы должны умереть, а мое время уже подошло.

Здоровье старика начало явно улучшаться. Иногда он выходил во двор погреться на солнце. После прогулок аппетит его улучшился и даже цвет лица стал свежее.

Арутюн уже подумывал о том, как бы ему выйти в город. Ему казалось, что единственное его желание — еще раз выйти и посмотреть на родные улицы. «Еще раз, еще раз... а потом что будет, то и будет...»

* * *

Дни становились теплее.

Мастер Арутюн чувствовал себя гораздо лучше. Часто он просил внучку прочесть ему что-нибудь.

Однажды Арпеник попросила старика рассказать ей сказку.

— Дедушка Цовик знает так много хороших сказок... — обратилась она к деду.

Арутюн задумался. Дедушка Цовик... Этот садовод был когда-то веселым, любящим шутки юношей. Теперь и он состарился. Тот, конечно, может рассказать,

ведь вся его жизнь представляет собой нескончаемую цепь событий. А что он сам может рассказать? Он всю свою жизнь провел с камнем и молотом...

Арпеник повисла на руке деда и с ожиданием глядела на него.

— Арпеник-джан, раз ты просишь, чтоб я тебе что-нибудь рассказал... — начал старик, сам не зная, о чем будет говорить, и умолк.

Ему казалось, что достаточно ему начать рассказывать, как мысли и слова сами по себе превратятся в сказ.

— Бог сотворил мир... — глухим голосом начал старик.

— Дедушка, ведь бога-то нет, — прервала его Арпеник.

Арутюн замолчал, будто в недоумении от замечания внучки, потом уверенно прибавил:

— В сказках есть. Когда бог сотворил мир, сотворил моря и поля, сотворил реки и горы, птиц... человека...

Арутюн снова замолчал. Он потрогал себе лоб, посмотрел в глаза внучки, затем более решительно продолжал:

— Ты правду говоришь, бога нет... Но вот видишь, люди, Арпеник, родненькая, бывают хорошие и плохие. Хорошие люди написали книги, построили дома, города, дороги... Вот я — сколько я выстроил домов, улиц! Ты вырастешь, будешь ходить по дорогам, построенным мною, станешь хорошим человеком... Вспомнишь меня... — Голос старика от волнения прервался.

Арпеник глядела на дедушку широко раскрытыми глазами. Она не понимала старика.

Арутюн снова замолчал, затем взял Арпеник за руку и поднялся.

— Пойдем, Арпеник, я покажу тебе построенное мною здание... Теперь люди хотят жить лучше, и им не нравятся старые дома. Но я построил одно такое здание, которое они сохраняют, вероятно.

Дед и внучка зашагали по улице.

— Вот, Арпеник-джан, сейчас мы завернем на большую улицу, и ты увидишь один дом. И я строил

его, я вытесал красивые камни для его фасада. Этот дом раньше принадлежал Халимьянам, они были богатые люди, шкуру снимали с рабочих. Ну, одним словом, мир изменился, от них ничего не осталось. Вот видишь, дом, который мы построили, он твердо стоит...

Разговаривая, они дошли до угла улицы и хотели завернуть влево, как вдруг старик остановился.

С угла была видна вся улица. Здесь ломали какой-то дом. Несколько рабочих с заступами в руках расшатывали стены, потом предостерегающе кричали «гей, гей» и отбегали в сторону. Стена с грохотом падала.

Арутюн удивленно остановился и прошептал:

— Арпеник, деточка, на фасаде этого дома были красивые камни. Я вытесал их своими собственными руками... Но почему, почему они ломают его?

Он не верил своим глазам. Стало быть, люди не нашли нужным сохранить этот дом, его дом.

В это время случайно рядом оказался Давид.

— Почему вы стоите в этой пыли? — удивился он, но, заметив выражение лица у старика, все понял: ему были известны переживания отца.

Арутюн смотрел на Давида таким взглядом, будто не узнавал сына.

Давид спешил. У него сейчас не было времени дать разумный ответ отцу, поэтому он только сказал:

— Я спешу, а вы идите, не стойте в этой пыли.

Арутюн некоторое время оставался еще на месте. Держа внучку за руку, он шептал:

— Почему ломают этот дом, почему?

Арпеник, почувствовав что-то недоброе, плаксиво сказала:

— Дедушка, пойдем домой.

Старик пришел в себя и удрученно сказал:

— Пойдем, деточка, пойдем.

Они возвращались домой молча, опустив головы. Дед тяжело задумался, а внучка пыталась понять, что так огорчило дедушку.

Всю дорогу старик не разговаривал. Это молчание угнетало Арпеник, и девочка, как только они дошли до ворот своего двора, стремясь поскорее освободиться от

тяжелого поручения, бросила руку деда и куда-то убежала.

Арутюн задумчивый и мрачный вошел в дом.

По его виду Марта догадалась, что настроение у старика испортилось.

— Куда вы ходили, папа? — осторожно спросила она.

— Погуляли по улицам, я хотел узнать, что нового в городе, — устраиваясь на тахте, подавленно ответил Арутюн.

— Что же вы там увидели?

— Э, Марта-джан, я недолго ходил. Я видел немного, но из того, что я видел, понял, что нового очень мало сделано. Старое ломают, а нового почти ничего нет.

— Как же это так? — не поняла Марта.

Арутюн из-под седых бровей бросил на Марту испытующий взгляд, будто удивляясь, что она не понимает его, потом сказал:

— Дошел до дома Халимьянов. Ты ведь знаешь его? Разбирают этот дом. Он был двухэтажный, с твердым основанием. Камни для этого дома я вытесал, в каждый камень я вложил свое сердце...

Марта не понимала печали старика, не смогла утешить его. А Арутюн думал: стало быть, он пятьдесят лет работал, строил дома, дороги, а теперь стал беспомощным и никому не нужным. Он надеялся, что оставил людям плоды своих трудов, что они будут помнить и ценить его, но оказалось, что люди разрушают сделанное им и на этом месте построят новые дома. Пятьдесят лет он непрерывно трудился, но сделанное им никому не нужно.

Мастер Арутюн вспомнил далекое прошлое. Его отец тоже был строительным рабочим, он тоже проработал десятки лет. Но что осталось от его труда сегодня? Старик восстановил в памяти одно из старейших зданий города, над которым работал его отец. Отец гордился этим зданием и при каждом удобном случае хвалил его. Арутюн вспомнил, как после смерти его отца он вместе с другими строителями снес это здание и построил новое, так как сооруженное отцом

уже пришло в негодность и могло обрушиться. Новое двухэтажное здание было похоже на старое и построено большей частью из камней старого дома. Мастер Арутюн вспомнил также, что на фасаде, по требованию владельца, были те же самые орнаменты. Арутюн тогда был очень доволен, что барельефы нового здания были созданы его отцом, были памятью о нем. Этот дом до сих пор еще стоит на одной из центральных улиц города. Иное дело дом Халимьяна. Он вспомнил, с каким вдохновением работал над орнаментами этого дома, сколько грусти, сколько мыслей вложил он в свой труд.

Он вспомнил тот день, когда ему поручили сделать украшения для окон, для главного подъезда.

Тогда ему было двадцать пять — двадцать шесть лет, кровь кипела в нем, сердце было горячее.

Молодой мастер, артист душой, всю ночь думал об этом здании. Он был молод и верил, что он создаст настоящее произведение искусства. «Я дам дыхание, дам жизнь этому каменному зданию», — мечтал Арутюн.

На следующий день он ходил по городу и пристально вглядывался в руины церквей и древних зданий, осматривал надгробные плиты на кладбищах, долго разглядывал орнаменты, сделанные неизвестными мастерами.

Многое запомнил глаз мастера, многое глубоко запало в его горячее сердце... И все-таки он был недоволен; поиски еще не дали ему того, что он искал. Он вернулся домой поздно вечером усталый, запыленный. На следующий день снова вышел из дому — и сразу же нашел то, что искал.

Это была Лусик.

Мастер Арутюн встретил ее у родника на окраине города, где девушка набирала воду. Лусик повернулась к нему, опираясь одной рукой о камень. Вода лилась в ведро и казалась кристальной струей, тысячью цветов отражавшей утреннее солнце...

Молодой мастер с восхищением смотрел на красивую фигуру Лусик. Девушка немного склонилась над ведром, казалось, она собиралась что-то тяжелое сбро-

силь со своих плеч. Арутюн решил, что для фасада ему нужен именно этот изгиб... А в глазах девушки было столько печали... Эти печальные глаза протестовали, но не плакали... Ее губы, на которые будто только что брызнули соком красной вишни, тоже как будто протестовали. Брови на широком лбу напоминали натянутый лук.

Пусть улыбается, пусть свободно дышит эта девушка, он выпрямит ее красивую фигурку, сбросит с ее плеч невидимую ношу. Ее брови, окаменелые от грусти, выпрямятся, оживут, как крылья ласточек, летающих в лазури весеннего неба.

Мастер Арутюн в забвении стоял перед девушкой. Ведро наполнилось. Девушка подняла ведро и ушла. Взгрустнул молодой мастер. Как видение, быстро исчезла девушка, которая была так печальна.

Его влекло в этот глинобитный дом, куда не проникало ни теплое солнце весны, ни прохладный ветерок.

Долго мастер Арутюн смотрел ей вслед. Глинобитный дом спрятал эту светлую девушку, и мастер глубоко вздохнул.

Как широк мир, и как мало места дано людям. А сам он, всю жизнь мечтавший строить людям прекрасные дворцы, готовится строить невиданный дом для Халимьянов... А для этой девушки?.. Арутюн повернулся и посмотрел на город, расстилавшийся перед ним. Там еще имеются здания, построенные его отцом... А где же результаты его работы? Тысячами стоят кругом глинобитные невысокие домики с плоскими крышами, и на этом общем жалком фоне отдельные каменные дома еле заметны. Как мало зданий, сооруженных из камня! Ереван стоит в стране камня, в стране гор, а город построен из глины... И в этих отдельных каменных домах живут Халимьяны. Молодой мастер был опечален. «Не буду больше строить дома, поеду в село, займусь земледелием...»

«Откажусь, — думал мастер, — откажусь. Пусть сами строят свои здания, а я подожду; наступят времена, и я построю дворец для той светлой девушки».

Он всю ночь проворочался на постели, мало спал,

и в мечтах видел замечательный дворец, который он уже построил для той девушки.

Камни были светлые, прозрачные, а орнаменты были олицетворением жизни и весны. Среди них были замечательные очертания гордых Араратов, мокрая лоза винограда Араратской долины, отточенные формы абрикосов, стремительный бег оленя армянских гор...

Утром он рассказал о своих замыслах отцу.

«Передав это миру, ты овладеешь им», — ответил больной старик сыну.

«Я построю дом и вложу в него печаль этой светлой девушки», — решил мастер Арутюн и начал работу.

Арутюн снова и снова вспоминал сооруженное им для Халимьянов здание. Свод главного входа был изогнут, как была изогнута слегка фигура Лусик у родника, когда казалось, что она вот-вот выпрямится и сбросит с себя ношу... Каждый орнамент был похож на глаз, чем-то напоминавший печальные глаза Лусик...

* * *

Поздно вечером вернулся домой Давид; Арутюн терпеливо ждал, пока сын кончит ужин, потом спросил, почему разрушают здание Халимьянов.

— На том месте будет построен новый дом, отец, — ответил Давид, — лучше прежнего, пятиэтажный, с красивым фасадом.

— Пятиэтажный? — спросил старик. Помолчав, он снова заговорил: — Неужели непременно надо было это здание ломать? Разве не было худших? Мало ли у нас еще глинобитных мазанок, ломали бы те.

— И те будут снесены, отец, все будут снесены и вместо них построены новые. По плану новое здание, которое будет построено, приходится на место дома Халимьянов, а строительство этого дома намечено в ближайшем будущем; дом Халимьянов сносят. На той улице все здания должны быть снесены...

— Все? — с недоумением опять спросил старик. — Но ведь этот дом отличался от других. Ты мой сын и

должен ценить труд своего отца. Неужели ты не сказал, что я в него вложил лучшие свои мечты? — снова разгорячился старик.

Как был бы удивлен старик, если бы знал, что Давид руководил работами по сносу этого здания...

Арутюн замолчал и мысленно повторял: «В них, в этих мертвых камнях, вложены мечты твоего отца, его любовь, в них портрет твоей матери...»

— Дорогой отец, здание сфотографировали, сфотографировали каждый камень с орнаментом и отнесут в музей.

— В музей? — все больше и больше возбуждался старик. — Я работал для музея? Строите новые дома, хоть бы поставили эти камни на их фасаде. В них ведь вложена душа каменотеса... Я строил для жизни, а вы их несете в музей.

— Отец, ты прав, они были хороши, но были старые. Для наших зданий нужны новые формы. Те рисунки поставят в музей, придут люди и будут их изучать. То, что подходит для них, — возьмут, изменят, сделают более красивыми, используют их...

— Старые формы... изменят... — вздохнул старик.

Продолжительная прогулка в весенний день плохо сказалась на здоровье Арутюна: он простудился и слег в постель.

В самые тяжелые дни его болезни на их улице начали сносить небольшие, большей частью глинобитные дома.

Шум беспокоил и раздражал старика, и он попросил перенести его кровать в самый дальний от окна угол.

И вот однажды быстро поднимающееся здание бросило тень на окно комнаты мастера Арутюна.

Ежедневно по утрам эта тень все увеличивалась на полу комнаты, пока наконец целиком не закрыла солнце.

— В этом доме мы получим квартиру, — радостно говорила Арпеник.

Старик уже не мог оставаться безразличным. Каждое утро, поднимаясь с большими усилиями, он подходил к окну и смотрел на новый дом.

Строящееся из розового камня, украшенное замечательными орнаментами, здание это произвело на старика ошеломляющее впечатление.

Арутюн не мог оторвать от него взгляда, затем позволил невестку и сказал:

— Видишь, Марта, вот что останется незыблемым! Видишь тех людей, которые там работают? Дела этих людей бессмертны. Это здание похоже на мою мечту...

От волнения старик дрожал и, опираясь на окно, широко раскрытыми глазами вбирал в себя живое воплощение великого творческого замысла.

Мастер Арутюн неподвижно стоял у окна. Он пытался представить здание в законченном виде.

— Марта, подойди, — снова заговорил Арутюн и, держась одной рукой за плечо Марты, другую руку протянул в сторону здания. — Правда, хорошее? А я, глупый человек, думал, что я строил дома и создавал орнаменты, достойные фасада этого здания.

Было утро. Мастер Арутюн остался в доме один.

Какая-то упорная мысль не давала ему покоя. Он поднялся с постели, оделся, пошатываясь, вышел на улицу и направился к каменотесам.

Некоторые из них знали мастера Арутюна, когда-то они работали вместе с ним. Другие слышали о нем. Поэтому, когда один из рабочих, увидев старика, воскликнул:

— Ребята, мастер Арутюн! — все прекратили работу и окружили старика.

— Я мертвый человек, что говорить обо мне, — отвечая товарищам, сказал Арутюн. — Жизнь принадлежит вам, вы работаете... — Помолчав, он снова продолжал: — Когда-то и я работал, но то, что я делал, оказалось напрасным, пустым делом...

Старик снова замолчал и сел на камень.

— О нет, не выйдет, мастер Арутюн, не выйдет! Почему ты так говоришь? — возразил один из рабочих. — Ты столько лет работал, сколько людей благодарны тебе за твой труд! Не будь тебя и таких, как ты, мастеров, не было бы и нас, работающих сегодня над этим зданием. Не будь твоих дел, не было бы и этого здания,

Мастер Арутюн хотел высказать этим людям, что у него накопилось на сердце, ему казалось, что рабочие его поймут, но у него не хватало сил говорить.

Он чувствовал, что окончательно ослабел и не сможет сделать того, зачем он пришел сюда.

— Знаете что, ребята, — наконец заговорил он. — Давно я не брал в руки инструмент, не работал и потому скучаю. Хочу обтесать один камень...

Рабочие с сомнением поглядели на больного. Но один из них сказал:

— Что ж тут такого, мастер Арутюн, понятно, скучаешь... Человек всегда скучает по любимому делу.

Он принес инструменты, придвинул к мастеру один из розовых камней и сделал знак остальным, чтобы они занялись своим делом и не мешали старику.

Арутюн начал работать, но боялся, что у него не хватит силы отделать хоть один камень.

После нескольких ударов, его рука так ослабла, что он вынужден был заставить работать молот своим плечом, даже усилием всего своего тела. От напряжения в висках у него стучало и в глазах появились красные круги.

Наконец он поднялся на ноги, но упал бы, если б рабочий, следивший за каждым движением старика, не подбежал во-время. Арутюн молча с помощью рабочего добрался домой. На его усталом лице появилась слабая улыбка.

Вернувшись домой, Марта с ужасом посмотрела на старика. Он лежал на постели лицом вверх с полуоткрытым ртом и хрипло дышал.

Марта приказала Арпеник сходить за врачом и вызвать Давида. Больной, который как будто ничего не слышал и ничего не видел вокруг, задыхаясь, глухим голосом запротестовал:

— Не надо... Я себя чувствую хорошо.

Марта не послушала его и повторила свое распоряжение.

Старик попросил перенести свою кровать к окну и положить его так, чтобы была видна улица. Арутюн глядел на улицу и искал тот камень, над которым он работал. Вначале ему показалось, что этого камня нет,

что подъемником его подняли вверх. Он довольно улыбнулся. Но вскоре он заметил тот камень, он еще оставался внизу. Лицо старика помрачнело. Молниеносно промелькнула мысль: не понравилась им его работа.

Он неподвижно лежал в постели и напряженно следил за подъемным краном. Когда кто-либо из рабочих подходил к вытесанному им камню, сердце старика билось от волнения.

Но камень оставался на том же месте.

Проснувшись на другой день, старик продолжал лежать с закрытыми глазами. Марте показалось, что он спит, и она отошла от его постели.

Но больной не спал. Из-под полуоткрытых век его взгляд устремился в одну точку... Туда, где под первыми лучами утреннего солнца лежал единственный розовый камень, обработанный им.

Неожиданно мастер Арутюн широко раскрыл глаза. На стройке началось движение, и рабочий, управляющий подъемным краном, поднял камень, обработанный стариком.

Послышался скрип подъемного крана.

Больной жадно следил за его движением, и ему казалось, что вместе с розовым камнем поднимают вверх и его сердце.

Наконец камень подняли до третьего этажа, и там его приняли руки рабочих.

В эту минуту Марта услышала вздох старика. Ей показалось, что он что-то говорит ей, и она подбежала к больному.

Но мастер Арутюн был мертв... Спокойная и светлая улыбка осеняла его лицо.

* * *

А наверху, под ласковыми лучами солнца, напевая какую-то веселую песню, молодой рабочий устанавливал розовый камень из туфа, последний орнамент мастера Арутюна...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Аветик Исаакян. Знамя надежды. Перевод Я. Хачатрянца</i>	3
<i>Аветик Исаакян. Мальчик и солнце. Перевод С. Хитаровой</i>	34
<i>Аветик Исаакян. Старое село. Перевод С. Хитаровой</i>	37
<i>Аветик Исаакян. Слуга Симон. Перевод С. Хитаровой</i>	43
<i>Аветик Исаакян. Верблюды Ахмеда. Перевод С. Хитаровой</i>	45
<i>Дереник Демирчан. Во имя жизни. Перевод М. Зошенко</i>	47
<i>Дереник Демирчан. Дом. Перевод М. Зошенко</i>	71
<i>Дереник Демирчан. Граждане. Перевод С. Хитаровой</i>	100
<i>Дереник Демирчан. Творец. Перевод В. Каверина</i>	103
<i>Дереник Демирчан. Старушка. Перевод К. Федина</i>	103
<i>Дереник Демирчан. Жизнь. Перевод Б. Лавренева</i>	104
<i>Дереник Демирчан. Большое сердце. Перевод В. Каверина</i>	104
<i>Дереник Демирчан. Памятник Гоголю. Перевод К. Федина</i>	105
<i>Дереник Демирчан. Смех. Перевод В. Смирновой</i>	105
<i>Дереник Демирчан. Последнее слово. Перевод В. Каверина</i>	106
<i>Степан Зорян. Железная дорога. Перевод А. Аршаруни</i>	107
<i>Степан Зорян. Шофер Арам. Перевод С. Манавелян</i>	119

<i>Мовсес Арази. Товарищ Мукуч. Перевод Я. Хачатрянца</i>	128
<i>Аксель Бакунц. Письмо русскому царю. Перевод П. Макинцциана</i>	139
<i>Аксель Бакунц. Девушка Хонар. Перевод П. Макинцциана</i>	152
<i>Аксель Бакунц. Сеятель черных нашен. Перевод А. Аршаруни</i>	167
<i>Рация Кочар. Священный обет. Перевод Я. Хачатрянца</i>	176
<i>Рация Кочар. Сестра генерала. Перевод Я. Хачатрянца</i>	187
<i>Амаяк Сирас. Мамэ и Ашэ. Перевод Я. Хачатрянца</i>	193
<i>Амаяк Сирас. Песня. Перевод А. Аршаруни</i>	200
<i>Виген Хечумян. Тропа в лесу. Перевод А. Тадеосян</i>	214
<i>Виген Хечумян. Богоматерь. Перевод А. Гюль-Назарянца</i>	219
<i>Вахтанг Ананян. Олени. Перевод А. Гюль-Назарянца</i>	228
<i>Вахтанг Ананян. Большое сердце. Перевод А. Гюль-Назарянца</i>	237
<i>Гарегин Севунц. Родник ашуга. Перевод Я. Хачатрянца</i>	240
<i>Серо Ханзадян. Пастух Асрат. Перевод А. Аршаруни и А. Шевелевой</i>	245
<i>Серо Ханзадян. Седьмой родник. Перевод Я. Хачатрянца</i>	273
<i>Михаил Шатирян. Маро. Перевод А. Шевелевой</i>	280
<i>Нора Адамян. Судьба Ануш</i>	292
<i>Люси Таргюль. После града. Перевод А. Шевелевой</i>	313
<i>Аракс. Отец Оган. Перевод А. Гюль-Назарянца</i>	321
<i>Саргис Паязат. За монастырской оградой. Перевод Я. Хачатрянца</i>	330
<i>Аршавир Дарбни. Рассвет в Мргашате. Перевод Б. Руниша</i>	338
<i>Гарегин Бес. Корреспонденты. Перевод А. Шевелевой</i>	364
<i>Абик Авакян. Бегство. Перевод А. Шевелевой</i>	371
<i>Беник Сейранян. Дочь миллионера. Перевод А. Аршаруни и А. Шевелевой</i>	384
<i>Шаен Татикян. Последний орнамент. Перевод А. Аршаруни</i>	402



Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б. Гнезниковский пер., дом 10, издательство «Советский писатель».

АРМЯНСКИЕ РАССКАЗЫ

Редактор А. И. Чеснокова
Художник Б. А. Месропян
Худож. редактор В. И. Морозов
Техн. редактор Н. Л. Греймер
Корректор Л. И. Пруткина

Сдано в набор 8/III 1956 г. Подпи-
сано к печати 10/V 1956 г. Л05431
84×108 1/32. Печ. л. 27 1/4, (22,35)
Уч.-изд. л. 19,80. Тираж 30 000 экз.
Заказ № 370. Цена 7 р.

Издательство «Советский писатель»
Москва, К-101, Б. Гнездииковский
пер., 10.

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

ԳԱՄ Հիմնադրադ Գիտ. Գրադ.



FL0539124

-7 руб.

PD 11
14720